МШолохов

5

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений в восьми томах



Москва
«Художественная литература»
1986

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

Том 5

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

Роман
в двух
книгах



Москва
«Художественная
литература»
1986

Р2
Ш78

Составление
М. Манохиной

Оформление художника
Ю. Боярского

Ш $\frac{4702010200-039}{028(01)-86}$ подписное

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

Книга первая

ГЛАВА I

В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли.

Тонкий многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не проснется сквозь голызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опушенных крапин следов...

А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни, заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылу, по бурьянам, по выцветшей на стернях брице, по волнистым буграм зяби неслышно, серой волчицей придет с востока ночь,— как следы, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней.

* * *

По крайнему к степи проулку январским вечером 1930 года въехал в хутор Гремячий Лог верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заиневшего в пахах коня, спешился. Над чернью садов, тянувшихся по обеим сторонам узкого проулка, над островами тополевых левад высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул

подпругу, сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, не замерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно голышам, на ходу потянулся было пить, но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезенкой, выскочил на пологий берег.

Заслышав встречь себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук сторожко двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел висевший до этого на плечах казачий башлык верблюжьей шерсти, закутал лицо и поскакал машистой рысью. Миновав подводу, он по-прежнему поехал шагом, но башлыка не снял.

Уж въехав в хутор, спросил у встречной женщины:

— А ну, скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет?

— Яков Лукич-то?

— Ну да.

— А вот за тополем его курень, крытый черепицей, видите?

— Вижу. Спасибо.

Возле крытого черепицей просторного куреня спешился, ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, позвал:

— Хозяин! Яков Лукич, выйди-ка на-час [1].

Без шапки, пиджак — внапашку, хозяин вышел на крыльцо; всматриваясь в приезжего, сошел с порожков.

— Кого нелегкая принесла? — улыбаясь в седеющие усы, спросил он.

— Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в теплое?

— Нет, дорогой товарищ, не призначу. Вы не из рика будете? Не из земотдела? Что-то угадываю... Голос ваш, сдается мне, будто знакомый...

Приезжий, морща бритые губы улыбкой, раздвинул башлык.

— Полóвцева помнишь?

И Яков Лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам, побледнел, зашептал:

---

[1] **На-час** — на минутку. (*Здесь и далее примеч. автора.*)

— Ваше благородие! Откель вас?.. Господин есаул!.. Лошадку мы зараз определим... Мы в конюшню... Сколько лет-то минуло...

— Ну-ну, ты потише! Времени много прошло... Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?

Приезжий передал повод хозяину. Конь, лениво повинуясь движению чужой руки, высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, всхрапнул, почуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его храп, пальцы умело и бережно освободили натертые десны от пресного железа удил, и конь благодарно припал к сену.

— Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный, а трошки охолонет — тогда расседлаю,— говорил хозяин, заботливо накидывая на коня нахолодавшую попонку. А сам, ощупав седловку, уже успел определить по тому, как была затянута череподушечная подпруга, как до отказу свободно распущена соединяющая стременные ремни скошевка, что гость приехал издалека и за этот день сделал немалый пробег.

— Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич?

— Чудок есть. Напоим, дадим зернеца. Ну, пойдемте в куреня, как вас теперича величать, и не знаю... По-старому — отвык и вроде неудобно...— неловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка его не видна.

— Зови по имени-отчеству. Не забыл? — отвечал гость, первый выходя из конюшни.

— Как можно! Всю германскую вместе сломали, и в эту пришлось... Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С энтих пор, как в Новороссийском расстрялись с вами, и слуху об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли.

Вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпяя [1] папаху, обнажив могучий угловатый череп, прикрытый редким белесым волосом. Из-под крутого, волчьего склада, лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбчиво сощурив светло-голубые глазки, тяжко блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам — хозяйке и снохе.

— Здорово живете, бабочки!

— Слава богу,— сдержанно ответила ему хозяйка, выжидательно, вопрошающе глянув на мужа: «Что это,

[1] Курпяй (курпей) — мерлушка.

дескать, за человека ты привел и какое с ним нужно обхождение?»

— Соберите повечёрять,— коротко приказал хозяин, пригласив гостя в горницу к столу.

Гость, хлебая щи со свининой, в присутствии женщин вел разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из камня тесанная, нижняя челюсть трудно двигалась; жевал он медленно, устало, как приморенный бык на лежке. После ужина встал, помолился на образа в запыленных бумажных цветах и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил:

— Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич! Теперь давай потолкуем.

Сноха и хозяйка торопливо приняли со стола; повинуясь движению бровей хозяина, ушли в кухню.

ГЛАВА II

Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Давыдова, и, жмурясь, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы.

За окном, в телефонных проводах, свистал ветер, на спине лошади, привязанной недоуздком к палисаднику, по самой кобаржине кособоко прогуливалась — и что-то клевала — сорока. Ветер заламывал ей хвост, поднимал на крыло, но она снова садилась на спину старчески изможденной, ко всему безучастной клячи, победно вела по сторонам хищным глазком. Над станицей низко летели рваные хлопья облаков. Изредка в просвет косо ниспадали солнечные лучи, вспыхивал — по-летнему синий — клочок неба, и тогда видневшийся из окна изгиб Дона, лес за ним и дальний перевал с крохотным ветряком на горизонте обретали волнующую мягкость рисунка.

— Так ты задержался в Ростове по болезни? Ну, что ж... Остальные восемь двадцатипятитысячников приехали три дня назад. Митинг был. Представители колхозов их встречали.— Секретарь думающе пожевал губами.— Сейчас у нас особенно сложная обстановка. Процент коллективизации по району — четырнадцать и восемь десятых. Все больше ТОЗ [1]. За кулацко-зажиточной частью еще остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Оч-чень! Колхо-

[1] ТОЗ — товарищество по совместной обработке земли.

зы посылали заявки на сорок три рабочих, а прислали вас только девять.

И из-под припухлых век как-то по-новому, пытливо и долго, посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек.

— Так ты, дорогой товарищ, стало быть, слесарь? Оч-чень хорошо! А на Путиловском давно работаешь? Кури.

— С демобилизации. Девять лет.— Давыдов протянул руку за папироской, и секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками отвислых губ.

— Краса и гордость? Во флоте был?

— Да.

— То-то вижу якорек у тебя...

— Молодой был, знаешь... с зеленью и глупцой, вот и вытравил...— Давыдов досадливо потянул книзу рукав, думая: «Эка, глазастый ты на что не надо. А вот хлебозаготовки-то едва не просмотрел!»

Секретарь помолчал и как-то сразу согнал со своего болезненно одутловатого лица ничего не значащую улыбку гостеприимства.

— Ты, товарищ, поедешь сегодня же в качестве уполномоченного райкома проводить сплошную коллективизацию. Последнюю директиву крайкома читал? Знаком? Так вот, поедешь ты в Гремяченский сельсовет. Отдыхать уж после будешь, сейчас некогда. Упор — на стопроцентную коллективизацию. Там есть карликовая артель, но мы должны создать колхозы-гиганты. Как только организуем агитколонну, пришлем ее и к вам. А пока езжай и на базе осторожного ущемления кулачества создавай колхоз. Все бедняцко-середняцкие хозяйства у тебя должны быть в колхозе. Потом уже создадите и обобществленный семфонд на всю площадь колхозного посева в тысяча девятьсот тридцатом году. Действуй там осторожно. Середняка ни-ни! В Гремячем — партячейка из трех коммунистов. Секретарь ячейки и председатель сельсовета — хорошие ребята, красные партизаны в прошлом,— и, опять пожевав губами, добавил: — Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понятно? Политически малограмотны, могут иметь промахи. В случае если возникнут затруднения, езжай в район. Эх, телефонной связи еще нет, вот что плохо! Да, еще: секретарь ячейки там краснознаменец, резковат, весь из углов, и... все острые.

Секретарь побарабанил по замку портфеля пальцами и, видя, что Давыдов встает, с живостью сказал:

— Обожди, еще вот что: ежедневно коннонарочным шли сводки, подтяни там ребят. Сейчас зайди к нашему заворгу и езжай. Я скажу, чтобы тебя отправили на риковских лошадях. Так вот, гони вверх до ста процент коллективизации. По проценту и будем расценивать твою работу. Создадим гигант-колхоз из восемнадцати сельсоветов. Каково? Сельскохозяйственный Краснопутиловский,— и улыбнулся самому понравившемуся сравнению.

— Ты что-то мне говорил насчет осторожности с кулаком. Это как надо понимать? — спросил Давыдов.

— А вот как,— секретарь покровительственно улыбнулся,— есть кулак, выполнивший задание по хлебозаготовкам, а есть — упорно не выполняющий. Со вторым кулаком дело ясное: сто седьмую статью ему, и — крышка. А вот с первым сложнее. Как бы ты, примерно, с ним поступил?

Давыдов подумал...

— Я бы ему — новое задание.

— Это здорово! Нет, товарищ, так не годится. Этак можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда середняк? Он скажет: «Вот она какая, Советская власть! Туда-сюда мужиком крутит». Ленин нас учил серьезно учитывать настроения крестьянства, а ты говоришь «вторичное задание». Это, брат, мальчишество.

— Мальчишество? — Давыдов побагровел.— Сталин, как видно... ошибся, по-твоему, а?

— При чем тут Сталин?

— Речь его читал на конференции марксистов, этих, как их... Ну, вот земельным вопросом они... да как их, черт? Ну, земельников, что ли?

— Аграрников?

— Вот-вот!

— Так что же?

— Спроси-ка «Правду» с этой речью.

Управдел принес «Правду». Давыдов жадно шарил глазами.

Секретарь, выжидательно улыбаясь, смотрел ему в лицо.

— Вот. Это как?.. «...Раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограничения...» Ну, и дальше... да вот: «А теперь? Теперь — другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс...» Как класс, понял? Почему же

нельзя дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его — к ногтю?

Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьезнел.

— Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцко-середняцкая масса, идущая в колхоз. Не так ли? Читай.

— Эка ты!

— Да ты не экай! — озлобился секретарь, и даже голос у него дрогнул.— А ты что предлагаешь? Административную меру, для каждого кулака без разбора. Это — в районе, где только четырнадцать процентов коллективизации, где середняк пока только собирается идти в колхоз. На этом деле можно в момент свернуть голову. Вот такие приезжают, без знания местных условий...— Секретарь сдержался и уже тише продолжал: — Дров с такими воззрениями ты можешь наломать сколько хочешь.

— Это как тебе сказать...

— Да уж будь спокоен! Если бы необходима и своевременна была такая мера, крайком прямо приказал бы нам: «Уничтожить кулака!..» И по-жа-луйста! В два счета. Милиция, весь аппарат к вашим услугам... А пока мы только частично, через нарсуд, по сто седьмой статье караем экономически кулака — укрывателя хлеба.

— Так что же, по-твоему, батрачество, беднота и середняк против раскулачивания? За кулака? Вести-то их на кулака надо?

Секретарь резко щелкнул замком портфеля, сухо сказал:

— Тебе угодно по-своему истолковывать всякое слово вождя, но за район отвечает бюро райкома, я персонально. Потрудись там, куда мы тебя посылаем, проводить нашу линию, а не изобретенную тобой. А мне, извини, дискутировать с тобой некогда. У меня помимо этого дела.— И встал.

Кровь снова густо прихлынула к щекам Давыдова, но он взял себя в руки и сказал:

— Я буду проводить линию партии, а тебе, товарищ, рубану напрямик, по-рабочему: твоя линия ошибочная, политически неправильная, факт!

— Я отвечаю за свою... А это «по-рабочему» — старо, как...

Зазвенел телефон. Секретарь схватил трубку. В комнату начал сходиться народ, и Давыдов пошел к заворгу.

«Хромает он на правую ножку... Факт! — думал он, выходя из райкома.— Почитаю опять всю речь аграрникам. Неужели я ошибаюсь? Нет, братишка, извини! Через твою терпимость веры ты и распустил кулака. Еще говорили

в окружкоме: «дельный парень», а за кулаками — хлебные хвосты. Одно дело ущемлять, а другое — с корнем его как вредителя. Почему не ведешь массу?» — мысленно продолжая спор, обращался он к секретарю. Как всегда, наиболее убедительные доводы приходили после. Там, в райкоме, он вгорячах, волнуясь, хватал первое попавшееся под руку возражение. Надо бы похладнокровней. Он шел, шлепая по замерзшим лужам, спотыкаясь о смерзки бычьего помета на базарной площади.

— Жалко,что кончили скоро, а то бы я тебя прижал,— вслух проговорил Давыдов и досадливо смолк, видя, как повстречавшаяся женщина проходит мимо него с улыбкой.

* * *

Забежав в Дом казака и крестьянина, Давыдов взял свой чемоданчик и, вспомнив, что основной багаж его, кроме двух смен белья, носков и костюма, это — отвертки, плоскогубцы, рашпиль, крейцмессель, кронциркуль, шведский ключ и прочий немудрый инструмент, принадлежавший ему и захваченный из Ленинграда, улыбнулся. «Черта с два его использую! Думал, может, тракторишко подлечить, а тут и тракторов-то нет. Так, должно быть, и буду мотаться по району уполномоченным. Подарю какому-нибудь колхознику-кузнецу, прах его дери»,— решил он, бросая чемодан в сани.

Сытые, овсяные лошади рика легко понесли тавричанские сани со спинкой, крикливо окрашенной пестрыми цветами. Давыдов озяб, едва лишь выбрались за станицу. Он тщетно кутал лицо в потертый барашковый воротник пальто, нахлобучил кепку: ветер и сырая изморозь проникали за воротник, в рукава, знобили холодом. Особенно мерзли ноги в скороходовских стареньких ботинках.

До Гремячего Лога от станицы двадцать восемь километров безлюдным гребнем. Бурый от подтаявшего помета шлях лежит на вершине гребня. Кругом — не обнять глазом — снежная целина. Жалко горбятся засыпанные макушки чернобыла и татарника. Лишь со склонов балок суглинистыми глазищами глядит на мир земля; снег не задержался там, сдуваемый ветром, зато теклины балок и логов доверху завалены плотно осевшими сугробами.

Давыдов долго бежал, держась за грядушку саней, пытаясь согреть ноги, потом вскочил в сани и, притаившись, задремал. Повизгивали подреза полозьев, с сухим

хрустом вонзались в снег шипы лошадиных подков, позванивал валик у правой дышловой. Иногда Давыдов из-под запушенных инеем век видел, как фиолетовыми зарницами вспыхивали на солнце крылья стремительно поднимавшихся с дороги грачей, и снова сладкая дрема смежала ему глаза.

Он проснулся от холода, взявшего в тиски сердце, и, открыв глаза, сквозь блещущие радужным разноцветьем слезинки увидел холодное солнце, величественный простор безмолвной степи, свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кургана невдалеке — рдяно-желтую, с огнистым отливом, лису. Лиса мышковала. Она становилась вдыбки, извиваясь, прыгала вверх и, припадая на передние лапы, рыла ими, окутываясь сияющей серебряной пылью, а хвост ее, мягко и плавно скользнув, ложился на снег красным языком пламени.

В Гремячий Лог приехали перед вечером. На просторном дворе сельсовета пустовали пароконные сани. Возле крыльца, покуривая, толпилось человек семь казаков. Лошади с шершавой, смерзшейся от пота шерстью остановились около крыльца.

— Здравствуйте, граждане! Где тут конюшня?

— Доброго здоровья,— за всех ответил пожилой казак, донеся руку до края заячьей папахи.— Конюшня, товарищ, вон она, которая под камышом.

— Держи туда,— приказал Давыдов кучеру и соскочил с саней, приземистый, плотный. Растирая щеки перчаткой, он пошел за санями.

Казаки тоже направились к конюшне, недоумевая, почему приезжий, по виду служащий, говорящий на жесткое российское «г», идет за санями, а не в сельсовет.

Из конюшенных дверей теплыми клубами валил навозный пар. Риковский кучер остановил лошадей. Давыдов уверенно стал освобождать валек от постромочной петли. Толпившиеся возле казаки переглянулись. Старый, в белой бабьей шубе дед, соскребая с усов сосульки, лукаво прижмурился.

— Гляди, брыкнет, товарищ!

Давыдов, освободивший из-под репицы конского хвоста шлею, повернулся к деду, улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба.

— Я, папаша, пулеметчиком был, не на таких лошадках мотался.

— А зуба-то нет, случаем не кобыла выбила? — спро-

сил один, черный, как грач, по самые ноздри заросший курчавой бородой.

Казаки беззлобно засмеялись, но Давыдов, проворно снимая хомут, отшутился:

— Нет, зуба лишился давно, по пьяному делу. Да оно и лучше: бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед?

Шутку приняли, и дед с притворным сокрушением покачал головой.

— Я, парень, откусался. Мой зуб-то уж какой год книзу глядит...

Чернобородый казак ржал косячным жеребцом, разевая белозубую пасть, и все хватался за туго перетянувший чекмень красный кушак, словно опасаясь, что от смеха рассыплется.

Давыдов угостил казаков папиросами, закурил, пошел в сельсовет.

— Там, там председатель, иди. И секретарь нашей партии там,— говорил дед, неотступно следуя за Давыдовым.

Казаки, в две затяжки поглощая папиросы, шли рядом. Им шибко понравилось, что приезжий не так, как обычно кто-либо из районного начальства: не соскочил с саней и — мимо людей, прижав портфель, в сельсовет, а сам начал распрягать коней, помогая кучеру и обнаруживая давнишнее уменье и сноровку в обращении с конем. Но одновременно это и удивляло.

— Как же ты, товарищ, не гребуешь с коньми вожжаться? Разве ж это, скажем, служащего дело? А кучер на что? — не вытерпел чернобородый.

— Это нам дюже чудно,— откровенно признался дед.

Ответить Давыдов не успел.

— Да он коваль! — разочарованно воскликнул молодой желтоусый казачишка, указывая на руки Давыдова, покрытые на ладонях засвинцованной от общения с металлом кожей, с ногтями в застарелых рубцах.

— Слесарь,— поправил Давыдов.— Ну, вы чего идете в Совет?

— Из интересу,— за всех отвечал дед, останавливаясь на нижней ступеньке крыльца.— Любопытствуем, из чего ты к нам приехал? Ежели обратно по хлебозаготовкам...

— Насчет колхоза.

Дед протяжно и огорченно свистнул, первый повернул от крыльца.

* * *

Из низкой комнаты остро пахнуло кислым теплом оттаявших овчинных полушубков и дровяной золой. Возле стола, подкручивая фитиль лампы, лицом к Давыдову стоял высокий, прямоплечий человек. На защитной рубахе его червонел орден Красного Знамени. Давыдов догадался, что это и есть секретарь гремяченской партячейки.

— Я — уполномоченный райкома. Ты — секретарь ячейки, товарищ?

— Да, я секретарь ячейки Нагульнов. Садитесь, товарищ, председатель Совета сейчас придет.— Нагульнов постучал кулаком в стену, подошел к Давыдову.

Был он широк в груди и по-кавалерийски клещеног. Над желтоватыми глазами его с непомерно большими, как смолой налитыми, зрачками срослись разлатые черные брови. Он был бы красив той неброской, но запоминающейся мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей небольшого ястребиного носа, не мутная наволочь в глазах.

Из соседней комнаты вышел плотный казачок в козьей серой папахе, сбитой на затылок, в куртке из шинельного сукна, казачьих с лампасами шароварах, заправленных в белые шерстяные чулки.

— Это вот и есть председатель Совета Андрей Размётнов.

Председатель, улыбаясь, пригладил ладонью белесые и курчавые усы, с достоинством протянул руку Давыдову.

— А вы кто такой будете? Уполномоченный райкома? Ага. Ваши документы... Ты видал, Макар? Вы, должно быть, по колхозному делу? — Он рассматривал Давыдова с наивной беззастенчивостью, часто мигая ясными, как летнее небушко, глазами. На смуглом, давно не бритом лице его с косо опоясавшим лоб голубым шрамом явно сквозило нетерпеливое ожидание.

Давыдов присел к столу, рассказал о задачах, поставленных партией по проведению двухмесячного похода за сплошную коллективизацию, предложил завтра же провести собрание бедноты и актива.

Нагульнов, освещая положение, заговорил о гремяченском ТОЗ.

Размётнов и его слушал так же внимательно, изредка вставляя фразу, не отнимая ладони от щеки, заплывшей коричневым румянцем.

— Тут у нас есть называемое товарищество по со-

вместной обработке земли. Так я скажу вам, товарищ рабочий, что это есть одно измывание над коллективизацией и голый убыток Советской власти,— говорил Нагульнов, заметно волнуясь.— В нем состоит восемнадцать дворов — одна горькая беднота. И что же выходит из этого? Обязательно надсмешка. Сложились они, и на восемнадцать дворов у них — четыре лошади и одна пара быков, а едоков сто семь. Как им надо оправдываться перед жизнью? Им, конечно, дают долгосрочные кредиты на покупку машин и тягла. Они кредиты берут, но отдать их не смогут и за долгий срок. Зараз объясню — почему: будь у них трактор — другой разговор, но трактор им не дали, а на быках не скоро разбогатеешь. Еще скажу, что они порченую ведут политику, и я их давно бы разогнал за то, что они подлегли под Советскую власть, как курщивый теленок, сосать — сосут, а росту ихнего нету. И есть такие промеж них мнения: «Э, да нам все равно дадут! А брать с нас за долги нечего». Отсюда у них развал в дисциплине, и ТОЗ этот завтра будет упокойником. Это — дюже верная мысля: всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизня! Но казаки — народ закоснелый, я вам скажу, и его придется ломать...

— Из вас кто-нибудь состоит в этом товариществе? — оглядывая собеседников, спросил Давыдов.

— Нет,— отвечал Нагульнов.— Я в двадцатом году вошел в коммуну. Она впоследствии времени распалась от шкурничества. Я отказался от собственности. Я зараженный злобой против нее, а поэтому отдал быков и инвентарь соседней коммуне номер шесть (она и до сих пор существует), а сам с женой ничего не имею. Размётнову нельзя было подать такой пример: он сам вдовый, у него одна толечко старуха мать. Вступить ему — это нареканий, как орепьев, не оберешься. Скажут: «Навязал старуху на нас, как на цыгана матерю, а сам в поле не работает». Тут — тонкое дело. А третий член нашей ячейки — он зараз в отъезде — безрукий. Молотилкой ему руку оторвало. Ну, он и совестится идтить в артель, едоков там, дескать, без меня много.

— Да, с ТОЗом нашим беда,— подтвердил Размётнов.— Председатель его, Аркашка-то Лосев, плохой хозяин. Ведь нашли же кого выбирать. Признаться, мы с этим делом маху дали. Не надо было его допущать на должность.

— А что? — спросил Давыдов, просматривая поимущественный список кулацких хозяйств.

— А то,— улыбаясь говорил Размётнов,— больной он человек. Ему бы по линии жизни купцом быть. Этим он и хворает: все бы он менял да перепродовывал. Разорил ТОЗ вчистую! Бугая племенного купил — вздумал променять на мотоциклу. Окрутил своих членов, с нами не посоветовался, глядим — везет со станции этую мотоциклу. Ахнули мы, за головы взялись! Ну, привез, а руководствовать ею никто не может. Да и на что она им? И смех и грех. В станицу ее возил. Там знающие люди поглядели и говорят: «Дешевле ее выкрасить да выбросить». Не оказалось в ней таких частей, что только на заводе могут их иcделать. Им бы в председатели Якова Лукича Островнова. Вон — голова! Пшеницу новую из Краснодара выписывал мелонопусой породы — в любой суховей выстаивает, снег постоянно задерживает на пашнях, урожай у него всегда лучше. Скотину развел породную. Хоть он трошки и кряхтит, как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет.

— Он, как дикий гусак середь свойских, все как-то на отшибе держится, на отдальке.— Нагульнов с сомнением покачал головой.

— Ну, нет! Он — свой человек,— убежденно заявил Размётнов.

ГЛАВА III

В ночь, когда к Якову Лукичу Островному приехал его бывший сотенный командир, есаул Половцев, был у них долгий разговор. Считался Яков Лукич в хуторе человеком большого ума, лисьей повадки и осторожности, а вот не удержался в стороне от яростно всполыхавшей по хуторам борьбы, коловерью втянуло его в события. С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат...

Тогда, после ужина, Яков Лукич достал кисет, присел на сундук, поджав ногу в толстом шерстяном чулке: заговорил — вылил то, что годами горько накипало на сердце:

— О чем толковать-то, Александр Анисимович? Жизня никак не радует, не веселит. Вот энто трошки зачали казачки собираться с хозяйством, богатеть. Налоги в двадцать шестом али в двадцать седьмом году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло навыворот. У вас в станице как, про коллективизацию что слыхать ай нет?

— Слыхать,— коротко отвечал гость, слюнявя бумажку и внимательно исподлобья посматривая на хозяина.

— Стало быть, от этой песни везде слезьми плачут? Вот зараз про себя вам скажу: вернулся я в двадцатом году из отступа. У Черного моря осталось две пары коней и все добро. Вернулся к голому куреню. С энтих пор работал день и ночь. Продразверсткой в первый раз обидели товарищи: забрали все зерно под гребло. А потом этим обидам и счет я потерял. Хоть счет-то им и можно произвесть: обидют и квиток выпишут, чтоб не забыл.— Яков Лукич встал, полез рукой за зеркало и вытянул, улыбаясь в подстриженные усы, связку бумаг.— Вот они тут, квитки об том, что сдавал в двадцать первом году: а сдавал и хлеб, и мясу, и маслу, и кожи, и шерсть, и птицу, и целыми быками водил в заготконтору. А вот это окладные листы по единому сельскому налогу, по самооблогу и опять же квитки за страховку... И за дым из трубы платил, и за то, что скотина живая на базу стоит... Скоро этих бумажек мешок насбираю. Словом, Александр Анисимович, жил я — сам возля земли кормился и других возля себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня сымали, а я опять же ею обрастал. Нажил спервоначалу пару бычат, они подросли. Одного сдал в ко́зну на мясу. За швейную машину женину купил другого. Спустя время, к двадцать пятому году, подошла еще пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. Голосу меня не лишали, в будущие времена зачислили меня крепким середняком.

— А лошади-то у тебя есть? — поинтересовался гость.— Погодите трошки, скажу и об лошадях. Купил я у соседки стригунка от чистых кровей донской кобылки (осталася одна на весь хутор), выросла кобыленка — ну, чистое дитё! Мала ростом, нестроевичка, полвершка [1] нету, а уже резва — неподобно! В округе получил я за нее на выставке сельской жизни награду и грамоту, как на племенную. Стал я к агрономам прислухаться, начал за землей ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал и снегозадержание делал. Сеял яровые только по зяби без весновспашки, пары у меня завсегда первые. Словом, стал культурный хозяин и об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного, словом, управления. Вот поглядите.

Гость мельком взглянул по направлению пальца Якова

---

[1] В дореволюционное время строевую лошадь, на которой казак должен был отбывать военную службу, принимали при условии, если она ростом была не меньше 2 аршин и 1/2 вершка.

Лукича на лист с сургучной печатью, вправленный в деревянную рамку, висевшую возле образов рядом с портретом Ворошилова.

— Да, прислали грамоту, и агроном даже пучок моей пшеницы-гарновки возил в Ростов на показ властям,— с гордостью продолжал Яков Лукич.— Первые года сеял я пять десятин, потом, как оперился, начал дюжей хрип выгинать: по три, по пять и по семь кругов [1] сеял, во как! Работал я и сын с женой. Два раза толечко поднанимал работника в горячую пору. Советская власть энти года диктовала как? — сей как ни мога́ больше! Я и сеял, ажник кутница вылазила, истинный Христос! А зараз, Александр Анисимович, добродетель мой, верьте слову — боюсь! Боюсь, за эти семь кругов посеву протянут меня в игольную ушку, обкулачут. Наш председатель Совета, красный партизан товарищ Размётнов, а попросту сказать Андрюшка, ввел меня в этот грех, крести его мать! «Сей,— говорит, бывало,— Яков Лукич, максиму, чего осилишь, подсобляй Советской власти, ей хлеб зараз дюже нужен». Сомневался я, а теперь запохаживается, что мне эта максима ноги на затылке петлей завяжет, побей бог!

— В колхоз у вас записываются? — спросил гость. Он стоял возле лежанки, заложив руки за спину, широкоплечий, большеголовый и плотный, как чувал с зерном.

— В колхоз-то? Дюже пока не докучали, а вот завтра собрание бедноты будет. Ходили, перед тем как смеркаться, оповещали. Свои-то галду набили с самого рождества: «Вступай да вступай». Но люди отказались наотруб, никто не вписался. Кто же сам себе лиходей? Должно, и завтра будут сватать. Говорят, нынче на́-вечер приехал какой-то рабочий из района и будет всех сгонять в колхоз. Конец приходит нашей жизни. Наживал, пригоршни мозолей да горб нажил, а теперь добро отдай все в обчий котел, и скотину, и хлеб, и птицу, и дом, стало быть? Выходит вроде: жену отдай дяде, а сам иди к..., не иначе. Сами посудите, Александр Анисимович, я в колхоз приведу пару быков (пару-то успел продать Союзмясе), кобылу с жеребенком, весь инвентарь, хлеб, а другой — вшей полон гашник. Сложимся мы с ним и будем барыши делить поровну. Да разве же мне-то не обидно?.. Он, может, всю жизнь на пече лежал да об сладком куске думал, а я... да что там гутарить! Во! — И Яков Лукич полоснул себя по горлу ребром шершавой ладони.— Ну, об этом кончим. Как вы проживаете?

[1] Круг — четыре гектара.

Служите зараз в какой учреждении или рукомеслом занимаетесь?

Гость подошел к Якову Лукичу, присел на табурет, снова стал вертеть цигарку. Он сосредоточенно смотрел в кисет, а Яков Лукич — на тесный воротник его старенькой толстовки, врезавшийся в бурую, туго налитую шею, на которой пониже кадыка по обеим сторонам напряженно набухали вены.

— Ты служил в моей сотне, Лукич... Помнишь, как-то в Екатеринодаре, кажется при отступлении, был у меня разговор с казаками насчет Советской власти? Я еще тогда предупреждал казаков, помнишь? «Горько ошибетесь, ребята! Прижмут вас коммунисты, в бараний рог скрутят. Всхомянетесь вы, да поздно будет».— Помолчал, в голубоватых глазах сузились крохотные, с булавочную головку, зрачки, и тонко улыбнулся.— Не на мое вышло? Я из Новороссийска не уехал со своими. Не удалось. Нас тогда предали, бросили добровольцы и союзники. Я вступил в Красную Армию, командовал эскадроном, по дороге на польский фронт... Такая у них комиссия была, фильтрационная, по проверке бывших офицеров... Меня эта комиссия от должности отрешила, арестовала и направила в Ревтрибунал. Ну, шлепнули бы товарищи, слов нет, либо в концентрационный лагерь. Догадываешься за что? Какой-то сукин сын, казуня [1], мой станичник, донес, что я участвовал в казни Подтелкова. По дороге в трибунал я бежал... Долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в двадцать третьем году вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то бы комэском, я сумел сохранить, попались хорошие ребята,— словом, я остался жив. Первое время меня таскали в округ, в политбюро [2] Дончека. Как-то отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. Ну, а сейчас... Сейчас другое дело. Еду вот в Усть-Хоперскую по делам, заехал к тебе как к старому полчанину.

— Учителем были? Та-ак... Вы — человек начитанный, книжную науку превзошли. Что же оно будет дальше? Куда мы пританцуем с колхозами?

— К коммунизму, братец. К самому настоящему. Читал я и Карла Маркса и знаменитый Манифест Коммунистической партии. Знаешь, какой конец колхозному делу? Сначал колхоз, потом коммуна — полнейшее уничтожение

---

[1] Казуня — презрительно-ироническое: казак, казачишка.

[2] Политбюро — здесь: название окружных или уездных органов ЧК в 1920—1921 годах.

собственности. Не только быков, но и детей у тебя отберут на государственное воспитание. Все будет общее: дети, жены, чашки, ложки. Ты хотел бы лапши с гусиным потрохом покушать, а тебя квасом будут кормить. Крепостным возле земли будешь.

— А ежели я этак не желаю?

— У тебя и спрашивать не будут.

— Это как же так?

— Да все так же.

— Ловко!

— Ну, еще бы! Теперь я у тебя спрошу: дальше можно так жить?

— Некуда дальше.

— А раз некуда, надо действовать, надо бороться.

— Что вы, Александр Анисимович! Пробовали мы, боролись... Никак невозможно. И помыслить не могу!

— А ты попробуй.— Гость придвинулся к собеседнику вплотную, оглянулся на плотно притворенную дверь в кухню и, вдруг побледнев, заговорил полушепотом: — Я тебе прямо скажу: надеюсь на тебя. В нашей станице казаки собираются восставать. И ты не думай, что это так просто, набалмошь. Мы связаны с Москвой, с генералами, которые сейчас служат в Красной Армии, с инженерами, которые работают на фабриках и заводах, и даже дальше: с заграницей. Да, да! Если мы дружно сорганизуемся и выступим именно сейчас, то к весне при помощи иностранных держав Дон уже будет чистым. Зябь ты будешь засевать своим зерном и для себя одного... Постой, ты потом скажешь. В нашем районе много сочувствующих нам. Их надо объединить и собрать. По этому же делу я еду в Усть-Хоперскую. Ты присоединяешься к нам? В нашей организации есть уже более трехсот служилых казаков. В Дубровском, в Войсковом, в Тубянском, в Малом Ольховатском и в других хуторах есть наши боевые группы. Надо такую же группу сколотить и у вас в Гремячем... Ну, говори.

— Люди ропщут против колхозов и против сдачи хлеба...

— Погоди! Не о людях, а о тебе речь. Я тебя спрашиваю. Ну?

— Такие дела разве зараз решают?.. Тут голову под топор кладешь.

— Подумай... По приказу одновременно выступаем со всех хуторов. Заберем вашу районную станицу, милицию и коммунистов по одному переберем на квартирах, а дальше пойдет полыхать и без ветра.

— А с чем?

— Найдется! И у тебя, небось, осталось?

— Кто его знает... Кажись, где-то валялась, какой-то ошкамёлок... австрийского никак образца...

— Нам только начать, и через неделю иностранные пароходы привезут и орудия и винтовки. Аэропланы и те будут. Ну?

— Дайте подумать, господин есаул! Не невольте сразу...

Гость со все еще не сошедшей с лица бледностью прислонился к лежанке, сказал глуховато:

— Мы не в колхоз зовем и никого не неволим. Твоя добрая воля, но за язык... гляди, Лукич! Шесть тебе, а уж седьмую...— и легонько покрутил пальцем застрекотавший в кармане нагановский барабан.

— За язык могете не сомневаться. Но ваше дело рисковое. И не потаю: страшно на такое дело идтить. Но и жизни ход отрезанный.— Помолчал.— Не будь гонения на богатых, я бы, может, теперь по моему старанию, первым человеком в хуторе был. При вольной жизни я бы зараз, может, свой автомобиль держал! — с горечью заговорил после минутного молчания хозяин.— Опять же одному идтить на такие... Вязы [1] враз скрутят.

— Зачем же одному? — с досадой перебил его гость.

— Ну, да это я так, к слову, а вот — как другие? Мир то есть как? Народ-то пойдет?

— Народ — как табун овец. Его вести надо. Так ты решил?

— Я сказал, Александр Анисимыч...

— Мне твердо надо знать: решил ли?

— Некуда деваться, потому и решаю. Вы все-таки дайте кинуть умом. Завтра утром скажу остатнее слово.

— Ты, кроме этого, должен уговорить надежных казаков. Ищи таких, какие имели бы зуб на Советскую власть,— уже приказывал Половцев.

— При этой жизни его всякий имеет.

— А сын твой как?

— Куда же палец от руки? Куда я, туда и он.

— Ничего он парень, твердый?

— Хороший казак,— с тихой гордостью отозвался хозяин.

Гостю постелили серую тавреную полсть и шубу в горнице, возле лежанки. Он снял сапоги, но раздеваться не

---

[1] Вязы — шея.

стал и уснул сразу, едва лишь коснулся щекой прохладной, пахнущей пером подушки.

...Перед светом Яков Лукич разбудил спавшую в боковой комнатушке свою восьмидесятилетнюю старуху мать. Коротко рассказал ей о целях приезда бывшего сотенного командира. Старуха слушала, свесив с лежанки черножилые, простудой изуродованные в суставах ноги, ладонью оттопыривала желтую ушную раковину.

— Благословите, мамаша? — Яков Лукич стал на колени.

— Ступай, ступай на них, супостатов, чадунюшка! Господь благословит! Церква закрывают... Попам житья нету... Ступай!..

Наутро Яков Лукич разбудил гостя:

— Решился! Приказывайте.

— Прочитай и подпиши.— Половцев достал из грудного кармана бумагу.

«С нами бог! Я, казак Всевеликого войска Донского, вступаю в «Союз освобождения родного Дона», обязуюсь до последней капли крови всеми силами и средствами сражаться по приказу моих начальников с коммунистами-большевиками, заклятыми врагами христианской веры и угнетателями российского народа. Обязуюсь беспрекословно слушаться своих начальников и командиров. Обязуюсь все свое достояние принести на алтарь православного отечества. В чем и подписуюсь».

ГЛАВА IV

Тридцать два человека — гремяченский актив и беднота — дышали одним дыхом. Давыдов не был мастером говорить речи, но слушали его вначале так, как не слушают и самого искусного сказочника.

— Я, товарищи, сам — рабочий Краснопутиловского завода. Меня послала к вам наша Коммунистическая партия и рабочий класс, чтобы помочь вам организовать колхоз и уничтожить кулака как общего нашего кровососа. Я буду говорить коротко. Вы должны все соединиться в колхоз, обобществить землю, весь свой инструмент и скот. А зачем в колхоз? Затем, что жить так дальше, ну, невозможно же! С хлебом трудности оттого, что кулак его гноит в земле, у него с боем хлеб приходится брать! А вы и рады бы сдать, да у самих маловато. Середняцко-бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь. Надо больше сеять. А как

ты с сохой или однолемешным плугом больше посеешь? Только трактор и может выручить. Факт! Я не знаю, сколько у вас на Дону вспахивают одним плугом за осень под зябь...

— С ночи до ночи держись за чапиги — и десятин двенадцать до зимы подымешь.

— Хо! Двенадцать? А ежели крепкая земля?

— Чего вы там толкуете? — пронзительный бабий голос.— В плуг надо три, а то и четыре пары добрых быков, а откель они у нас? Есть, да и то не у каждого, какая-то пара зас..., а то все больше на быках, у каких сиськи. Это у богатых, им и ветер в спину...

— Не об этом речь! Взяла бы подол в зубы да помолчала,— чей-то хриповатый басок.

— Ты с понятием! Жену учи, а меня нечего!

— А трактором?..

Давыдов выждал тишины, ответил:

— А трактором, хотя бы нашим путиловцем, при хороших, знающих трактористах можно за сутки в две смены вспахать тоже двенадцать десятин.

Собрание ахнуло. Кто-то потерянно проронил:

— Эх... мать!

— Вот это — да! На таком жеребце бы попахаться...— завистливый с высвистом вздох.

Давыдов вытер ладонью пересохшие от волнения губы, продолжал:

— Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку и середняку-одиночке купить трактор слабо: кишка тонка! Значит, чтобы купить, нужно коллективно соединиться батракам, беднякам и середнякам. Трактор такая машина, вам известная, что гонять его на малом куске земли — дело убыточное, ему большой гон надо. Небольшие артели — тоже пользы от них, как от козла молока.

— Ажник того меньше! — веско бухнул чей-то бас из задних рядов.

— Значит, как быть? — продолжал Давыдов, не обращая внимания на реплику.— Партия предусматривает сплошную коллективизацию, чтобы трактором зацепить и вывести вас из нужды. Товарищ Ленин перед смертью что говорил? Только в колхозе трудящемуся крестьянину спасение от бедности. Иначе ему — труба. Кулак-вампир его засосет в доску... И вы должны пойти по указанному пути совершенно твердо. В союзе с рабочими колхозники будут намахивать всех кулаков и врагов. Я правильно говорю. А затем перехожу к вашему товариществу. Калибра оно

мелкого, слабосильное, и дела его через это очень даже плачевные. А тем самым и льется вода на мельницу... Словом, никакая не вода, а один убыток от него! Но мы должны это товарищество переключить в колхоз и оставить костью, а вокруг этой кости нарастет середняцкое...

— Погоди, перебью трошки! — Поднялся конопатый и неправый глазами Демка Ушаков, бывший одно время членом товарищества.

— Проси слово, тогда и гутарь,— строго внушал ему Нагульнов, сидевший за столом рядом с Давыдовым и Андреем Размётновым.

— Я и без просьбов скажу,— отмахнулся Демка и скосил глаза так, что казалось, будто он одновременно смотрит и на президиум и на собравшихся.— А через что, извиняюся, превзошли в убыток и Советской власти в тягость? Черезо что, спрашиваю вас, жили вроде нахлебников у кредитного товарищества? Через любушку председателя ТОЗа! Через Аркашку Менка!

— Брешешь, как элемент! — петушиный тенорок из задних рядов. И Аркашка, работая локтями, погребся к столу президиума.

— Я докажу! — У побледневшего Демки глаза съехались к переносью. Не обращая внимания на то, что Размётнов стучит мослаковатым кулаком, он повернулся к Аркашке.— Не открутишься! Не через то превзошли мы в бедность своим колхозом, что мало нас, а через твою мену. А за «элемента» я тебя припрягу по всей строгости. Бугая на моциклетку, не спрошаючись, сменял? Сменял! Яйцеватых курей кто выдумал менять на...

— Опять же брешешь! — на ходу оборонялся Аркашка.

— Трех валухов и нетелю за тачанку не ты уговорил сбыть? Купец, с с... носом! То-то! — торжествовал Демка.

— Остепенитесь! Что вы, как кочета, сходитесь! — уговаривал Нагульнов, а мускул щеки уже заходил у него ходуном под покрасневшей кожей.

— Дайте мне слово по порядку,— просил пробившийся к столу Аркашка.

Он уже было забрал в горсть русую бородку, собираясь говорить, но Давыдов отстранил его:

— Кончу я, а сейчас, пожалуйста, не мешай... Так вот, я говорю, товарищи: только через колхоз можно...

— Да ты нас не агитируй! Мы с потрохами в колхоз пойдем,— перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидевший ближе всех к двери.

— Согласны с колхозом!

— Артелем и батьку хорошо бить.

— Только хозяйствовать умно надо.

Крики заглушил тот же Любишкин: он встал со стула, снял черную угрюмейшую папаху и — высокий, кряж в плечах — заслонил дверь.

— Чего ты, чудак, нас за Советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут становили, сами и подпирали плечом, чтоб не хитнулась. Мы знаем, что такое колхоз, и пойдем в него. Дайте машины! — Он протянул порепавшуюся ладонь.— Трактор — штука, слов нет, но мало вы, рабочие, их наделали, вот за это мы вас поругиваем! Не за что нам ухватиться, вот в чем беда. А на быках — одной рукой погонять, другой слезы утирать — можно и без колхоза. Я сам до колхозного переворота думал Калинину письмо написать, чтобы помогли хлеборобам начинать какую-то новую жизню. А то первые годы, как при старом режиме,— плати налоги, живи как знаешь. А РКП для чего? Ну, завоевали, а потом что? Опять за старое, ходи за плугом, у кого есть что в плуг запрягать. А у кого нечего? С длинной рукой под церкву? Либо с деревянной иглой под мост портняжить, воротники советским купцам да кооперативщикам пристрачивать? Землю дозволили богатым в аренду сымать, работников им дозволили нанимать. Это так революция диктовала в восемнадцатом году? Глаза вы ей закрыли! И когда говоришь: «За что ж боролись?» — то служащие, какие пороху не нюхали, над этим словом надсмехаются, а за ними строит хаханьки всякая белая сволочь! Нет, ты нам зубы не лечи! Много мы красных слов слыхали. Ты нам машину давай в долг или под хлеб, да не букарь там, али запашник, а добрую машину! Трактор, про какой рассказывал, давай! Это я за что получил? — Он прямо через колени сидевших на лавках зашагал к столу, на ходу расстегивая рваную мотню шаровар. А подойдя, заголил подол рубахи, прижал его подбородком к груди. На смуглом животе и бедре покорно обнажились стянувшие кожу страшные рубцы.— За что получил ошкамёлки кадетского гостинца?

— Черт бессовестный! Ты бы уж вовсе штаны-то спустил! — возмущенно и тонко крикнула сидевшая рядом с Демкой Ушаковым вдовая Анисья.

— А ты бы хотела? — Демка презрительно скосил на нее глаза.

— Молчи, тетка Анисья! Мне тут стыду нету свои ранения рабочему человеку показать. Пущай глядит! Затем, что ежели дальше так жить, мне, один черт, нечем

будет всю эту музыку прикрывать! Они уж и зараз такие штаны, что одно звание. Мимо девок днем уж не ходи, напужаешь до смерти.

Позади заигогокали, загомонили, но Любишкин повел кругом суровым глазом, и опять стало слышно, как с тихим треском горит в лампе фитиль.

— Видно, воевал я с кадетами за то, чтобы опять богатые лучше меня жили? Чтобы они ели сладкий кусок, а я хлеб с луком? Так, товарищ рабочий? Ты, Макар, мне не мигай! Я раз в году говорю, мне можно.

— Продолжай.— Давыдов кивнул головой.

— Продолжаю. Я сеял нонешний год три десятины пшеницы. У меня трое детишков, сестра калека и хворая жена. Сдал я свой план хлеба, Размётнов?

— Сдал. Да ты не шуми.

— Нет, буду шуметь! А кулак Фрол Рваный, за... его душу!..

— Но-но! — Нагульнов застучал кулаком.

— Фрол Рваный свой план сдал? Нету?

— Так его суд оштраховал, и хлеб взяли,— вставил Размётнов, блестя отчаянными глазами и с видимым наслаждением слушая Любишкина.

«Тебя бы сюда, тихохода!» — вспомнил Давыдов секретаря райкома.

— Он опять на энтот год будет Фролом Игнатичем! А весной опять придет меня наймать! — и кинул под ноги Давыдову черную папаху.— Чего ты мне говоришь о колхозе?! Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем! Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство! А то все разговоры да разговоры «кулака уничтожить», а он растет из года в год, как лопух, и солнце нам застит.

— Отдай нам Фролово имущество, а Аркашка Менок на него ероплан выменяет,— ввернул Демка.

— Ох-ха-ха-ха!..

— Это он враз.

— Будьте свидетелями на оскорбление!

— Тю! Слухать не даешь, цыц!

— Что на вас, черти, чуру нету?

— А ну тише!..

Давыдову насилу удалось прекратить поднявшийся шум.

— В этом и есть политика нашей партии! Что же ты стучишь, ежели открыто? Уничтожить кулака как класс, имущество его отдать колхозам, факт! И ты, товарищ пар-

тизан, напрасно шапку под стол бросил, она еще голове будет нужна. Аренды земли и найма батраков теперь не может быть! Кулака терпели мы из нужды: он хлеба больше, чем колхозы, давал. А теперь — наоборот. Товарищ Сталин точно подсчитал эту арифметику и сказал: уволить кулака из жизни! Отдать его имущество колхозам... О машинах ты все плакал... Пятьсот миллионов целковых дают колхозам на поправку, это как? Слыхал ты об этом? Так чего же ты бузу трешь? Сначала надо колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться. А ты хочешь вперед хомут купить, а по хомуту уж коня покупать. Чего же ты смеешься? Так, так!

— Пошел Любишкин задом наперед!

— Хо-хо...

— Так мы же с дорогой душой в колхоз!

— Это он насчет хомута... подъехал...

— Хоть нынче ночью!

— Записывай зараз!

— Кулаков громить ведите.

— Кто записывается в колхоз, подымай руки,— предложил Нагульнов.

При подсчете поднятых рук оказалось тридцать три. Кто-то, обеспамятев, поднял лишнюю.

Духота выжила Давыдова из пальто и пиджака. Он расстегнул ворот рубахи; улыбаясь, выжидал тихомирья.

— Сознательность у вас хорошая, факт! Но вы думаете, что войдете в колхоз, и всё? Нет, этого мало! Вы, беднота,— опора Советской власти. Вы, едрена зелена, и сами в колхоз должны идти и тянуть за собой качающуюся фигуру середняка.

— А как ты его потянешь, ежели он не хочет? Что он, бык, что ли, взналыгал и веди? — спросил Аркашка Менок.

— Убеди! Какой же ты боец за нашу правду, ежели не можешь другого заразить? Вот собрание завтра будет. Сам голосуй «за» и соседа-середняка уговори. Сейчас мы приступаем к обсуждению кулаков. Вынесем мы постановление к высылке их из пределов Северо-Кавказского края или как?

— Подписуемся!

— Под корень их!

— Нет, уж лучше с корнем, а не под корень,— поправил Давыдов. И к Размётнову: — Огласи список кулаков. Сейчас будем утверждать их к раскулачиванию.

Андрей достал из папки лист, передал Давыдову.

— Фрол Дамасков. Достоин он такой пролетарской кары?

Руки поднялись дружно. Но при подсчете голосов Давыдов обнаружил одного воздержавшегося.

— Не согласен? — Он поднял покрытые потной испариной брови.

— Воздёрживаюсь,— коротко отвечал неголосовавший, тихий с виду и неприметного обличья казак.

— Почему такое? — выпытывал Давыдов.

— Потому, как он — мой сосед, и я от него много добра видал. Вот и не могу на него руки подымать.

— Выйди с собрания зараз же! — приказал Нагульнов вздрагивающим голосом, приподнимаясь словно на стременах.

— Нет, так нельзя, товарищ Нагульнов! — строго прервал его Давыдов.— Не уходи, гражданин! Объясни свою линию. Кулак Дамасков, по-твоему, или нет?

— Я этого не понимаю. Я неграмотный и прошу уволить меня с собрания.

— Нет, ты уж нам объясни, пожалуйста: какие милости от него получил?

— Все время он мне пособлял, быков давал, семена ссужал... мало ли... Но я не изменяю власти. Я — за власть...

— Просил он тебя за него стоять? Деньгами магарычил, хлебом? Да ты признайся, не боись! — вступил в разговор Размётнов.— Ну, говори: что он тебе сулил? — и неловко от стыда за человека и за свои оголенные вопросы улыбнулся.

— А может, и ничего. Ты почем знаешь?

— Брешешь, Тимофей! Купленный ты человек и, выходит, подкулачник! — крикнул кто-то из рядов.

— Обзывайте как хотите, воля ваша...

Давыдов спросил, будто нож к горлу приставил:

— Ты за Советскую власть или за кулака? Ты, гражданин, не позорь бедняцкий класс, прямо говори собранию: за кого ты стоишь?

— Чего с ним вожжаться! — возмущенно перебил Любишкин.— Его за бутылку водки совсем с гуньями можно купить. На тебя, Тимофей, ажник глазами больно глядеть!

Неголосовавший Тимофей Борщев под конец с деланным смирением ответил:

— Я — за власть. Чего привязались? Темность моя попутала...— но руку при вторичном голосовании поднимал с видимой неохотой.

Давыдов коротко черканул в блокноте: «Тимофей Борщев затуманенный классовым врагом. Обработать».

Собрание единогласно утвердило еще четыре кулацких хозяйства.

Но когда Давыдов сказал:

— Тит Бородин. Кто «за»? — собрание тягостно промолчало. Нагульнов смущенно переглянулся с Размётновым. Любишкин папахой стал вытирать мокрый лоб.

— Почему тишина? В чем дело? — Давыдов, недоумевая, оглядел ряды сидевших людей и, не встретившись ни с кем глазами, перевел взгляд на Нагульнова.

— Вот в чем,— начал тот нерешительно.— Этот Бородин, по-улишному Титок мы его зовем, вместе с нами в восемнадцатом году добровольно ушел в Красную гвардию. Будучи бедняцкого рода, сражался стойко. Имеет раны и отличие — серебряные часы за революционное прохождение. Служил он в Думенковом отряде. И ты понимаешь, товарищ рабочий, как он нам сердце полоснул? Зубами, как кобель в падлу, вцепился в хозяйство, возвернувшись домой... И начал богатеть, несмотря на наши предупреждения. Работал день и ночь, оброс весь дикой шерстью, в одних холстинных штанах зиму и лето исхаживал. Нажил три пары быков и грызь от тяжелого подъема разных тяжестев, и все ему было мало! Начал нанимать работников, по два, по три. Нажил мельницу-ветрянку, а потом купил пятисильный паровой двигатель и начал ладить маслобойку, скотиной переторговывать. Сам, бывало, плохо жрет и работников голодом морит, хоть и работают они двадцать часов в сутки да за ночь встают раз по пять коням подмешивать, скотине метать. Мы вызывали его неоднократно на ячейку и в Совет, стыдили страшным стыдом, говорили: «Брось, Тит, не становись нашей дорогой Советской власти поперек путя! Ты же за нее страдалец на фронтах против белых был...» — Нагульнов вздохнул и развел руками.— Что можно сделать, раз человек осатанел? Видим, поедает его собственность! Опять его призовем, вспоминаем бои и наши обчие страдания, уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз он становится поперек путя, делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции.

— Ты короче,— нетерпеливо попросил Давыдов.

Голос Нагульнова дрогнул и стал тише.

— Об этом нельзя короче. Это боль такая, что с кровью... Ну, он, то есть Титок, нам отвечает: «Я сполняю приказ Советской власти, увеличиваю посев. А работников

имею по закону: у меня баба в женских болезнях. Я был ничем и стал всем, все у меня есть, за это я и воевал. Да и Советская власть не на вас, мол, держится. Я своими руками даю ей что жевать, а вы — портфельщики, я вас в упор не вижу». Когда о войне и наших вместе перенесенных трудностях мы ему говорим, у него иной раз промеж глаз сверканет слеза, но он не дает ей законного ходу, отвернется, насталит сердце и говорит: «Что было, то быльем поросло!» И мы его лишили голосу гражданства. Он было помыкнулся туда и сюда, бумажки писал в край и в Москву. Но я так понимаю, что в центральных учреждениях сидят на главных постах старые революционеры и они понимают: раз предал,— значит, враг, и никакой к тебе пощады!

— А ты все же покороче...

— Зараз кончаю. Его и там не восстановили, и он дóсе в таком виде, работников, правда, расчел...

— Ну, так в чем же дело? — Давыдов пристально всматривался в лицо Нагульнова.

Но тот прикрыл глаза короткими сожженными солнцем ресницами, отвечал:

— Потому собрание и молчит. Я только объяснил, какой был в прошлом дорогом времени Тит Бородин, нынешний кулак.

Давыдов сжал губы, потемнел:

— Чего ты нам жалостные рассказы преподносишь? Был партизан — честь ему за это, кулаком стал, врагом сделался — раздавить! Какие тут могут быть разговоры?

— Я не из жалости к нему. Ты, товарищ, на меня напраслину не взводи!

— Кто за то, чтобы Бородина раскулачить? — Давыдов обвел глазами ряды.

Руки не сразу, вразнобой, но поднялись.

После собрания Нагульнов позвал Давыдова к себе ночевать.

— А завтра уж квартиру вам найдем,— сказал он, ощупью выходя из темных сеней Совета.

Они шли рядом по хрусткому снегу. Нагульнов, распахнув полушубок, негромко заговорил:

— Я, дорогой товарищ рабочий, легче дышу, как услыхал, что сплошь надо стянуть в колхоз хлеборобскую собственность. У меня к ней с мальства ненáвисть. Все зло через нее, правильно писали ученые товарищи Маркс и Энгельс. А то и при Советской власти люди, как свиньи у корыта, дерутся, южáт, пихаются из-за этой проклятой

заразы. А раньше что было, при старом режиме? Страшно вздумать! Мой отец был зажиточным казаком, имел четыре пары быков и пять лошадей. Посев у нас был огромный, шестьдесят — семьдесят и до ста десятин. Семья была большая, рабочая. Сами управлялись. Да ведь вздумать: трое женатых братов у меня было. И вот вонзился в память мне такой случай, через чего я и восстал против собственности. Как-то соседская свинья залезла к нам в огород и потравила несколько гнездов картошки. Мать увидала ее, ухвати в кружку вару из чугуна и говорит мне: «Гони ее, Макарка, а я стану за калиткой». Мне тогда было лет двенадцать. Ну, конечно, погнал я эту несчастную свинью. Мать на нее и плескани варом. Так у ней щетина и задымилась! Время летняя, завелись у свиньи черви, дальше — больше, издохла свинья. Сосед злобу затаил. А через неделю у нас в степи сгорело двадцать три копны пшеницы. Отец уж знал, чьих это рук дело, не стерпел, подал в суд. Да такая промеж них завелась вражда,— зрить один одного не могут! Чуть подопьют — и драка. Лет пять сутяжились и дошли до смертного случая... Соседского сына на масленую нашли на гумнах убитого. Кто-то вилами пронзил ему грудь в скольких местах. И кой по чем я догадался, что это моих братов дело. Следствие было, убийцев не нашли... Составили акт, что погиб по пьяной лавочке. А я с той поры ушел от отца в работники. Попал на войну. И вот лежишь, бывало, бьет по тебе немец чижелыми снарядами, дым черный с землей к небу летит. Лежишь, думаешь: «За кого же, за чью собственность я тут страх и смерть принимаю?» А самому от обстрела хочется в гвоздь оборотиться: залез бы в землю по самую шляпку! Эх, ты, родная мамунюшка! Газы нюхал, был отравленный. Теперь, как чудо̀к на гору идтить,— опышка берет, кровь в голову шибнет,— не сойду. Умные люди ишо на фронте подсказали, большевиком вернулся. А в гражданскую, ох и рубил гадов, беспощадно! Контузило меня под Касторной, потом зачало припадками бить. А теперь вот этот знак.— Нагульнов положил на орден огромную ладонь, и в голосе его странной теплотой зазвучали новые нотки: — От него мне зараз теплее становится. Я зараз, дорогой товарищ, как во дни гражданской войны, как на позиции. В землю надо зарыться, а всех завлечь в колхоз. Всё ближе к мировой революции.

— Тита Бородина ты близко знаешь? — шагая, раздумчиво спросил Давыдов.

— Как же, мы с ним друзья были, но через то и разошлись, что он до крайности приверженный к собственно-

сти. В двадцатом году мы с ним были на подавлении восстания в одной из волостей Донецкого округа. Два эскадрона и ЧОН[1] ходили в атаку. Много за слободой оказалось порубанных хохлов. Титок ночью заявился на квартиру, вносит вьюки в хату. Тряхнул их и высыпал на пол восемь отрубленных ног. «Сдурел ты, такую твою?! — говорит ему товарищ.— Удались зараз же с этим!» А Титок говорит ему: «Не будут восставать, б...! А мне четыре пары сапог сгодятся. Я всю семью обую». Оттаял их на печке и начал с ног сапоги сдирать. Распорет шашкой шов на голенище, стянет. Голые ноги отнес, зарыл в стог соломы. «Похоронил»,— говорит. Ежли б тогда мы узнали — расстреляли бы, как гада! Но товарищи его не выдали. А после я пытал: верно ли это? «Верно,— говорит,— так снять не мог, на морозе одубели ноги-то, я их и пооттяпал шашкой. Мне, как чеботарю, прискорбно, что добрые сапоги в земле сгниют. Но теперь,— говорит,— самому ужасно. Иной раз даже ночью проснусь, прошу бабу, чтобы к стенке пустила, а то с краю страшно...» ...Ну, вот мы и пришли на мою квартиру.— Нагульнов вошел во двор, звякнул щеколдой дверей.

ГЛАВА V

Андрея Размётнова провожали на действительную военную службу в 1913 году. По тогдашним порядкам должен он был идти в строй на своем коне. Но не только коня,— и полагающееся казаку обмундирование не на что было ему купить. От покойного отца осталась в наследство одна дедовская шашка в отерханных, утративших лоск ножнах. Век не забыть Андрею горького унижения! На станичном сборе старики решили отправить его на службу за счет войска: купили ему дешевого рыженького конька, седло, две шинели, двое шаровар, сапоги... «На обчественные средства справляем тебя, Андрюшка, гляди, не забудь нашу милость, не страми станицы, служи царю справно...» — говорили старики Андрею.

А сыны богатых казаков на скачках, бывало, щеголяли сотенными конями Корольковского завода или от племенных жеребцов с Провалья, дорогими седлами, уздечками с серебряным набором, новехонькой одеждой... Пай

[1] ЧОН — части особого назначения, организованные для борьбы с остатками контрреволюции и бандитизмом.

Андреевой земли взяло станичное правление, и все время, пока Андрей мотался по фронтам, защищая чужое богатство и чужую сытую жизнь,— сдавало в аренду. Андрей заслужил на германской три георгиевских креста. «Крестовые» деньги посылал жене и матери. Тем и жила со снохой старуха, чью старость, соленую от слез, поздновато пришлось Андрею покоить.

К концу войны Андреева баба с осени нанималась на молотьбу, скопила деньжат, поехала на фронт проведать мужа. Пожила там считанные дни (11-й Донской казачий полк, в котором служил Андрей, стоял на отдыхе), полежала на мужниной руке. Летними зарницами отполыхали те ночи. Но много ли времени для птичьего греха, для бабьего голодного счастья надо? А оттуда вернулась с посветлевшими глазами и через положенный срок, без крику и слез, будто нечаянно, прямо на пашне родила, вылила в Андрея мальчишку.

В восемнадцатом году Размётнов на короткий срок вернулся в Гремячий Лог. Прожил он в хуторе недолго: поправил подгнившие сохи и стропила сараев, вспахал две десятины земли, потом как-то целый день пестовал сынишку, сажал его на свою вросшую в плечи, провонявшую солдатчиной шею, бегал по горнице, смеялся, а в углах светлых, обычно злобноватых глаз заметила жена копившиеся слезы, побелела: «Либо уезжаешь, Андрюша?» — «Завтра. Сготовь харчей».

И на другой день он, Макар Нагульнов, атаманец Любишкин, Тит Бородин и еще восемь человек фронтовых казаков с утра собрались возле Андреевой хаты. Подседланные разномастные кони вынесли их за ветряк, и долго кружился по шляху легкий вешний прах, взвихренный конскими, обутыми в летние подковы, копытами.

В этот день над Гремячим Логом, над полой водой, над степью, надо всем голубым миром с юга на север, в вышней просторной целине спешили, летели без крика, без голоса станицы чернокрылых казарок и диких гусей.

Андрей в Каменской отстал от товарищей. С одной из ворошиловских частей он двинул на Морозовскую — Царицын. Макар Нагульнов, Любишкин и остальные очутились в Воронеже. А через три месяца под Кривой Музгой Андрей, легко раненный осколком гранаты, на перевязочном пункте от случайно повстречавшегося станичника узнал, что, после разгрома отряда Подтелкова, в Гремячем Логу белые казаки, хуторяне Андрея, мстя ему за уход в красные, люто баловались с его женой, что все это стало

известно хутору и что Евдокия не снесла черного позора, наложила на себя руки.

...Морозный день. Конец декабря. Гремячий Лог. Курени, сараи, плетни, деревья в белой опуши инея. За дальним бугром бой. Глухо погромыхивают орудия генерала Гусельщикова. Андрей на взмыленном коне прискакал под вечер в хутор. И до сих пор помнит, стоит лишь закрыть глаза и стремительный бег памяти направить в прошлое... Скрипнула калитка. Задыхаясь, тянет Андрей повод, вводит на баз шатающегося от усталости коня. Мать, распокрытая, выбежала из сеней.

Ох, да как же резнул слух Андрея ее плач в голос, по мертвому!

— И родимый ты мо-о-ой! Закрылися ее ясные гла-а-зынь-ки!..

Будто бы на чужой баз заехал Размётнов: поводья примотал за перила крыльца, сам — в хату. Провалившимися, как у мертвого, глазами обшарил пустую горницу, пустую люльку.

— Дите где?

Мать, уткнувшись в завеску, мотала редковолосой, седеющей головой.

Насилу добился ответа.

— Да не сберегла ж я своего голубеночка! На вторую неделю после Дунюшки... от глотошной.

— Не кричи... Мне бы! Мне бы слезу найтить! Кто сильничал Евдокию?

— Аникей Девяткин тягал ее на гумно... Меня — плетью... ребят на гумно скликал. Все ее белы рученьки ножнами побил, пришла вся черная... Одни глаза...

— Дома он зараз?

— В отсту́пе.

— Есть кто-нибудь у них дома?

— Баба его и сам старик. Андрюша! Не казни ты их! Они за чужой грех не ответчики...

— Ты!.. Ты мне указываешь?! — Андрей почернел, задохнулся. Порвал застежки шинели, ворот гимнастерки и нательной рубахи.

Припав к чугуну с водой голой реброватой грудью, пил и кусал края зубами. А потом встал, не поднимая глаз, спросил:

— Мамаша! Чего она мне переказывала перед смертью?

Мать сунулась в передний угол, из божнички вытащила пожелтелый лоскуток бумаги. И, словно родной голос,

зазвучали смертные слова: «Родненький мой Андрюшенька! Споганили меня проклятые, смывались надо мной и над моим сердцем к тебе. Не гляну я на тебя и не увижу теперь белого света. Совесть мне не дозволяет жить с дурной болезнью. Андрюшенька мой, цветочек мой родимый! Я уж какую ночь не сплю и подушку свою оболью слезами. Нашу любовь с тобой я помню и на том свете буду помнить. И только жалко мне одного — дитя и тебя, что с тобой наша жизня, любовь была такая короткая. Другую в дом приведешь,— нехай она, ради господа бога, нашего парнишоночка жалеет. Жалей и ты его, мою сироту. Мамане прикажи, чтобы юбки мои, и шальки, и кофточки отдала сеструшке. Она невеста, ей надо...»

Ко двору Девяткиных Андрей прискакал наметом, спешился и, вытащив из ножен шашку, рысью вбежал на крыльцо. Отец Аникея Девяткина — высокий седой старик,— увидев его, перекрестился, стал под образами на колени.

— Андрей Степаныч! — сказал он только, поклонился в ноги Андрею, а больше и слова не молвил и розовой плешивой головы от пола не поднял.

— Ты мне за сына ответишь! В ваших богов, в креста!..— Андрей левой рукой схватил седую бороду старика, пинком отворил дверь и с громом поволок Девяткина по крыльцу.

Старуха валялась у печки в беспамятстве, но сноха Девяткиных — жена Аникея — сгребла в кучу детишек (а их у нее было счетом шесть штук), с плачем выскочила на крыльцо. Андрей, белый, как облизанная ветрами мертвая кость, избочившись, уже занес шашку над стариковской шеей, но тут-то и посыпались ему под ноги с ревом, с визгом, с плачем разнокалиберные сопливые ребятишки.

— Руби всех их! Все они Аникушкиного помёта щенки! Меня руби! — кричала Авдотья — Аникеева жена — и шла на Андрея, расстегнув розовую рубаху, болтая, как многощенная сука, сухонькими, сморщенными грудями.

А в ногах у Андрея копошилась детва, все мал мала меньше...

Попятился он, дико озираясь, кинул шашку в ножны и, не раз споткнувшись на ровном, направился к коню. До самой калитки шел за ним плачущий от радости и пережитого страха старик и все норовил припасть, поцеловать стремя, но Андрей, брезгливо морщась, отдергивал ногу, хрипел:

— Счастье твое!.. Детишки...

Дома он трое суток наливался дымкой, плакал пьяный, на вторую ночь сжег сарай, на перерубе которого повесилась Евдокия, и на четвертые сутки, опухший и страшный, тихо прощался с матерью, и та, прижимая его голову к своей груди, впервые заметила на белокуром сыновьем чубе ковыльные нити седины.

Через два года Андрей вернулся в Гремячий с польского фронта. Год побродил по Верхнедонскому округу с продотрядом, а потом припал к хозяйству. На советы матери жениться он отмалчивался. Но однажды мать настойчиво стала добиваться ответа.

— Женись, Андрюша! Мне уж чугуны не под силу ворочать. Любая девка за тебя — с грабушками. У кого будем сватать?

— Не буду, мамуня, не приставай!

— Заладил одно да добро! Гля-ко, у тебя вон по голове уже заморозки прошлись. Когда же надумаешь-то? Покеда белый станешь? Об матери и — бай дюже. А я-то думала, что внуков придется нянчить. С двух коз-то и пуху насбирала, детишкам бы чулочков связать... Обмыть их, искупать — вот мое дело. Корову мне уж трудно выдаивать: пальцы неслухменные стали.— И переходила на плач: — И в кого такого идола уродила! Набычится и сопит. Чего же молчишь-то? Агел! [1]

Андрей брал шапку, молча уходил из хаты. Но старуха не унималась: разговоры с соседками, шепоты, советы...

— После Евдокии никого не введу в хату,— угрюмо стоял на своем Андрей.

И материнская злоба переметнулась на покойную сноху.

— Приворожила его энта змеюка! — говорила она старухам, встречаясь на прогоне либо сидя перед вечером возле своего база.— Сама завесилась и от него жизню отымет. Не хочет другую брать. А мне-то легко? И-и, милушка моя! Гляну на чужих внуков да так слезьми и умоюсь: у других-то старухам радость да утеха, а я одна, как суслик в норе...

В этом же году Андрей сошелся с Мариной, вдовой убитого под Новочеркасском вахмистра Михаила Пояркова. Ей в ту осень перевалило за сорок, но она еще сохранила в полном и сильном теле, в смуглом лице степную, неяркую красоту.

В октябре Андрей крыл ей хату чаканом. Перед су-

---

[1] Агел — нечистый дух.

мерками она позвала его в хату, расторопно накрыла стол, поставила чашку с борщом, кинула на колени Андрею расшитый чистый рушник, сама села напротив, подперев остроскулую щеку ладонью. Андрей искоса, молча посматривал на гордую ее голову, отягощенную глянцевито-черным узлом волос. Были они у нее густы, на вид жестки, как конская грива, но возле крохотных ушей по-детски беспокойно и мягко курчавились. Марина в упор щурила на Андрея удлиненный, чуть косой в разрезе черный глаз.

— Подлить еще? — спросила она.

— Ну что ж,— согласился Андрей и ладонью вытер белесый ус.

Он было принался опять на борщ. Марина снова, сидя против него, смотрела зверино-сторожким и ждущим взглядом, но как-то нечаянно увидел Андрей на ее полной шее стремительно пульсирующую синюю жилку и почему-то смутился, отложил ложку.

— Чего же ты? — Она недоуменно взмахнула черными крыльями бровей.

— Наелся. Спасибо. Завтра утрецом приду, докрою.

Марина обошла стол. Медленно обнажая в улыбке плотно слитые зубы, прижимаясь к Андрею большой мягкой грудью, шепотом спросила:

— А может, у меня заночуешь?

— И это можно,— не нашелся иного сказать растерявшийся Андрей.

И Марина, мстя за глупое слово, согнула в поклоне полнеющий стан.

— То-то спасибо, кормилец! Уважил бедную вдову... А я-то, грешница, боялась, думала — откажешься...

Она проворно дунула на жирник, в потемках постелила постель, заперла на задвижку дверь в сенях и с презрением, с чуть заметной досадой сказала:

— В тебе казачьего — поганая капля. Ведерник тамбовский тебя делал.

— Как так? — обиделся Андрей и даже сапог перестал стаскивать.

— Так же, как и других прочих. По глазам судить — лихие они у тебя, а вот у бабы попросить робеешь. Тоже, кресты на войне получал! — Она заговорила невнятней, зажав зубами шпильки, расплетая волосы.— Моего Мишу помнишь ты? Он ростом меньше меня был. Ты — ровней мне, а он чудок меньше. Так вот я его любила за одну смелость. Он и самому сильному, бывало, в кабаке не уступит, хоть нос в крови, а он все непобитый. Может, через это он

и помер. Он ить знал, за что я его любила...— с гордостью закончила она.

Андрей вспомнил рассказы хуторских казаков — однополчан Марининого мужа, бывших свидетелями его смерти: будучи в рекогносцировке, он повел свой взвод в атаку на вдвое превосходящий числом разъезд красноармейцев, те «льюисом» обратили их в бегство, выбили из седел в угон четырех казаков, а самого Михаила Пояркова отрезали от остальных, попытались догнать. Троих преследовавших его красноармейцев он в упор убил, отстреливаясь на скаку, а сам, будучи лучшим в полку по джигитовке, начал вольтижировать, спасаясь от выстрелов, и ускакал бы, но конь попал ногой в какую-то ямину, переломил при падении ногу хозяину. Тут-то и подошел конец лихому вахмистру...

Андрей улыбнулся, вспомнив рассказ о смерти Пояркова.

Марина легла; часто дыша, придвинулась к Андрею.

Через полчаса она, продолжая начатый разговор, прошептала:

— Мишку за смелость любила, а вот тебя... так, ни за что,— и прижалась к груди Андрея маленьким пылающим ухом. А ему в полутемноте показалось, что глаз ее светится огнисто и непокорно, как у норовистой ненаезженной лошади.

Уже перед зарей она спросила:

— Придешь завтра хату докрывать?

— Ну, а то как же? — удивился Андрей.

— Не ходи...

— Почему такое?

— Ну, уж какой из тебя крыльщик! Дед Щукарь лучше тебя кроет,— и громко засмеялась.— Нарочно тебя покликала!.. Чем же, окромя, примануть? То-то ты мне убытку наделал! Хату все одно надо перекрывать под корешок.

Через два дня хату перекрывал дед Щукарь, хуля перед хозяйкой никудышнюю работу Андрея.

А Андрей с той поры каждую ночь стал наведываться к Марине. И сладка показалась ему любовь бабы на десять лет его старшей, сладка, как лесовое яблоко-зимовка, запаленное первым заморозком...

В хуторе об их связи скоро узнали и встретили ее поразному. Мать Андрея поплакала, пожалилась соседкам: «Страма! Со старухой связался». Но потом смирилась, притихла. Нюрка, соседская девка, с которой при случае Андрей и пошучивал и баловался, долго избегала с ним

встреч, но как-то еще по чернотропу, на рубке хвороста встретилась лицом к лицу, побледнела.

— Оседлала тебя старуха? — спросила она, улыбаясь дрожащими губами и не пытаясь скрывать блеснувших под ресницами слез.

— Дыхнуть нечем! — пробовал отшучиваться Андрей.

— Моложе аль не нашлось бы? — отходя, спросила Нюрка.

— Да я сам-то, глянь-ка, какой.— Андрей снял папаху, указывая голицей на свою иссеченную сединой голову.

— А я, дура, и седого тебя, кобеля, прилюбила! Ну, стало быть, прощай,— и ушла, оскорбленно неся голову.

Макар Нагульнов коротко сказал:

— Не одобряю, Андрюха! Вахмистра она из тебя сделает и мелкого собственника. Ну-ну, шутю, не видишь, что ли?

— Женись уж на ней законным путем,— однажды раздобрилась мать.— Пущай в снохах походит.

— Не к чему,— уклончиво отвечал Андрей.

Марина — будто двадцать лет с плеч скинула. Она встречала Андрея по ночам, сдержанно сияя чуть косо поставленными глазами, обнимала его с мужской силой, и до белой зорьки не сходил со скуластых смуглых щек ее вишневый, яркий румянец. Будто девичье время вернулось к ней! Она вышивала Андрею цветные и сборные из шелковых лоскутков кисеты, преданно ловила каждое его движенье, заискивала, потом с чудовищной силой проснулись в ней ревность и страх потерять Андрея. Она стала ходить на собрания только для того, чтобы там наблюдать за ним — не играет ли он с молодыми бабами? Не глядит ли на какую? Андрей первое время тяготился такой неожиданно пришедшей опекой, ругал Марину и даже несколько раз побил, а потом привык, и его чувству мужского самолюбия это обстоятельство стало даже льстить. Марина, выдабриваясь, отдала ему всю мужнину одежду. И вот Андрей, до того ходивший голодранцем,— не стыдясь, на правах преемника, защеголял по Гремячему в суконных вахмистровых шароварах и рубахах, рукава и воротники которых были ему заметно коротки и узковаты.

Он помогал своей любушке в хозяйстве, с охоты нес ей убитого зайца или вязанку куропаток. Но Марина никогда не злоупотребляла своей властью и не обделяла матери Андрея, хотя и относилась к ней с чувством скрытой враждебности.

Да она и сама неплохо справлялась с хозяйством

и могла бы легко обходиться без мужской помощи. Не раз Андрей со скрытым удовольствием наблюдал, как она подымает на вилах трехпудовый ворох пшеницы, опутанной розовой повителью, или, сидя на лобогрейке, мечет изпод стрекочущих крыльев валы скошенного полнозерного ячменя. В ней было много мужской ухватистости и силы. Даже лошадь она запрягала по-мужски, упираясь в ободь клеща, разом затягивая супонь.

С годами чувство к Марине застарело, надежно укоренилось. Андрей изредка вспоминал о первой жене, но воспоминания уже не приносили прежней режущей боли. Иногда лишь, встречаясь со старшим сыном Аникея Девяткина, эмигрировавшего во Францию, бледнел: так разительно было сходство между отцом и сыном.

А потом опять в работе, в борьбе за кусок хлеба, в суете рассасывалась злоба и, тупая, ноющая, уходила боль, похожая на ту, которую иногда испытывал он от рубца на лбу — памятки, оставленной некогда палашом мадьярского офицера.

* * *

С собрания бедноты Андрей пошел прямо к Марине. Она пряла шерсть, дожидаясь его. В низенькой комнатушке снотворно жужжала прялка, было жарко натоплено. Кучерявый озорной козленок цокотал по земляному полу крохотными копытцами, намереваясь скакнуть на кровать.

Размётнов раздраженно поморщился:

— Погоди гонять кружало!

Марина сняла с подлапника прялки обутую в остроносый чирик ногу, сладко потянулась, выгибая широкую, как конский круп, спину.

— Чего ж на собрании было?

— Кулаков завтра начнем потрошить.

— Взаправди?

— В колхоз нынче беднота вступила всем собранием.— Андрей, не снимая пиджака, прилег на кровать, схватил на руки козленка — теплый шерстяной комочек.— Ты завтра неси заявление.

— Какое? — изумилась Марина.

— О принятии в колхоз.

Марина вспыхнула, с силой сунула к печи прялку.

— Да ты никак одурел? Чего я там не видала?

— Давай, Марина, об этом не спорить. Тебе надо быть

в колхозе. Скажут про меня: «Людей в колхоз завлекает, а Марину свою отгородил». Совесть будет зазревать.

— Я не пойду! Все одно не пойду! — Марина прошла мимо кровати, опахнув Андрея запахом пота и разгоряченного тела.

— Тогда, гляди, придется нам — горшок об горшок и врозь.

— Загрозил!

— Я не грожу, а только мне иначе нельзя.

— Ну и ступай! Поведу я им свою коровенку, а сама с чем буду? Ты же придешь, трескать будешь просить!

— Молоко будет обчее.

— Может, и бабы будут обчие? Через это ты и пужаешь?

— Побил бы тебя, да что-то охоты нет.— Андрей столкнул на пол козленка, потянулся к шапке и, как удавку, захлестнул на шее пуховый шарфишко.

«Каждого черта надо уговаривать да просить! Маришка и эта в дыбки становится. Что же завтра на обчем собрании будет? Побьют, ежели дюже нажимать»,— злобно думал он, шагая к своей хате. Он долго не спал, ворочался, слышал, как мать два раза вставала смотреть тесто. В сарае голосил дьявольски горластый петух. Андрей с беспокойством думал о завтрашнем дне, о ставшей на пороге перестройке всего сельского хозяйства. У него явилось опасение, что Давыдов, сухой и черствый (таким он ему показался), каким-нибудь неосторожным поступком оттолкнет от колхоза середняков. Но он вспомнил его коренастую, прочного литья фигуру, лицо напряженное, собранное в комок, с жесткими складками по обочинам щек, с усмешливо-умными глазами, вспомнил, как на собрании Давыдов, наклоняясь к нему за спиной Нагульнова и дыша в лицо по-детски чистым, терпко-винным запахом щербатого рта, сказал во время выступления Любишкина: «Партизан-то парень грубо́й [1], но вы его забросили, не воспитали, факт! Надо над ним поработать». Вспомнил и обрадованно решил: «Нет, этот не подведет, Макара, вот кого надо взнуздывать! Как бы он в горячности не отчебучил какое-нибудь колено. Макару попадет шлея под хвост — тогда и повозки не собрать. Да, не собрать... А чего не собрать? Повозки... При чем тут повозка? Макар... Титок... завтра...» Сон, подкравшись, гасил сознание. Андрей засыпал, и с губ его медленно, как капли росы с желобка листа, стекала улыбка.

---

[1] Г р у б о́ й — хороший.

ГЛАВА VI

Часов в семь утра Давыдов, придя в сельсовет, застал уже в сборе четырнадцать человек гремяченской бедноты.

— А мы вас давно ждем, спозаранку,— улыбнулся Любишкин, забирая в свою здоровенную ладонь руку Давыдова.

— Не терпится...— пояснил дед Щукарь.

Это он, одетый в белую бабью шубу, в первый день приезда Давыдова перешучивался с ним во дворе сельсовета. С того дня он почел себя близким знакомым Давыдова и обращался с ним, не в пример остальным, с дружественной фамильярностью. Он так перед его приходом и говорил: «Как мы с Давыдовым решим, так и будет. Он позавчера долго со мной калякал. Ну, были промеж сурьезного и шутейные разговоры, а то все больше обсуждали с ним планты, как колхоз устраивать. Веселый он человек, как и я...»

Давыдов узнал Щукаря по белой шубе и, сам того не зная, жестоко его обидел:

— А, это ты, дед? Вот видишь: позавчера ты как будто огорчился, узнав, для чего я приехал, а сегодня уже сам колхозник. Молодец!

— Некогда было... некогда, потому и ушел-то...— забормотал дед Щукарь, боком отодвигаясь от Давыдова.

Было решено идти выселять кулаков, разбившись на две группы. Первая должна была идти в верхнюю часть хутора, вторая — в нижнюю. Но Нагульнов, которому Давыдов предложил руководить первой группой, категорически отказался. Он нехорошо смутился под перекрестными взглядами, отозвал Давыдова в сторону.

— Ты чего номера выкидываешь? — холодно спросил Давыдов.

— Я лучше пойду со второй группой в нижнюю часть.

— А какая разница?

Нагульнов покусал губы, отвернувшись, сказал:

— Об этом бы... Ну, да все равно узнаешь! Моя жена... Лушка... живет с Тимофеем, сыном Фрола Дамаскова — кулака. Не хочу! Разговоры будут. В нижнюю часть пойду, а Размётнов пущай с первой...

— Э, брат, разговоров бояться... но я не настаиваю. Пойдем со мной, со второй группой.

Давыдов вдруг вспомнил, что ведь сегодня же он видел над бровью жены Нагульнова, когда та подавала им завтракать, лимонно-зеленоватый застарелый синяк; морщась

и двигая шеей, словно за воротник ему попала сенная труха, спросил:

— Это ты ей посадил фонарь? Бьешь?

— Нет, не я.

— А кто же?

— Он.

— Да кто «он»?

— Ну, Тимошка... Фролов сын...

Давыдов несколько минут недоумевающе молчал, а потом озлился:

— Да ну, к черту! Не понимаю! Пойдем, после об этом.

Нагульнов с Давыдовым, Любишкин, дед Щукарь и еще трое казаков вышли из сельсовета.

— С кого начнем? — Давыдов спрашивал, не глядя на Нагульнова. Оба они по-разному чувствовали после разговора какую-то неловкость.

— С Титка.

По улице шли молча. Из окон на них любопытствующе посматривали бабы. Детвора было увязалась следом, но Любишкин вытянул из плетня хворостину, и догадливые ребята отстали. Уже когда подошли к дому Титка, Нагульнов, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Дом этот под правление колхоза занять. Просторный. А из сараев сделать колхозную конюшню.

Дом действительно был просторный. Титок купил его в голодный двадцать второй год за яловую корову и три пуда муки на соседнем хуторе Тубянском. Вся семья бывших владельцев вымерла. Некому было потом судиться с Титком за кабальную сделку. Он перевез дом в Гремячий, перекрыл крышу, поставил рубленые сараи и конюшню, обстроился на вечность... С крашенного охрой карниза смотрела на улицу затейливо сделанная маляром надпись славянского письма: «Т. К. Бородин. Р. Х. 1923 год».

Давыдов с любопытством оглядывал дом. Первый вошел в калитку Нагульнов. На звяк щеколды из-под амбара выскочил огромный, волчьей окраски, цепной кобель. Он рванулся без лая, стал на задние лапы, сверкая белым, пушистым брюхом, и, задыхаясь, хрипя от перехватившего горло ошейника, глухо зарычал. Бросаясь вперед, опрокидываясь на спину, несколько раз он пытался перервать цепь, но, не осилив, помчался к конюшне, и над ним, катаясь по железной протянутой до конюшни проволоке, певуче зазвенело цепное кольцо.

— Такой чертан сседлает — не вырвешься,— бормотал

дед Щукарь, опасливо косясь и на всякий случай держась поближе к плетню.

В курень вошли толпой. Жена Титка, худая, высокая баба, поила из лоханки телка. Она со злобной подозрительностью оглядела нежданных гостей. На приветствие буркнула что-то похожее на «черти тут носят».

— Тит дома? — спросил Нагульнов.

— Нету.

— А где же он?

— Не знаю,— отрезала хозяйка.

— Ты знаешь, Перфильевна, чего мы пришли? Мы...— загадочно начал было дед Щукарь, но Нагульнов так ворохнул в его сторону глазами, что дед судорожно глотнул слюну, крякнул и сел на лавку, не без внушительности запахивая полы белой невыдубленной шубы.

— Кони дома? — спрашивал Нагульнов, словно и не замечая неласкового приема.

— Дома.

— А быки?

— Нету. Вы чего явились-то?

— С тобой мы не могем...— снова начал было дед Щукарь, но на этот раз Любишкин, пятясь к двери, потянул его за полу; дед, стремительно увлекаемый в сени, так и не успел кончить фразу.

— Где же быки?

— Уехал на них Тит.

— Куда?

— Сказала тебе, не знаю!

Нагульнов мигнул Давыдову, вышел. Щукарю на ходу поднес к бороде кулак, посоветовал:

— Ты молчи, пока тебя не спросят! — И к Давыдову: — Плохи дела! Надо поглядеть, куда быки делись. Когда б он их не спровадил...

— Так без быков...

— Что ты! — испугался Нагульнов.— У него быки — первые в хуторе. Рога не достанешь. Как можно! Надо и Титка и быков искать.

Пошептавшись с Любишкиным, они пошли к скотиньему базу, оттуда в сарай и на гумно. Минут через пять Любишкин, вооружившись слегой, принудил кобеля к отступлению, загнал под амбар, а Нагульнов вывел из конюшни высокого серого коня, обратал его и, ухватившись за гриву, сел верхом.

— Ты чего это, Макар, не спросясь, распоряжаешься на чужом базу? — закричала хозяйка, выбежав на крыльцо,

руки — в бока.— Вот муж вернется, я ему!.. Он с тобой потолкует!..

— Не ори! Я бы сам с ним потолковал, кабы он дома был. Товарищ Давыдов, а ну-ка пойди сюда!

Давыдов, сбитый с толку поведением Нагульнова, подошел.

— С гумна свежие бычиные следы на шлях. Видать, Тит пронюхал, погнал быков сдавать. А сани все под сараем. Брешет баба! Идите пока кончайте Кочетова, а я побегу ве́рхи в Тубянской. Окромя гнать ему их некуда. Сломи-ка мне хворостинку погонять.

Прямо через гумно Нагульнов направился на шлях. За ним восставала белая пыль, медленно оседая на плетнях и на ветках бурьяна слепяще-ярким кристаллическим серебром. Бычачьи следы и рядом копытный след лошади тянулись до шляха, там исчезали. Нагульнов проскакал по направлению к Тубянскому саженей сто. По пути на снежных переносах он видел все те же следы, чуть присыпанные поземкой, и, успокоившись, что направление верное, поехал тише. Так отмахал он версты полторы, как вдруг на новом переносе следов не оказалось. Круто повернул коня, спрыгнул, внимательно разглядывая, не замело ли их снегом. Перенос был не тронут, девственно-чист. В самом низу виднелись крестики сорочьих следов. Выругавшись, Нагульнов поехал назад уже шагом, поглядывая по сторонам. На следы напал вскоре. Быки, оказалось, свернули со шляха неподалеку от толоки. На быстрой рыси Нагульнов следы их просмотрел. Он сообразил, что Титок направился через бугор прямиком в хутор Войсковой. «Должно быть, к кому-нибудь из знакомцев»,— подумал, направляя по следам и сдерживая бег коня. На той стороне бугра, возле Мертвого буерака, приметил на снегу бычачий помет, остановился: помет был свежий, на нем то́лько недавно изморозью, тончайшей пленкой лег ледок. Нагульнов нащупал в кармане полушубка холодную колодку нагана. В буерак спустился шагом. Еще с полверсты проехал и только тогда увидел неподалеку, за купой голых дубов, верхового и пару разналыганных быков. Верховой помахивал на быков налыгачем, горбился в седле. Из-за плеч его схватывался синий табачный дымок, таял навстречу.

— Поворачивай!

Титок остановил заржавшую кобылу, оглянулся, выплюнул цигарку и медленно заехал быкам наперед, негромко сказал:

— Что так? Тпру-у, гоф, стойте!

Нагульнов подъехал. Титок встретил его долгим взглядом.

— Ты куда направлялся?

— Быков продать хотел, Макар. Я не скрываюсь.— Титок высморкался. Рыжие, вислые, как у монгола, усы тщательно вытер рукавицей.

Они стояли, не спешиваясь, друг против друга. Лошади их с похрапом обнюхивались. Опаленное ветром лицо Нагульнова было разгорячено, зло. Титок внешне спокоен и тих.

— Завертай быков и гони домой! — приказал Нагульнов, отъезжая в сторону.

Одну минуту Титок колебался... Он перебирал поводья, нагнув дремотно голову, полузакрыв глаза, и в своем сером домотканом зипуне с накинутым на рваный малахай капюшоном был похож на дремлющего ястреба. «Если у него под зипуном что-нибудь есть, то он сейчас расстегнет крючок»,— думал Нагульнов, глаз не спуская с неподвижного Титка. Но тот, словно очнувшись, махнул налыгачем. Быки пошли своим следом обратно.

— Забирать будете? Раскулачивать? — после долгого молчания спросил Титок, сверкнув на Нагульнова из-под надвинутого на брови капюшона синими белками.

— Дожился! Гоню тебя, как пленного гада! — не выдержав, вскричал Нагульнов.

Титок поежился. До самого бугра молчал. Потом спросил:

— Меня куда будете девать?

— Вышлем. Это что у тебя под зипуном выпинается?

— Отрез.— Титок искоса глянул на Нагульнова, распахнул полу зипуна.

Из кармана сюртука белым мослом выглянула небрежно оструганная залапанная рукоять обреза.

— Дай-ка его мне.— Нагульнов протянул руку, но Титок спокойно отвел ее.

— Нет, не дам! — и улыбнулся, оголяя под вислыми усами черные, обкуренные зубы, глядя на Нагульнова острыми, как у хоря, но веселыми глазами.— Не дам! Имущество забираете, да еще отрез последний? Кулак должен быть с отрезом, так про него в газетах пишут. Беспременно чтобы с отрезом. Я, может, им хлеб насущный добывать буду, а? Селькоры мне без надобностев...

Он смеялся, покачивал головой, рук с луки не снимал,

и Нагульнов не стал настаивать на выдаче обреза. «Там, в хуторе, я тебя обломаю»,— решил он.

— Зачем, небось, думаешь, Макар, он с отрезом поехал? — продолжал Титок.— Греха с ним... Он у меня черт те с каких пор, тогда ишо принес с хохлачьего восстания, помнишь? Ну, лежит себе отрез, приржавел. Я его почистил, смазал,— чин чином, думаю, может, от зверя или от лихого человека сгодится. А вчера узнал, что вы собираетесь идти кулаков перетряхать... Только не смикитил я, что вы нонче тронетесь... А то бы я с быками-то ишо ночью командировался...

— От кого узнал?

— Ну, вот, скажи ему! Слухом земля полная. Да-а-а, и обсоветовали ночью с бабой быков в надежные руки сдать. Отрез я с собой зацепил, хотел прихоронить в степе, чтобы не нашли случаем на базу, да прижалел, и ты — вот он! Так у меня под коленками и зашшекотало! — оживленно говорил он, насмешливо играя глазами, тесня коня Нагульнова грудью кобылицы.

— Ты шутки потом будешь шутить, Титок! А зараз построжей держись.

— Ха! Мне самое теперя и шутковать. Завоевал себе сладкую жизню, справедливую власть оборонял, а она меня за хи́ршу... [1] — Голос Титка оборванно осекся.

С этого момента он ехал молча, нарочно придерживал кобылу, норовя пропустить Макара хоть на пол-лошади вперед, но тот из опаски тоже приотставал. Быки далеко ушли от них.

— Шевели, шевели! — говорил Нагульнов, напряженно посматривая на Титка, сжимая в кармане наган. Уж онто знал Титка! Знал его, как никто.— Да ты не отставай! Стрельнуть ежели думаешь, все равно не придется, не успеешь.

— А ты пужливый стал! — улыбнулся Титок и, хлестнув коня налыгачем, поскакал вперед.

ГЛАВА VII

Андрей Размётнов со своей группой пришел к Фролу Дамаскову, когда тот с семьей полудновал. За столом сидели: сам Фрол — маленький, тщедушный старичишка с клиноватой бороденкой и оторванной левой ноздрей (еще

[1] Хи́рша — загривок.

в детстве обезобразил лицо, падая с яблони, отсюда и прозвище Рваный), его жена, дородная и величественная старуха, сын Тимофей — парень лет двадцати двух, и дочь — девка на выданье.

Похожий на мать, статный и красивый, из-за стола встал Тимофей. Он вытер тряпкой яркие губы под юношески пушистыми усами, сощурил наглые, навыкат, глаза и с развязностью лучшего в хуторе гармониста, девичьего любимца, указал рукой:

— Проходите, садитесь, дорогие властя!

— Нам садиться некогда.— Андрей достал из папки лист.— Собрание бедноты постановило тебя, гражданин Фрол Дамасков, выселить из дома, конфисковать все имущество и скот. Так что ты кончай, полудну й и выгружайся из дому. Зараз мы произведем опись имущества.

— Это почему же такое? — Кинув ложку, Фрол встал.

— Уничтожаем тебя как кулацкий класс,— пояснил ему Демка Ушаков.

Фрол пошел в горницу, поскрипывая добротными, подшитыми кожей валенками, вынес оттуда бумажку.

— Вот справка, ты сам, Размётнов, ее подписывал.

— Какая справка?

— Об том, что я хлеб выполнил.

— Хлеб тут ни при чем.

— А за что же меня из дому выгонять и конфисковать?

— Беднота постановила, я же тебе пояснил.

— Таких законов нету! — резко крикнул Тимофей.— Вы грабиловку устраиваете! Папаня, я зараз в рик поеду. Где седло?

— Ты в рик пеший пойдешь, ежели хочешь. Коня не дам.— Андрей присел к краю стола, достал карандаш и бумагу...

У Фрола синевой налился рваный нос, затряслась голова. Он как стоял, так и опустился на пол, с трудом шевеля распухшим, почернелым языком.

— Сссук-ки-ны!.. Сукины сыны! Грабьте! Режьте!

— Папаня, встаньте, ради Христа,— заплакала девка, подхватывая отца под мышки.

Фрол оправился, встал, лег на лавку и уже безучастно слушал, как Демка Ушаков и высокий застенчивый Михаил Игнатенок диктуют Размётнову:

— Кровать железная с белыми шарами, перина, три подушки, ишо две кровати деревянных...

— Горка с посудой. И посуду всю говорить? Да ну ее под такую голень!

— Двенадцать стульев, одна длинная стула со спинкой. Гармоня-трехрядка.

— Гармонь не дам! — Тимофей выхватил ее из рук Демки.— Не лезь, косоглазый, а то нос расшибу!

— Я тебе так расшибу, что и мать не отмоет!

— Ключи от сундуков давай, хозяйка.

— Не давайте им, маманя! Нехай ломают, ежели такие права у них есть!

— Есть у нас права ломать? — оживляясь, спросил Демид Молчун, известный тем, что говорил только при крайней необходимости, а остальное время молча работал, молчал курил с казаками, собравшимися в праздник на проулке, молча сидел на собраниях и, обычно только изредка отвечая на вопросы собеседника, улыбался виновато и жалостно.

Распахнутый мир был полон для Демида излишне громких звуков. Они наливали жизнь до краев; не затихая и ночью, мешали прислушиваться к тишине, нарушали то мудрое молчание, которым полны бывают степь и лес под осень. Не любил Демид людского гомона. Жил он на отшибе в конце хутора, был работящим и по силе первым во всей округе. Но как-то пятнила его судьба обидами, обделяла, как пасынка... Он пять лет жил у Фрола Дамаскова в работниках, потом женился, отошел на свое хозяйство. Не успел обстроиться,— погорел. Через год еще раз пожар оставил ему на подворье одни пахнущие дымом сохи. А вскоре ушла жена, заявив: «Два года жила с тобой и двух слов не слыхала. Нет уж, живи один! Мне в лесу с бирюком и то веселей будет. Тут с тобой и умом тронешься. Сама с собой уж начала я гутарить...»

А ведь было привыкла к Демиду баба. Первые месяцы, правда, плакала, приставала к мужу: «Демидушка! Ты хоть погутарь со мной. Ну, скажи словцо!» Демид только улыбался тихой ребячьей улыбкой, почесывая волосатую грудь. А когда уж становилось невтерпеж от докучаний жены, нутряным басом говорил: «Чисто сорока ты!» — и уходил. Демида почему-то окрестила молва человеком гордым и хитрым, из тех, что «себе на уме». Может быть, потому, что всю жизнь дичился он шумоватых людей и громкого звука?

Поэтому-то Андрей и вскинул голову, заслышав над собой глухой гром Демидова голоса.

— Права? — переспросил он, смотря на Молчуна так, как будто увидел его впервые.— Есть права!

Демид, косолапо ступая, грязня пол мокрыми, изно-

шенными чириками, пошел в горницу. Улыбаясь, легко, как ветку, отодвинул рукой стоявшего в дверях Тимофея и — мимо горки с жалобно зазвеневшей под его шагами посудой — к сундуку. Присел на корточки, повертел в пальцах увесистый замок. Через минуту замок со сломанной шейкой лежал на сундуке, а Аркашка Менок, с нескрываемым изумлением оглядывая Молчуна, восхищенно воскликнул:

— Вот бы с кем поменяться силенкой!

Андрей не успевал записывать. Из горницы, из зала Демка Ушаков, Аркашка и тетка Василиса — единственная женщина в Андреевой группе — наперебой разноголосо выкрикивали:

— Шуба бабья, донская!

— Тулуп!

— Три пары новых сапог с калошами!

— Четыре отреза сукна!

— Андрей! Размётнов! Тут, парнишка, товару на воз не заберешь! И ситцу, и сатин черный, и всякая иная...

Направившись в горницу, Андрей услышал из сеней девичьи причитания, крик хозяйки и урезонивающий голос Игнатенка. Андрей распахнул дверь:

— В чем тут у вас?

Опухшая от слез курносая хозяйская дочь ревела белугой, прислонясь к двери. Возле нее металась и кудахтала мать, а Игнатенок, весь красный, смущенно улыбаясь, тянул девку за подол.

— Ты чего тут?! — Андрей, не разобрав в чем дело, задохнулся от гнева, с силой толкнул Игнатенка. Тот упал на спину, задрав длинные ноги в валяных опорках.— Тут кругом политика! Наступление на врага, а ты девок по углам лапаешь?! А под суд за...

— Да ты постой, погоди! — Игнатенок испуганно вскочил с пола.— На кой она мне снилась! Лапать ее! Ты погляди, она на себя девятую юбку натягивает! Я не допущаю к тому, а ты — пихаться...

Тут только Андрей доглядел, что девка, под шумок вытащившая из горницы узел с нарядами, и в самом деле уже успела натянуть на себя ворох шерстяных платьев. Она, забившись в угол, одергивала подол, странно неповоротливая, кургузая от множества стеснявших движения одежин. Андрею стали противны и жалки ее мокрые, красные, как у кролика, глаза. Он хлопнул дверью, сказал Игнатенку:

— Не моги ее телешить! Что успела одеть,— черт с ней, а узел забери.

Опись находившегося в доме имущества подходила к концу.

— Ключи от амбара,— потребовал Андрей.

Фрол, черный, как обугленный пень, махнул рукой.

— Нету ключей!

— Иди ломай,— приказал Андрей Демиду.

Тот направился к амбару, по пути выдернув из арбы шкворень.

Пятифунтовый замок-гирю с трудом одолели топором.

— Ты притолоку-то не руби! Наш теперя амбар, ты похозяйски. Легше! Легше! — советовал сопевшему Молчуну Демка.

Начали перемерять хлеб.

— Может, его зараз и подсеем? Вон в сусеке грохот [1] лежит,— предложил опьяневший от радости Игнатенок.

Его высмеяли и долго еще шутили, насыпая в меры тяжеловесную пшеницу.

— Тут ишо можно на хлебозаготовку пудов двести ссыпать,— по колено бродя в зерне, говорил Демка Ушаков. Он кидал пшеницу лопатой к выгребу закрома, хватал ее рукой, цедил сквозь пальцы.

— По пульке дюже должна заважить.

— Куда там! Червонного золота пашеница, только, видать, в земле была: видишь, тронутая.

Аркашка Менок и еще один парень из группы хозяйничали на базу. Аркашка поглаживал русую бороду, указывал на бычий помет с торчавшими из него непереваренными зернами кукурузы:

— Как же им не работать? Хлеб чистый едят, а у нас в товариществе и сенца в натруску.

Из амбара неслись оживленные голоса, хохот, пахучая хлебная пыль, иногда крепко присоленное слово... Андрей вернулся в дом. Хозяйка с дочерью собрали в мешок чугуны и посуду. Фрол, по-покойницки скрестив на груди пальцы, лежал на лавке уже в одних чулках. Присмиревший Тимофей взглянул ненавидяще, отвернулся к окну.

В горнице Андрей увидел сидевшего на корточках Молчуна. На нем были новые, подшитые кожей Фроловы

[1] Грохот — большое решето.

валенки... Не видя вошедшего Андрея, он черпал столовой ложкой мед из ведерного жестяного бака и ел, сладко жмурясь, причмокивая, роняя на бороду желтые тянкие капли...

ГЛАВА VIII

Нагульнов с Титком вернулись в хутор уже в полдень. За время их отсутствия Давыдов описал имущество в двух кулацких хозяйствах, выселил самих хозяев, потом вернулся к Титку во двор и совместно с Любишкиным перемерил и взвесил хлеб, найденный в кизяшнике. Дед Щукарь положил в ясли объедья овцам и проворно пошел от овечьего база, увидев подходившего Титка.

Титок ходил по двору в распахнутом зипуне, с обнаженной головой. Он было направился к гумну, но Нагульнов крикнул ему:

— Воротись, зараз же, а то в амбар запру!..

Он был зол, взволнован, сильнее обычного подергивалась его щека... Просмотрел он, как и где успел Титок выбросить обрез. Но только когда подъехали к гумну, Нагульнов спросил:

— Отрез-то отдашь? А то ведь отымем.

— Брось шутить! — Титок заулыбался.— Тебе он, должно, привиделся?..

Не оказалось обреза у него и под зипуном. Ехать назад искать было бессмысленно: в глубоком снегу, в бурьянах все равно не найти. Нагульнов, злобясь на себя, рассказал об этом Давыдову, и тот, все время с любопытством присматривавшийся к Титку, подошел к нему:

— Ты оружие-то отдай, гражданин! Так оно тебе спокойнее будет.

— Не было у меня оружия! Нагульнов это по насердке на меня.— Титок улыбнулся, играя хориными глазами.

— Ну что ж, придется тебя арестовать и отправить в район.

— Меня-то?

— Да, тебя. А ты думал как? Будем считаться с твоим прошлым! Ты хлеб укрываешь, готовишь...

— Меня?..— согнувшись, как для прыжка, со свистом дыша, повторил Титок.

Вся наигранная веселость, самообладание, сдержанность — все покинуло его в этот момент. Слова Давыдова были толчком к взрыву накопившейся и сдерживаемой до

этого лютой злобы. Он шагнул к попятившемуся Давыдову, споткнулся о лежавшее посреди двора ярмо и, нагнувшись, вдруг выдернул железную занозу [1]. Нагульнов и Любишкин кинулись к Давыдову. Дед Щукарь побежал со двора. Он, как назло, запутался в чрезмерно длинных полах своей шубы, упал, дико взывая:

— Ка-ра-а-ул, люди добрые! Убивают!

Титок, схваченный Давыдовым за кисть левой руки, правой успел нанести ему удар по голове. Давыдов качнулся, но на ногах устоял. Кровь из рассеченной раны густо хлынула ему в глаза, ослепила. Давыдов выпустил руку Титка, шатаясь, закрыл ладонью глаза. Второй удар повалил его на снег. В этот-то момент Любишкин и обхватил Титка поперек. Он не удержал его, несмотря на свою немалую силу. Вырвавшись у него из рук, Титок прыжками побежал к гумну. У ворот его догнал Нагульнов, рукоятью нагана стукнул по плоскому густоволосому затылку. Сумятицу усугубила Титкова баба. Видя, что к мужу бегут Любишкин и Нагульнов, она метнулась к амбару, спустила с цепи кобеля. Тот, гремя железным ошейником, наметом околесил двор и, привлеченный испуганными криками деда Щукаря, его распластанной на снегу шубой, насел на него... Из белой шубы с треском и пылью полетели лоскуты, овчинные клочья. Дед Щукарь вскочил, неистово брыкая кобеля ногами, пытаясь выломать из плетня кол. Он сажени две протащил на своей спине вцепившегося в воротник разъяренного цепняка, качаясь под его могучими рывками. Наконец отчаянным усилием ему удалось выдернуть кол. Кобель с воем отскочил, успев-таки напоследок распустить дедову шубу надвое.

— Дай мне ливольверт, Макар!..— вылупив глаза, горловым голосом заорал ободрившийся дед Щукарь.— Дай, пока сердце горит! Я его вместе с хозяйкой жизни рррешу!..

Тем временем Давыдову помогли войти в курень, выстригли волосы вокруг раны, из которой все еще сочилась, пузырясь, черная кровь. Во дворе Любишкин запрягал в пароконные сани Титковых лошадей. Нагульнов за столом бегло писал:

«Районному уполномоченному ГПУ т. Захарченке. Препровождаю в ваше распоряжение кулака Бородина Тита Константиновича, как контрреволюционный гадский элемент. При описании имущества у этого кулака он офи-

---

[1] З а н о з а — стержень, который замыкает шею вола в ярме.

циально произвел нападение на присланного двадцатипятитысячника т. Давыдова и смог его два раза рубануть по голове железной занозой.

Кроме этого, заявляю, что видел у Бородина винтовочный отрез русского образца, который не мог отобрать по причине условий, находясь на бугре и опасаясь кровопролития. Отрез он незаметно выкинул в снег. При отыскании доставим к вам как вещественность.

Секретарь гремяченской ячейки ВКП(б)
и краснознаменец *М. Нагульнов*»

Титка посадили в сани. Он попросил напиться и позвать к нему Нагульнова. Тот с крыльца крикнул:

— Чего тебе?

— Макар! Помни! — потрясая связанными руками, как пьяный, закричал Титок.— Помни: наши путя схлестнутся! Ты меня топтал, а уж тогда я буду. Все одно — убью! Могила на нашу дружбу!

— Езжай, контра! — Нагульнов махнул рукой.

Лошади резво взяли со двора.

ГЛАВА IX

Уже перед вечером Андрей Размётнов распустил работавшую с ним группу содействия из бедноты, отправил со двора раскулаченного Гаева последнюю подводу конфискованного имущества к Титку, куда свозили все кулацкие пожитки, пошел в сельсовет. Утром он условился с Давыдовым встретиться там за час до общего собрания, которое должно было начаться с наступлением темноты.

Андрей еще из сенцев увидел в угловой комнате сельсовета свет, вошел, широко откинув дверь. На стук Давыдов поднял от записной книжки перевязанную белым лоскутом голову, улыбнулся.

— Вот и Размётнов. Садись, мы подсчитываем, сколько обнаружено у кулаков хлеба. Ну, как у тебя, прошло?

— Прошло... Что это ты обвязал голову?

Нагульнов, мастеривший из газетного листа абажур на лампу, неохотно сказал:

— Это его Титок. Занозой. Отослал я Титка к Захарченке в ГПУ.

— Подожди, сейчас расскажем.— Давыдов подвинул по столу счеты.— Клади сто пятнадцать. Есть? Сто восемь...

— Постой! Постой! — встревоженно забормотал Нагульнов, осторожненько толкая пальцем колесики счетов.

Андрей посмотрел на них и, задрожав губами, глухо сказал:

— Больше не работаю.

— Как не работаешь? Где? — Нагульнов отложил счеты.

— Раскулачивать больше не пойду. Ну, чего глаза вылупил? В припадок вдариться хочешь, что ли?

— Ты пьяный? — Давыдов с тревогой внимательно всмотрелся в лицо Андрея, исполненное злой решимости.— Что с тобой? Что значит — не будешь?

От его спокойного тенорка Андрей взбесился, заикаясь, в волнении закричал:

— Я не обучен! Я... Я... с детишками не обучен воевать!.. На фронте — другое дело! Там любому шашкой, чем хочешь... И катитесь вы под разэтакую!.. Не пойду!

Голос Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше, выше, и казалось, что вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом вздохнув, неожиданно сошел на низкий шепот:

— Да разве это дело? Я что? Кат, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война влилася...— и опять перешел на крик: — У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы — как они взъюжались, шапку схватывает! На мне ажник волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять... Ну, тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за баз! Бабы — по-мертвому, водой отливали сноху... детей... Да ну вас в господа бога!..

— Ты заплачь! Оно полегшает,— посоветовал Нагульнов, ладонью плотно, до отека, придавив дергающийся мускул щеки, не сводя с Андрея загоревшихся глаз.

— И заплачу! Я, может, своего парнишку...— Андрей осекся, оскалив зубы, круто повернулся к столу спиной.

Стала тишина.

Давыдов поднимался со стула медленно. И так же медленно крылась трупной синевой одна незавязанная щека его, бледнело ухо. Он подошел к Андрею, взял за плечи, легко повернул. Заговорил, задыхаясь, не сводя ставшего огромным глаза с Андреева лица.

— Ты их жалеешь... Жалко тебе их. А они нас жалели? Враги плакали от слез наших детей? Над сиротами убитых плакали? Ну? Моего отца уволили после забастовки с завода, сослали в Сибирь... У матери нас четверо... мне, старшему, девять лет тогда... Нечего было кушать, и мать пошла...

Ты смотри сюда! Пошла на улицу мать, чтобы мы с голоду не подохли! В комнатушку нашу — в подвале жили — ведет гостя... Одна кровать осталась... А мы за занавеской... на полу... И мне девять лет... Пьяные приходили с ней... А я зажимаю маленьким сестренкам рты, чтобы не ревели... Кто наши слезы вытер? Слышишь ты?.. Утром беру этот проклятый рубль...— Давыдов поднес к лицу Андрея свою закожаневшую ладонь, мучительно заскрипел зубами,— мамой заработанный рубль, и иду за хлебом...— И вдруг, как свинчатку, с размаху кинул на стол черный кулак, крикнул: — Ты!! Как ты можешь жалеть?!

И опять стала тишина. Нагульнов вкогтился в крышку стола, держал ее, как коршун добычу. Андрей молчал. Тяжело, всхлипами дыша, Давыдов с минуту ходил по комнате, потом обнял Андрея за плечи, вместе с ним сел на лавку, надтреснутым голосом сказал:

— Эка, дурило ты! Пришел и ну, давай орать: «Не буду работать... дети... жалость...» Ну, что ты наговорил, ты опомнись! Давай потолкуем. Жалко стало, что выселяют кулацкие семьи? Подумаешь! Для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить жизнь, без таких вот... чтобы в будущем не повторялось... Ты — Советская власть в Гремячем, а я тебя должен еще агитировать? — и с трудом, натужно улыбнулся.— Ну, выселим кулаков к черту, на Соловки выселим. Ведь не подохнут же они? Работать будут — кормить будем. А когда построим, эти дети уже не будут кулацкими детьми. Рабочий класс их перевоспитает.— Достал пачку папирос и долго дрожащими пальцами никак не мог ухватить папиросу.

Андрей неотрывно смотрел в лицо Нагульнова, одевавшееся мертвенной пленкой. Неожиданно для Давыдова он быстро встал, и тотчас же, как кинутый трамплином, подпрыгнул Нагульнов.

— Гад! — выдохнул звенящим шепотом, стиснув кулаки.— Как служишь революции? Жа-ле-е-ешь? Да я... тысячи станови зараз дедов, детишек, баб... Да скажи мне, что надо их в распыл... Для революции надо... Я их из пулемета... всех порежу! — вдруг дико закричал Нагульнов, и в огромных, расширенных зрачках его плеснулось бешенство, на углах губ вскипела пена.

— Да не кричи ты! Сядь! — встревожился Давыдов.

Андрей, опрокинув стул, торопливо шагнул к Нагульнову, но тот, прислонясь к стенке, запрокинув голову, с закатившимися глазами, пронзительно, протяжно закричал:

— Зарублю-у-у-у!..— а сам уже валился на бок, левой рукой хватая воздух в поисках ножен, правой судорожно шаря невидимый эфес шашки.

Андрей успел его подхватить на руки, чувствуя, как страшно напряглись все мускулы отяжелевшего Макарова тела, как стальной пружиной распрямились ноги.

— Припадок... Ноги ему держи!..— успел Андрей крикнуть Давыдову.

* * *

В школу они пришли, когда там уже битком набился пришедший на собрание народ. Помещение не могло вместить всех. Казаки, бабы и девки густо стояли в коридоре, на крыльце. Из жерла настежь распахнутых дверей вылетал пар, мешаясь с табачным дымом.

Нагульнов, бледный, с запекшейся на разбитых губах кровью, шел по коридору первый. Под отчетливым шагом его похрустывала подсолнечная лузга. Казаки сдержанно посматривали на него, расступаясь. Зашептали, увидя Давыдова.

— Это и есть Давыдов? — громко спросила девка в цветастой шальке, указывая на Давыдова носовым платком, туго набитым семечками.

— В пальте... А сам небольшой.

— Небольшой, а маштаковатый, гля, у него шеяка, как у доброго бугая! К нам для приплоду прислали,— засмеялась одна, щуря на Давыдова круглые серые глаза.

— А он в плечах просторный, тысячник-то. Этот, небось, обнимет, девоньки,— беззастенчиво говорила Наталья-жалмерка, поводя подкрашенной бровью.

Грубоватый, прокуренный голос парня язвительно сказал:

— Нашей Наталке-давалке лишь бы в штанах.

— Голову ему уж наклевали никак? Перевязанный...

— Это от зубов, небось...

— Не. Титок...

— Девки! Лапушки! И чего вы на приезжего человека гляделки вылупили? Ай у меня хуже? — Немолодой выбритый досиза казак, хохоча, обхватил длинными руками целый табун девок, прижал их к стене.

Поднялся визг. По спине казака гулко забарабанили девичьи кулаки.

Давыдов вспотел, пока добрался до классных дверей.

Толпа пахуче дышала подсолнечным маслом семечек, луком, махрой, пшеничной отрыжкой. От девок и молодых баб наносило пряным запахом слежалых в сундуках нарядов, помадой. Глухой пчелиный гул стоял в школе. Да и сами люди шевелились черным кипящим клубом, похожим на отроившийся пчелиный рой.

— Лихие у вас девки,— смущенно сказал Давыдов, когда взбирались на сцену.

На сцене, сбитой из шалевок, стояли две сдвинутые ученические парты. Давыдов с Нагульновым сели. Размётнов открыл собрание. Президиум выбрали без задержки.

— Слово о колхозе предоставляется товарищу уполномоченному райкома партии Давыдову,— голос Размётнова смолк, и, резко убывая, пошел на отлив прибойный гул разговоров.

Давыдов встал, поправил на голове повязку. Он с полчаса говорил под конец осипшим голосом. Собрание молчало. Все ощутимей становилась духота. При тусклом свете двух ламп Давыдов видел лоснящиеся от пота лица в первых рядах, дальше все крылось полусумраком. Его ни разу не прервали, но когда он кончил и потянулся к стакану с водой, ливнем хлынули вопросы:

— Все надо обобществлять?

— А дома?

— Это на время колхоз аль на вечность?

— Что единоличникам будет?

— Землю не отнимут у них?

— А жрать вместе?

Давыдов долго и толково отвечал. Когда дело касалось сложных вопросов сельского хозяйства, ему помогали Нагульнов и Андрей. Был прочитан примерный устав, но, несмотря на это, вопросы не прекращались. Наконец из средних рядов поднялся казак в лисьем треухе и настежь распахнутом черном полушубке. Он попросил слова. Висячая лампа кидала косой свет на лисий треух, рыжие ворсины вспыхивали и словно дымились.

— Я середняк-хлебороб, и я так скажу, граждане, что оно, конешно, слов нет, де́ло хорошее колхоз, но тут надо дюже подумать! Так нельзя, чтобы — тяп-ляп, и вот тебе кляп, на — ешь, готово. Товарищ уполномоченный от партии говорил, что, дескать, просто сложитесь силами, и то выгода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин говорил. Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает, за плугом он, кубыть, не ходил по своей рабочей жизни и, небось, к быку не знает с какой стороны надо

зайтить. Через это трошки и промахнулся. В колхоз надо, по-моему, людей так сводить: какие работящие и имеют скотину — этих в один колхоз, бедноту — в другой, зажиточных — само собой, а самых лодырей на выселку, чтобы их ГПУ научила работать. Людей мало в одну кучу свалить, толку один черт не будет: как в сказке — лебедь крылами бьет и норовит лететь, а рак его за гузно взял и тянет обратно, а щука — энта начертилась, в воду лезет...

Собрание отозвалось сдержанным смешком. Позади резко визгнула девка, и тотчас же чей-то возмущенный голос заорал:

— Вы там, которые слабые! Шшупаться можно и на базу. Долой отседова!

Хозяин лисьего треуха вытер платочком лоб и губы, продолжал:

— Людей надо так подбирать, как добрый хозяин быков. Ить он же быков подбирает ровных по силам, по росту. А запряги разных, что оно получится? Какой посильней — будет заламывать, слабый станет, а через него и сильному бесперечь надо становиться. Какая же с них работа? Товарищ гутарил: всем хутором в один колхоз, окромя кулаков... Вот оно и получится: Тит да Афанас, разымите нас!..

Любишкин встал, недобро пошевелил раскрылатившимся черным усом, повернулся к говорившему:

— До чего ты, Кузьма, иной раз сладко да хорошо гутаришь! Бабой был бы — век тебя слухал! (Зашелестел смешок.) Ты собрание уговариваешь, как Палагу Кузьмичеву...

Хохот грохнул залпом. Из лампы по-змеиному метнулось острое жало огня. Всему собранию был понятен намек, вероятно содержавший в себе что-то непристойно-веселое. Даже Нагульнов и тот улыбнулся глазами. Давыдов только хотел спросить у него о причине смеха, как Любишкин перекричал гул голосов:

— Голос-то — твой, песня — чужая! Тебе хорошо так людей подбирать. Ты этому, должно, научился, когда у Фрола Рваного в машинном товариществе состоял? Двигатель-то у вас в прошлом году отняли. А зараз мы и Фрола твоего растребушили с огнем и с дымом! Вы собрались вокруг Фролова двигателя, тоже вроде колхоз, кулацкий только. Ты не забыл, сколько вы за молотьбу драли? Не восьмой пуд? Тебе бы, может, и зараз так хотелось: прислониться к богатеньким...

Такое поднялось, что насилу удалось Размётнову водво-

рить порядок. И еще долго остервенело — вешним градом — сыпалось:

— То-то артельно вы нажили!

— Вшей одних трактором не подавишь!

— Сердце тебе кулаки запекли!

— Лизни его!

— Твоей головой бы подсолнух молотить!

Очередное слово выпросил маломощный середняк Николай Люшня.

— Ты без прениев. Тут дело ясное,— предупредил его Нагульнов.

— То есть как же? А может, я именно возопреть желаю. Или мне нельзя супротив твоего мления гутарить? Я так скажу: колхоз — дело это добровольное, хочешь — иди, хочешь — со стороны гляди. Так вот мы хотим со стороны поглядеть.

— Кто это «мы»? — спросил Давыдов.

— Хлеборобы то есть.

— Ты за себя, папаша, говори. У всякого язык не купленный, скажет.

— Могу и за себя. То есть за себя даже и гутарю. Я хочу поглядеть, какая она в колхозе, жизня, взыграет. Ежели хорошая — впишусь, а нет — так чего же я туда полезу? Ить это рыба глупая, лезет в вентеря...

— Правильно!

— Погодим вступать!

— Нехай спробуют другие новую жизнь!

— Лезь а́мором! [1] Чего ее пробовать, девка она, что ли?

— Слово предоставляется Ахваткину. Говори.

— Я про себя, дорогие гражданы, скажу: вот мы с родным братом, с Петром, жили вместе. Ить не ужились! То бабы промеж себя заведутся, водой не разольешь, за виски растягивали, то мы с Петром не заладим. А тут весь хутор хотят в мала-кучу свалить! Да тут неразбери-поймешь получится. Как в степь выедем пахать, беспременно драка. Иван моих быков перегнал, а я его коней недоглядел... Тут надо милиции жить безысходно. У каждого полон рот юшки будет. Один больше сработает, другой меньше. Работа наша разная, это не возля станка на заводе стоять. Там отдежурил восемь часов — и тростку в зубы, пошел...

— Ты на заводе был когда-нибудь?

— Я, товарищ Давыдов, не был, а знаю.

— Ничего ты не знаешь о рабочем! А если не был, не

---

[1] А́мором — быстро.

видел, чего же ты трепешь языком! Кулацкие разговоры насчет рабочего с тросточкой!

— Ну, хучь и без тросточки: отработал — иди. А у нас, ишо темно — встаешь, пашешь. До ночи сорок потов с тебя сойдут, на ногах кровяные волдыри с куриное яйцо, а ночью быков паси, не спи: не нажрется бык — не потянет плуг. Я буду стараться в колхозе, а другой, вот как наш Колыба, будет на борозде спать. Хоть и говорит Советская власть, что лодырей из бедноты нету, что это кулаки выдумали, но это неправда. Колыба всю жизню на пече лежал. Весь хутор знает, как он одну зиму на пече так-то спасался, ноги к двери протянул. К утру ноги у него инеем оделись, а бок на кирпичине сжег. Значится, человек до того обленился, что с печки и по надобности до ветру встать не могет. Как я с таким буду работать? Не подписуюсь на колхоз!

— Слово предоставляется Кондрату Майданникову. Говори.

Из задних рядов долго пробирался к сцене невысокий, в сером зипуне, казак. Выцветший шишак буденовки покачивался над папахами и треухами, над разноцветьем бабьих шалек и платков.

Подошел, стал спиной к президиуму, неторопливо полез в карман шаровар.

— Читать будешь речь? — спросил Демка Ушаков, улыбаясь.

— Шапку сыми!

— Валяй наизусть!

— Этот всю жизню свою на бумагу записывает.

— Ха-ха! Гра-а-амот-ный!..

Майданников достал засаленную записную книжонку, торопливо стал искать исчерченные каракулями странички.

— Вы погодите смеяться, может, плакать придется!..— заговорил он сердито.— Да, записываю, над чем кормлюсь. И вот зараз прочту вам. Тут разные были голоса, и ни одного путного. Об жизни мало думаете...

Давыдов насторожился. В передних рядах завиднелись улыбки. Рябью — голоса по школе.

— Мое хозяйство середняцкое,— не смущаясь, уверенно начал Майданников.— Сеял я в прошлом году пять десятин. Имею, как вам известно, пару быков, коня, корову, жену и троих детей. Рабочие руки — вот они, одни. С посева собрал: девяносто пудов пшеницы, восемнадцать жита и двадцать три овса. Самому надо шестьдесят пудов на прокорм семьи, на птицу надо пудов десять, овес коню

остается. Что я могу продать государству? Тридцать восемь пудов. Клади кругом по рублю с гривенником, получится сорок один рубль чистого доходу. Ну, птицу продам, утей отвезу в станицу, выручу рублей пятнадцать.— И, тоскуя глазами, повысил голос: — Можно мне на эти деньги обуться, одеться, гасу, серников [1], мыла купить? А коня на полный круг подковать деньги стоит? Чего же вы молчите? Можно мне так дальше жить? Да ить это хорошо, бедный ли, богатый урожай. А ну, хлоп — неурожай? Кто я тогда? Старец! [2] Какое ж вы, вашу матушку, имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихивать? Неужели мне там хуже этого будет! Брешете! И всем вам так, какие из середняков. А через чего вы супротивничаете и себе и другим головы морочите, зараз скажу.

— Сыпь им, сукиным котам, Кондрат! — в восторге заорал Любишкин.

— И всыплю, нехай почухаются! Через то вы против колхоза, что за своей коровой да за своим скворешником-двором белого света не видите. Хоть сопливое, да мое. Вас ВКП пихает на новую жизнь, а вы как слепой телок: его к корове под сиську ведут, а он и ногами брыкается, и головой мотает. А телку сиську не сосать — на белом свете не жить! Вот и все. Я нынче же сяду заявление в колхоз писать и других к этому призываю. А кто не хочет — нехай и другим не мешает.

Размётнов встал:

— Тут дело ясное, граждане! Лампы у нас тухнут, и время позднее. Подымайте руки, кто за колхоз. Одни хозяева дворов подымают.

Из двухсот семнадцати присутствовавших домохозяев руки подняли только шестьдесят семь.

— Кто против?

Ни одной руки не поднялось.

— Не хотите записываться в колхоз? — спросил Давыдов.— Значит, верно товарищ Майданников говорил?

— Не жа-ла-ем! — гундосый бабий голос.

— Нам твой Майданников не указ!

— Отцы-деды жили...

— Ты нас не силуй!

И когда уже замолкли выкрики, из задних рядов, из темноты, озаряемой вспышками цигарок, чей-то запоздалый, пронзенный злостью голос:

---

[1] Гас, серники — керосин, спички.
[2] Старец — нищий.

— Нас нечего загонять дуриком! Тебе Титок раз кровь пустил, и ишо можно...

Будто плетью Давыдова хлестнули. Он в страшной тишине с минуту стоял молча, бледнея, полураскрыв щербатый рот, потом хрипло крикнул:

— Ты! Вражеский голос! Мне мало крови пустили! Я еще доживу до той поры, пока таких, как ты, всех угробим. Но, если понадобится, я за партию... я за свою партию, за дело рабочих всю кровь отдам! Слышишь, ты, кулацкая гадина? Всю, до последней капли!

— Кто это шумнул? — Нагульнов выпрямился.

Размётнов соскочил со сцены. В задних рядах хряснула лавка, толпа человек в двадцать с шумом вышла в коридор. Стали подниматься и в середине. Хрупнуло, звякнуло стекло: кто-то выдавил оконный глазок. В пробоину хлынул свежий ветер, смерчем закружился белый пар.

— Это, никак, Тимошка шумнул! Фрола Рваного...

— Выселить их из хутора!

— Нет, это Акимка! Тут с Тубянского есть казаки.

— Смутители, язви их в жилу. Выгнать!..

Далеко за полночь кончилось собрание. Говорили и за колхоз и против до хрипоты, до помрачения в глазах. Коегде и даже возле сцены противники сходились и брали один другого за грудки, доказывая свою правоту. На Кондрате Майданникове родный кум его и сосед порвал до пупка рубаху. Дело чуть не дошло до рукопашной. Демка Ушаков уже было кинулся на подмогу Кондрату, прыгая через лавки, через головы сидевших, но кумовьев развел Давыдов. И Демка же первый съязвил насчет Майданникова:

— А ну, Кондрат, прикинь мозгой, сколько часов пахать тебе за порватую рубаху?

— Посчитай ты, сколько у твоей бабы...

— Но-но! Я за такие шутки с собрания буду удалять.

Демид Молчун мирно спал под лавкой в задних рядах, по-звериному лежа головой на ветер, тянувший из-под дверей,— укутав голову от излишнего шума полой зипуна. Пожилые бабы, и на собрание пришедшие с недовязанными чулками, дремали, как куры на шестке, роняя клубки и иголки. Многие ушли. И когда неоднократно выступавший Аркашка Менок хотел было еще что-то сказать в защиту колхоза, то из горла его вырвалось нечто похожее на гусиное ядовитейшее шипенье. Аркашка помял кадык, горько махнул рукой, но все же не вытерпел и, садясь на

место, показал ярому противнику колхоза, Николаю Ахваткину, что́ с ним будет после сплошной коллективизации: на обкуренный ноготь большого пальца положил другой ноготь и — хруп! Николай только плюнул, шепотом матерясь.

ГЛАВА X

Кондрат Майданников шел с собрания. Над ним вверху непогасшим костром тлели Стожары. Было так тихо, что издалека слышались трески лопающейся от мороза земли, шорох зябнущей ветки. Дома Кондрат зашел на баз к быкам, подложил им в ясли скудную охапку сена; вспомнив, что завтра вести их на общий баз, набрал огромное беремя сена, вслух сказал:

— Ну, вот и расставанье подошло... Подвинься, лысый! Четыре года мы, казак на быка, а бык на казака, работали... И путного у нас ничего не вышло. И вам впроголодь, и мне скучновато. Через это и меняю вас на общую жизнь. Ну, чего разлопушился, будто и на самом деле понимаешь? — Он толкнул ногой бороздённого быка, отвел рукой его жующую слюнявую пасть и, встретившись глазами с лиловым бычачьим глазом, вдруг вспомнил, как ждал он этого быка пять лет назад. Старая корова тогда приняла бугая так скрыто, что ни пастух, ни Кондрат не видели. Осенью долго не было заметно по ней, что она огулялась. «Яловой осталась, проклятая!» — холодел Кондрат, поглядывая на корову. Но она апочинала в конце ноября, как и все старые коровы,— за месяц перед отелом. Сколько раз к концу филипповок, холодными ночами Кондрат просыпался, как от толчка, и, всунув ноги в валенки, в одних подштанниках бежал на теплый баз смотреть: не отелилась ли? Давили морозы, телок мог замерзнуть, едва лишь облизала бы его мать... Под исход поста Кондрат почти не спал. Как-то Анна, жена его, утром вошла повеселевшая, даже торжественная:

— Старая жилы уж отпустила. Должно, ночью будет.

Кондрат прилег с вечера, не раздеваясь, не гася огня в фонаре. Семь раз вышел он к корове! И только на восьмой, уже перед светом, еще не открыв дверцы на коровий баз, услышал глубокий и трудный стон, вошел: корова опрастывалась от последа, а крохотный белоноздрый телок, уже облизанный, шершавый, жалко дрожащий, искал похолодевшими губами вымя. Кондрат схватил выпавший послед,

чтобы корова его не съела [1], а потом поднял телка на руки и, отогревая его теплом своего дыхания, кутая в полу зипуна, на рыси понес в хату.

— Бык! — обрадованно воскликнул он.

Анна перекрестилась:

— Слава тебе, господи! Оглянулся милостивец на нашу нужду!

А нужды с одной лошаденкой хватнул Кондрат по ноздри. И вот вырос бык и добре работал на Кондрата, летом и в зимнюю стужу, бесчисленное количество раз переставляя свои клешнятые копыта по дорогам и пашням, волоча плуг или арбу.

Кондрат, глядя на быка, вдруг почувствовал острый комок в горле, резь в глазах. Заплакал и пошел с база, как будто облегченный прорвавшейся слезой. Остальцы ночи не спал, курил.

...Как будет в колхозе? Всякий ли почувствует, поймет так, как понял он, что путь туда — единственный, что это — неотвратимо? Что как ни жалко вести и кинуть на общие руки худóбу, выросшую вместе с детьми на земляном полу хаты, а надо вести. И подлюку-жалость эту к своему добру надо давить, не давать ей ходу к сердцу... Об этом думал Кондрат, лежа рядом с похрапывающей женой, глядя в черные провалы темноты невидящими, ослепленными темнотой глазами. И еще думал: «А куда же ягнят, козлят сведем? Ить им хата теплая нужна, большой догляд. Как их, враженят, разбирать, ежели они все почти одинаковые? Их и матеря будут путать и люди. А коровы? Корма как свозить? Потеряем сколько! Что, если разбредутся люди через неделю же, испугавшись трудного? Тогда — на шахты, кинув Гремячий на всю жизнь. Не при чем жить остается».

Перед светом он забылся в дреме. И во сне ему было трудно и тяжело. Нелегко давался Кондрату колхоз! Со слезой и с кровью рвал Кондрат пуповину, соединявшую его с собственностью, с быками, с родным паем земли...

Утром он позавтракал, долго писал заявление, мучительно морща лоб, обрезанный полосою загара. Получилось:

«Товарищу Макару Нагульнову в ячейку коммунистической гремяченской партии.

---

[1] На Верхнем Дону широко было распространено поверье, что, если корова съест послед, молоко нельзя употреблять двенадцать суток.

Заявление

Я, Кондрат Христофоров Майданников, середняк, прошу принять меня в колхоз с моей супругой и детьми, и имуществом, и со всей живностью. Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с ней вполне согласный.

К. Майданников».

— Вступил? — спросила жена.

— Вступил.

— Скотину поведешь?

— Зараз поведу... Ну, что же ты кричишь, идолова дура? Мало я на тебя слов срасходовал, уговаривал, а ты опять за старое? Ты же согласилась!

— Мне, Кондраша, одну корову жалко... Я согласная. Только уж дюже сердце болит...— говорила она, улыбаясь и завеской вытирая слезы.

Следом за матерью заплакала и Христишка, младшая, четырехлетняя девчушка.

Кондрат выпустил с база корову и быков; обратав лошадь, погнал к речке. Напоил. Быки повернули было домой, но Кондрат с закипевшей на сердце злобой, наезжая конем, преградил им дорогу, направил к сельсовету.

Из окон, не отходя, глядели бабы, казаки поглядывали через плетни, не показываясь на улицу. Не по себе стало Кондрату! Но около Совета увидел он, свернув за угол, огромную, как на ярмарке, толпу, быков, лошадей, овец. Из соседнего проулка вывернулся Любишкин. Он тянул взналыганную корову, за которой поспешал телок с болтавшейся на шее веревкой.

— Давай им хвосты свяжем и погоним вместе,— попробовал шутить Любишкин, а сам по виду был задумчив, строг. Ему с немалым трудом удалось увести корову, свежая царапина на щеке была тому свидетельством.

— Кто это тебя шкарябнул?

— Греха не скрою: баба! Баба-чертяка кинулась за корову.— Любишкин заправил в рот кончик уса, недовольно цедил: — Пошла в наступ, как танка. Такое у нас кроворазлитие вышло возля база, от суседей стыду теперь не оберешься. Кинулась с чаплей [1], не поверишь? «А,— говорю,— красного партизана бить? Мы,— говорю,— генералам, и то навтыкали!» — да черк ее за виски. Со стороны кто глядел, ему, небось, спектакля...

---

[1] Чапля (чапельник) — сковородник.

От сельсовета тронулись во двор к Титку. С утра еще двенадцать середняков, одумавшись за ночь, принесли заявления, пригнали скот.

Нагульнов с двумя плотниками в Титковом дворе тесал ольхи на ясли. На первые общественные ясли в Гремячем Логу.

ГЛАВА XI

Кондрат долго долбил пешней смерзшуюся землю, рыл ямки для стоянов. Рядом с ним старался Любишкин. У Павла из-под черной папахи, нависшей как грозовая туча, сыпался пот, лицо горело. Ощеряя рот, он с силой, с яростью опускал пешню, комки и крохи мерзлой земли летели вверх и врозь, дробно постукивая о стены. Ясли наскоро сколотили, загнали в сарай оцененных комиссией двадцать восемь пар быков. Нагульнов в одной защитной рубахе, прилипшей к потным лопаткам, вошел в сарай.

— Помахал топориком, и уж рубаху хучь выжми? Плохой из тебя работник, Макар! — Любишкин покачал головой.— Гляди, как я! Гах! Гах!.. Пешня у Титка добрая... Гах!.. Да ты полушубок скорей одевай, а то простынешь, и копыта на сторону!

Нагульнов накинул полушубок. Со щек его медленно сходил кровяно-красный, плитами, румянец.

— Это от газов. Как поработаю или на гору подыматься — зараз же задвохнусь, сердце застукотит... Последний стоян? Ну, и хорошо! Гляди, какое у нас хозяйство! — Нагульнов обвел горячечно блестящими глазами длинный ряд быков, выстроившихся вдоль новых, пахнущих свежей щепкой яслей.

Пока на открытом базу размещали коров, пришел Размётнов с Демкой Ушаковым. Отозвал Нагульнова в сторону, схватил его руку.

— Макар, друг, за вчерашнее не серчай... Наслухался я детского крику, своего парнишку вспомянул, ну, и защемило...

— Защемить бы тебя, черта, жаленника!

— Ну, конечно! Я уж по твоим глазам вижу, что сердце на меня остыло.

— Будет тебе, балабон! Куда направляешься? Сено надо свозить. Давыдов где?

— Он с Менком заявления в колхоз разбирают в Совете. А я иду... У меня же один кулацкий двор остался целый, Семена Лапшинова...

— Придешь, опять будешь?..— Нагульнов улыбнулся.

— Оставь! Кого бы мне из людей взять? Такое делается, спуталось все, как в бою! Скотину тянут, сено везут. Кое-кто уж семена привез. Я их отправил обратно. Уж потом за семена возьмемся. Кого бы на подсобу взять?

— Вон Кондрата Майданникова. Кондрат! А ну, иди сюда. Ступай-ка вот с председателем раскулачивать Лапшинова. Не робеешь? А то иные не хотят, есть такие совестливые, вот как Тимофей Борщев... Лизать ему не совестно, а награбленное забрать — совесть зазревает...

— Нет, чего же не пойти? Я пойду. Охотой.

Подошел Демка Ушаков. Втроем вышли на улицу. Размётнов, поглядывая на Кондрата, спросил:

— Ты чего насупонился? Радоваться надо, гляди, как хутор оживел, будто муравьиное гнездо тронулось.

— Радоваться нечего спешить. Трудно будет,— сухо отозвался Кондрат.

— Чем?

— И с посевом и с присмотром за скотиной. Видал вон: трое работают, а десять под плетнем на прицыпках сидят, цигарки крутят...

— Все будут работать! Это попервоначалу. Кусать нечего будет — небось, меньше будут курить.

На повороте, поставленные на ребро, торчали сани. Сбоку лежал ворох рассыпанного сена, валялись обломанные копылья. Распряженные быки жевали ярко-зеленый на снегу пырей. Молодой парень — сын вступившего в колхоз Семена Куженкова — лениво подгребал сено вилами-тройчатками.

— Ну, чего ты, как неживой, ходишь? Я в твои годы как на винтах был! Разве так работают? А ну, дай сюда вилы! — Демка Ушаков вырвал из рук улыбающегося парня вилы и, крякнув, попер на весу целую копну.

— Как же это ты перевернулся? — рассматривая сани, спросил Кондрат.

— Под раскат вдарило, не знаешь как?

— Ну, мотай за топором, возьми вот у Донецковых.

Сани подняли, затесали и вставили копылья. Демка аккуратно свершил возок, обчесал граблями.

— Куженков ты, Куженков! Драть бы тебя мазаной шелужиной [1] да кричать не свелеть. Ты глянь, сколько быки сена натолочили! А ты бы взял беремячко, пхнул им к плетню, и пущай бы ели. Кто же в вольную пущает?

---

[1] Шелужина (шелюжина) — хворостина.

Парень засмеялся, тронул быков.

— Оно теперича не наше, колхозное.

— Видали такого сукиного сына? — Демка разъехавшимися в стороны глазами оглядел Кондрата и Размётнова и нехорошо выругался.

Пока у Лапшинова производили опись, во двор набралось человек тридцать народу. Преобладали бабы-соседки, казаков было мало. Когда Лапшинову, высокому клинобородому седачу, предложили покинуть дом, в толпе, сбившейся в курене, послышался шепот, тихий разговор.

— А то чего же! Наживал, наживал, а зараз иди на курган.

— Скучноватая песня...

— То-то ему, небось, жалко! А?

— Всякому своя боль больная.

— Небось, не нравится так-то, а как сам при старом прижиме забирал за долги у Трифонова имущество, об этом не думал.

— Как аукнется...

— Так ему, дьяволу, козлу бородатому, и надо! Сыпанули жару на подхвостницу!

— Грех, бабочки, чужой беде ликовать. Она, может, своя — вот она.

— Как то ни черт! У нас именья — одни каменья. Не поджившься дюже!

— Летось за то, что косилку на два дня дал, слупил с меня, как с любушки, десять целковых. А это — совесть?

Лапшинов издавна считался человеком, имеющим деньжата. Знали, что еще до войны у него было немалое состояние, так как старик не брезговал и в долг ссужать под лихой процент, и ворованное потихоньку скупать. Одно время упорные были слухи, что на базу его передерживались краденые кони. К нему временами, все больше по ночам, наведывались цыгане, лошадники-купцы. Будто бы через жилистые руки Лапшинова шли кони воровским широким трактом на Царицын, Таганрог и Урюпинскую. Хутору доподлинно было известно, что Лапшинов в старое время раза три в год возил менять в станицу бумажные екатериновки[1] на золотые империалы[2]. В 1912 году его даже пытались «подержать за кисет», однако Лапшинов — ста-

[1] Екатериновка — в царской России сторублевая денежная бумага с портретом царицы Екатерины II.

[2] Империал — десятирублевая золотая монета в дореволюционной России.

рик матерый и сильный — отбился от напавших грабителей одной чакушкой [1] и ускакал. Прихватывали его в степи и с чужими копнами — это смолоду, а под старость стал он вовсе на чужое прост: брал все, что плохо лежало. Скуп же был до того, что, бывало, поставит в церкви копеечную свечку перед образом Николы Мирликийского, чуть погорит — Лапшинов подойдет и затушит, перекрестится, сунет в карман. Так одну свечку, бывало, год становит, а тем, кто упрекал его за такую излишнюю рачительность и нерадение к богу, отвечал: «Бог умнее вас, дураков! Ему не свечка нужна, а честь. Богу незачем меня в убыток вводить. Он даже бечевой сек торгующих в церкви».

Лапшинов спокойно встретил весть о раскулачивании. Ему нечего было бояться. Все ценное было заранее припрятано и сдано в надежные руки. Он сам помогал производить опись имущества, на свою причитавшую старуху грозно притопывал ногой, а через минуту со смирением говорил:

— Не кричи, мать, наши страданья зачтутся господом. Он, милостивец, все зрит...

— А он не зрит того, куда ты новый овчинный тулуп запропастил? — серьезно, в тон хозяину, спрашивал Демка.

— Какой тулуп?

— А в каком ты в прошлое воскресенье в церкву ходил.

— Не было у меня нового тулупа.

— Был и зараз где-то спасается!

— Что ты, Дементий, перед богом говорю,— не было!

— Бог покарает, дед! Он тебе гвозданет!

— И вот тебе Христос, напрасно ты это...— Лапшинов крестился.

— Грех на душу берешь! — Демка подмигивал в толпу, выжимая у баб и казаков улыбки.

— Не виноватый я перед ним, истинное слово!

— Прихоронил тулуп-то! Ответишь на страшном суде!

— Это за свой тулуп-то? — вскипел, не выдержав, Лапшинов.

— За ухороны ответишь!

— Бог, он, должно, такого ума, как ты, пустозвон! Он в эти дела и мешаться не будет!.. Нету тулупа! Совестно тебе над стариком надсмехаться. Перед богом и людьми совестно!

— А тебе не совестно было с меня за две меры проса, какие на семена брал, три меры взять? — спросил Кондрат.

---

[1] Чакушка (чекуша) — шкворень, притыка.

Голос его был тих и хриповат, в общем шуме почти не слышен, но Лапшинов повернулся на него с юношеской живостью:

— Кондрат! Почтенный твой родитель был, а ты... Ты хоть из памяти об нем не грешил бы! В Святом писании сказано: «Падающего не пихай» — а ты как поступаешь? Когда я с тебя три меры за две взял? А бог? Ить он все видит!..

— Он хотел бы, чтоб ему, идолу голоштанному, даром просцо отдали! — истошно закричала Лапшиниха.

— Не шуми, мать! Господь терпел и нам велел. Он, страдалец, терновый венок надел и плакал кровяными слезами...— Лапшинов вытер мутную слезинку рукавом.

Гомонившие бабы притихли, завздыхали. Размётнов, кончив писать, сурово сказал:

— Ну, дед Лапшинов, выметайся отсюдова. Слеза твоя не дюже жалостная. Много ты людей наобижал, а теперь мы сами тебе прикорот даем, без бога. Выходите!

Лапшинов взял за руку своего косноязычного, придурковатого сына, надел ему на голову треух, вышел из дома. Толпа хлынула следом. На базу старик стал на колени, предварительно постлав на снегу полу полушубка. Перекрестил хмурый лоб и земно поклонился на все четыре стороны.

— Ступай! Ступай! — приказывал Размётнов.

Но толпа глухо загудела, раздались выкрики:

— Дайте хучь с родным подворьем проститься!

— Ты не дури, Андрей! Человек одной ногой в могиле, а ты...

— Ему, по его жизни, обеими надо туда залезть! — крикнул Кондрат.

Его прервал старик Гладилин — церковный ктитор:

— Выдабриваешься перед властью? Бить вас, таковских, надо!

— Я тебе, сиводуший, так вдарю, что и дорогу к дому забудешь!

Лапшинов кланялся, крестился, говорил зычно, чтоб слыхали все, трогал доходчивые к жалости бабьи сердца.

— Прощайте, православные! Прощайте, родимые! Дай бог вам на здоровье... пользуйтесь моим кровным. Жил я, честно трудился...

— Ворованное покупал! — подсказывал с крыльца Демка.

— ...в поте лица добывал хлеб насущний...

— Людей разорял, процент сымал, сам воровал, кайся! Взять бы тебя за хиршу, собачий блуд, да об земь!

— ...насущный говорю, а теперь, на старости лет...

Бабы захлюпали носами, потянули к глазам концы платков. Размётнов только что хотел поднять Лапшинова и вытолкнуть со двора, он уж крикнул было: «Ты не агитируй, а то...» — как на крыльце, где стоял, прислонясь к перилам, Демка, внезапно возникли шум, возня...

Лапшиниха выскочила из кухни, неся в одной руке кошелку с насиженными гусиными яйцами, в другой — притихшую, ослепленную снегом и солнцем гусыню. Демка легко взял у нее кошелку, но в гусыню Лапшиниха вцепилась обеими руками.

— Не трожь, по-га-нец! Не трожь!

— Колхозная теперича гусыня!..— заорал Демка, ухватясь за вытянутую гусиную шею.

Лапшиниха держала гусиные ноги. Они тянули всяк к себе, яростно возя друг друга по крыльцу.

— Отдай, косой!

— Я те отдам!

— Пусти, говорю!

— Колхозная гуска!..— задыхаясь, выкрикивал Демка.— Она нам на весну... гусят!.. Отойди, старая, а то ногой в хряшки́... гусят... выведет!.. Вы свое отъели...

Разлохматившаяся Лапшиниха, упираясь в порожек валенком, тянула к себе, брызгала слюной. Гусыня, вначале взревевшая дурным голосом, замолкла,— видно, Демка перехватил ей дыхание,— но продолжала с бешеной быстротой выбрасывать крылья. Белый пух и перья снежными хлопьями закружились над крыльцом. Казалось: еще один миг, и Демка одолеет, вырвет полуживую гусыню из костлявых рук Лапшинихи, но вот в этот-то момент непрочная гусиная шея, тихо хрустнув позвонками, оборвалась. Лапшиниха, накрывшись подолом через голову, загремела с крыльца, гулко считая порожки. А Демка, ахнув от неожиданности, с одной гусиной головой в руках упал на кошелку, стоявшую позади него, давя гусиные насиженные яйца. Взрыв неслыханного хохота оббил ледяные сосульки с крыши. Лапшинов встал с колен, натянул шапку, яростно дернул за руку своего слюнявого, ко всему равнодушного сына, почти рысью потащил его со двора. Лапшиниха встала, черная от злости и боли. Обметая юбку, она потянулась было к обезглавленной, бившейся у порожков гусыне, но желтый борзой кобель, крутившийся возле крыльца, увидев цевкой бившую из гусиной шеи

кровь, вдруг прыгнул, вздыбив на спине шерсть, и из-под носа Лапшинихи выхватил гусыню, поволок ее по двору под свист и улюлюканье ребят.

Демка, кинув вослед Лапшинихе гусиную голову, все еще смотревшую на мир навек изумленным оранжевым глазом, ушел в хату. И долго еще над двором и проулком висел разноголосый, взрывами, смех, тревожа и вспугивая с сухого хвороста воробьев.

ГЛАВА XII

Жизнь в Гремячем Логу стала на дыбы, как норовистый конь перед трудным препятствием. Казаки днем собирались на проулках и в куренях, спорили, толковали о колхозах, высказывали предположения. Собрания созывались в течение четырех дней подряд каждый вечер и продолжались до кочетиного побуднего крику.

Нагульнов за эти дни так похудел, будто долгий срок лежал в тяжкой хворости. Но Давыдов по-прежнему хранил наружное спокойствие, лишь резче легли у него над губами, по обочинам щек глубокие складки упорства. Он как-то сумел и в Размётнова, обычно легко воспламенявшегося и столь же легко поддававшегося неоправдываемой панике, вселить уверенность. Андрей ходил по хутору, осматривая скотиньи общие базы, с уверенной ухмылкой, поигрывавшей в злобноватых его глазах. Аркашке Менку, возглавлявшему до выборов правления колхоза колхозную власть, часто говаривал:

— Мы им рога посвернем! Все будут в колхозе.

Давыдов послал в райком коннонарочного с сообщением о том, что в колхоз вовлечено пока только тридцать два процента, но что работа по вовлечению в колхоз продолжается ударными темпами.

Кулаки, выселенные из своих куреней, поселились у родни и близких людей. Фрол Рваный, отправив Тимофея прямо в округ к прокурору, жил у приятеля своего Борщева, того самого, который на собрании бедноты некогда отказался от голосования. У Борщева в тесной связи[1] собирался кулацкий актив.

Обычно днем, для того чтобы оградить себя от подслушиваний и досмотра, сходились к Борщеву по одному, по два, пробираясь задами и гумнами, чтобы не шибалось

[1] Связь —хата из двух комнат, соединенных сенями.

людям в глаза, чтобы не привлечь внимания сельсовета. Приходил Гаев Давыд и жженый плут Лапшинов, ставший после раскулачивания «Христа ради юродивым», изредка являлся Яков Лукич Островнов нащупывать почву. Прибивались к «штабу» и кое-кто из середняков, решительно восставших против колхоза,— Николай Люшня и другие. Кроме Борщева, были даже двое из бедноты: один высокий, безбровый казак Атаманчуков Василий, всегда молчаливый, голый, как яйцо, начисто выстриженный и выбритый, другой — Хопров Никита, артиллерист гвардейской батареи, сослуживец Подтелкова, в гражданскую войну все время уклонявшийся от службы и попавший-таки в 1919 году на службу в карательный отряд калмыка полковника Аштымова. Это и определило дальнейшую жизнь Хопрова при Советской власти. Три человека в хуторе — Яков Островнов с сыном и Лапшинов-старик — видели его при отступлении в 1920 году в Кущевке в аштымовском карательном отряде с долевой белой полоской подхорунжего на погоне, видели, как он с тремя казаками-калмыками гнал арестованных рабочих железнодорожного депо к Аштымову на допрос... Видели... А сколько жизни потерял Хопров после того, как вернулся из Новороссийска в Гремячий Лог и узнал, что Островновы и Лапшинов уцелели! Сколько страху пережил грудастый гвардейский батареец за лютые на расправу с контрой года! И он, на ковке удерживавший любую лошадь, взяв ее за копыто задней ноги,— дрожал, как убитый заморозком поздний дубовый лист, когда встречался с лукаво улыбающимся Лапшиновым. Его он боялся больше всех. Встречался, хрипел, с трудом шевеля губами:

— Дедушка, не дай пропасть казачьей душе, не выдавай!

Лапшинов с нарочитым негодованием успокаивал:

— Что ты, Никита! Христос с тобой! Да разве же я креста на гайтане не ношу? А спаситель как научал: «Пожалей ближнего, как самого себя». И думать не моги, не скажу! Режь — кровь не текет. У меня так... Только и ты уж подсоби, ежели что... На собрании там, может, кто против меня или от власти приступ будет... Ты оборони, на случай... Рука руку моет. А поднявший меч от меча да и гинет. Так ить? Ишо хотел я тебя просить, чтоб подсобил вспахать мне. Сына мне бог дал умом тронутого, он не пособник, человека нанимать — дорого...

Из года в год «подсоблял» Лапшинову Никита Хопров; задаром пахал, волочил, совал лапшиновской молотилке

лапшиновскую пшеницу, стоя, зубарем [1]. А потом приходил домой, садился за стол, хоронил в чугунных ладонях свое широкое рыжеусое лицо, думал: «До коих же пор так? Убью!»

Островнов Яков Лукич не одолевал просьбами, не грозился, знал, что если попросит когда, то и в большом, не только в бутылке водки, не посмеет отказать Хопров. А водку пивал Яков Лукич у него-таки частенько, неизменно благодарил: «Спасибо за угощение».

«Захленись ты ею!» — думал Хопров, с ненавистью сжимая под столом полупудовые гири-кулаки.

Половцев все еще жил у Якова Лукича в маленькой горенке, где раньше помещалась старуха Островниха. Она перешла на печку, а Половцев в ее горенке курил почти напролет, лежа на куцей лежанке, упирая босые жилистые ноги в горячий камень. Ночью он часто ходил по спящему дому (ни одна дверь не скрипнет, заботливо смазанная в петлях гусиным жиром). Иногда, накинув полушубок, затушив цигарку, шел проведать коня, спрятанного в мякиннике. Застоявшийся конь встречал его дрожащим приглушенным ржанием, словно знал, что не время выражать свои чувства полным голосом. Хозяин охаживал его руками, щупал суставы ног своими негнущимися, железными пальцами. Как-то раз, в особо темную ночь вывел его из мякинника и охлюпкой поскакал в степь. Вернулся перед светом. Конь был мокр, словно вымыт по́том, часто носил боками, сотрясался тяжелой нечастой дрожью. Якову Лукичу Половцев утром сказал:

— Был в своей станице. Ищут меня там... Казаки готовы и ждут только приказа.

Это по его наущенью, когда вторично было созвано общее собрание гремяченцев по вопросу о колхозе, Яков Лукич выступил с призывом войти в колхоз и несказанно обрадовал Давыдова своей разумной, положительной речью и тем, что после слов авторитетного в хуторе Якова Лукича, заявившего о своем вступлении в колхоз, было подано сразу тридцать одно заявление.

Ладно говорил Яков Лукич о колхозе, а на другой день, обходя дворы, угощал на деньги Половцева надежных, настроенных против колхоза середняков, подвыпив и сам малость, говорил иное:

— Чудак ты, братец! Мне дюжей, чем тебе, надо в колхоз вступать и говорить против нельзя. Я жил справ-

[1] **Зубарь** — подавальщик снопов на молотилке.

но, могут обкулачить, а тебе какая нужда туда переться? Ярма не видал? В колхозе тебя, братец, так взналыгают, света невзвидишь! — и тихонько начинал рассказывать, уже заученное наизусть о предстоящем восстании, про обобществление жен и, если собеседник оказывался податливым, злобно готовым на все,— уговаривал, упрашивал, грозил расправой, когда из-за границы придут «наши», и под конец добивался своего: уходил, заручившись согласием на вступление в «союз».

Все шло хорошо и ладно. Навербовал Яков Лукич около тридцати казаков, строжайше предупреждая, чтобы ни с кем не говорили о вступлении в «союз», о разговоре с ним. Но как-то отправился доканчивать дело в кулацкий штаб (на раскулаченных и группировавшихся около них была у него и у Половцева нерушимая надежда, потому-то вовлечение их, как дело нетрудное, и было оставлено напоследок), и тут-то впервые вышла у него осечка... Яков Лукич, закутавшись в зупин, пришел к Борщеву перед вечером. В нежилой горнице топилась подземка [1]. Все были в сборе. Хозяин — Тимофей Борщев, стоя на коленях, совал в творило подземки мелко наломанный хворост, на лавках, на сваленных в углу едовых тыквах, расписанных, словно георгиевские ленты, оранжевыми и черными полосами,— сидели Фрол Рваный, Лапшинов, Гаев, Николай Люшня, Атаманчуков Василий и батареец Хопров. Спиной к окну стоял только что в этот день вернувшийся из округа Тимофей — сын Фрола Рваного. Он рассказывал о том, как сурово встретил его прокурор, как хотел вместо рассмотрения жалобы арестовать его и отправить обратно в район. Яков Лукич вошел, и Тимофей умолк, но отец одобрил его·

— Это наш человек, Тимоша. Ты его не пужайся.

Тимофей докончил рассказ; поблескивая глазами, сказал:

— Жизня такая, что, если б банда зараз была, сел бы на коня и начал коммунистам кровя пущать!

— Тесная жизня стала, тесная...— подтвердил и Яков Лукич.— Да оно, кабы на этом кончилось, еще слава богу...

— А какого ж еще лиха ждать? — озлился Фрол Рваный.— Тебя не коснулось, вот тебе и сладко, а меня уж хлеб зачинает исть. Жили с тобой почти одинаково при царе, а вот зараз ты как обдутенький, а с меня последние валенки сняли.

---

[1] Подземка — низенькая печурка.

— Я не про то боюсь, как бы чего не получилось...
— Чего же?
— Война как бы...
— Подай-то господи! Уподобь, святой Егорий Победоносец! Хоть бы и зараз! И сказано в писании апостола...
— С кольями бы пошли, как вёшенцы в девятнадцатом году!
— Жилы из живых бы тянул, эх, гм-м-м!..
Атаманчуков, раненный в горло под станицей Филоновской, говорил, как в пастушью дудку играл,— невнятно и тонко:
— Народ осатанел, зубами будут грызть!..
Яков Лукич осторожно намекнул, что в соседних станицах неспокойно, что будто бы даже кое-где коммунистов уже учат уму-разуму, по-казачьему, как в старину учили нежеланных, прибивавшихся к Москве атаманов, а учили их просто — в мешок головой да в воду. Говорил тихо, размеренно, обдумывая каждое слово. Вскользь заметил, что неспокойно везде по Северо-Кавказскому краю, что в низовых станицах уже обобществлены жены, и коммунисты первые спят с чужими бабами в открытую, и что к весне ждется десант. Об этом, мол, сказал ему знакомый офицер, полчанин, проезжавший с неделю назад через Гремячий. Утаил только одно Яков Лукич, что этот офицер до сих пор скрывается у него.
До этого все время молчавший Никита Хопров спросил:
— Яков Лукич, ты скажи вот об чем: ну, ладно, восстанем мы, перебьем своих коммунистов, а потом? С милицией-то мы управимся, а как со станции сунут на нас армейские части, тогда что? Кто же нас супротив их поведет? Офицеров нету, мы — темные, по звездам дорогу угадываем... А ить в войне части не наобум ходют, они на плантах дороги ищут, карты в штабах рисуют. Руки-то у нас будут, а головы нет.
— И голова будет! — с жаром уверял Яков Лукич.— Офицерья объявются. Они поученей красных командиров. Из старых юнкерей выходили в начальство, благородные науки превзошли. А у красных какие командиры? Вот хотя бы нашего Макара Нагульного взять. Голову отрубить — это он может, а сотню разве ему водить? Ни в жизню! Он-то в картах дюже разбирается?
— А откуда же офицерья объявются?
— Бабы их народют! — озлился Яков Лукич.— Ну, чего ты, Никита, привязался ко мне, как орепей к овечьему курдюку? «Откуда, откуда»!.. А я-то знаю откуда?

— Из-за границы приедут. Непременно приедут! — обнадеживал Фрол Рваный и, предвкушая переворот, кровяную сладость мести, от удовольствия раздувая одну уцелевшую ноздрю, с хлюпом всасывал ею прокуренный воздух.

Хопров встал, пихнул тыкву ногой и, оглаживая рыжие широкие усы, внушительно сказал:

— Так-то оно так... Но только казаки стали теперича ученые. Их бивали смертно за восстания. Не пойдут они. Кубань не поддержит...

Яков Лукич посмеивался в седеющие усы, твердил:

— Пойдут, как одна душа! И Кубань вся огнем схватится... А в драке так: зараз я под низом, лопатками землю вдавливаю, а глядь, через какой-то срок уж я сверху на враге лежу, выпинаю его.

— Нет, братцы, как хотите, а я на это не согласный! — холодея от прилива решимости, заговорил Хопров.— Я против власти не подымаюсь и другим не посоветую. И ты, Яков Лукич, занапрасну народ подбиваешь на такие шутки... Офицер, какой у тебя ночевал, он чужой, темный человек. Он намутит воду — и в сторону, а нам опять расхлебывать. В эту войну они нас пихнули супротив Советской власти, казакам понашили лычки на погоны, понапекли из них скороспелых офицеров, а сами в тылы подались, в штабы, с тонконогими барышнями гулять... Помнишь, дело коснулось расплаты, кто за общие грехи платил? В Новороссийском красные на пристанях калмыкам головы срубали, а офицерья и другие благородные на пароходах тем часом плыли в чужие теплые страны. Вся Донская армия, как гурт овец, табунилась в Новороссийском, а генералы?.. Эх! Да я и то хотел кстати спросить: этот «ваше благородие», какой ночевал, зараз не у тебя спасается? Разка два примечал я, что ты в мякинник воду в цибарке носишь... К чему бы, думаю, Лукичу воду туда носить, какого он черта там поит? А потом как-то слышу — конь заиржал.

Хопров с наслаждением наблюдал, как под цвет седоватым усам становится лицо Якова Лукича. Были общее замешательство и испуг. Лютая радость распирала грудь Хопрова, он кидал слова,— словно со стороны, как чужую речь, слышал свой голос.

— Никакого офицера у меня нету,— глухо сказал Яков Лукич.— Иржала моя кобылка, а воду в мякинник я не носил, помои иной раз... Кабан у нас там...

— Голос твоей кобыленки я знаю, меня не обманешь!

Да мне-то что? А в вашем деле я не участник, а вы угадывайте...

Хопров надел папаху,— глядя по сторонам, пошел к двери. Ему загородил дорогу Лапшинов. Седая борода его тряслась, он, как-то странно приседая, разводя руками, спросил:

— Доносить идешь, Июда? Проданный? А ежели сказать, что ты в карательном, с калмыками...

— Ты, дед, не сепети! — с холодным бешенством заговорил Хопров, подымая на уровень лапшиновской бороды свой литой кулак.— Я сам спервоначалу на себя донесу так и скажу: был в карателях, был подхорунжий, судите... Но-о-о и вы глядите! И ты, старая петля кобылья... И ты...— Хопров задыхался, в широкой груди его хрипело, как в кузнечном мехе.— Ты из меня кровя все высосал! Хоть раз над тобой поликовать!

Не размахиваясь, тычком он ударил Лапшинова в лицо и вышел, хлопнув дверью, не глянув на упавшего у притолоки старика. Тимофей Борщев принес порожнее ведро. Лапшинов встал над ведром на колени. Черная кровь ударила из его ноздрей, словно из вскрытой вены. В потерянной тишине слышно было лишь, как всхлипывает, скрежещет зубами Лапшинов да цедятся, звенят по стенке ведра, стекая с лапшиновской бороды, струйки крови.

— Вот теперь мы пропали вовзя́т![1] — сказал многосемейный раскулаченный Гаев.

И тотчас же вскочил Николай Люшня, не попрощавшись, не покрыв головы шапкой, кинулся из хаты. За ним степенно вышел Атаманчуков, тоненько и хриповато сказав на прощанье:

— Надо расходиться, а то добра не дождешься.

Несколько минут Яков Лукич сидел молча. Сердце у него, казалось, распухло и подкатило к глотке. Трудно стало дышать. Напористо била в голову кровь, а на лбу выступила холодная испарина. Он встал, когда уже многие ушли; брезгливо обходя склонившегося над ведром Лапшинова, тихо сказал Тимофею Рваному:

— Пойдем со мной, Тимофей!

Тот молча надел пиджак, шапку. Вышли. По хутору гасли последние огни.

— Куда пойдем-то? — спросил Тимофей.

— Ко мне.

— Зачем?

---

[1] Вовзя́т — совсем, вовсе.

— Потом узнаешь, давай поспешать.

Яков Лукич нарочно прошел мимо сельсовета, там не было огня, темнотой зияли окна. Вошли на баз к Якову Лукичу. Возле крыльца он остановился, тронув рукав Тимофеева пиджака.

— Погоди трошки тут. Я тебя тогда покличу.

— Лады.

Яков Лукич постучал, сноха вынула из пробоя засов.

— Ты, батя?

— Я.— Он плотно притворил за собой дверь; не заходя, постучался в дверь горенки. Хриповатый басок спросил:

— Кто?

— Это я, Александр Анисимович. Можно?

— Входи.

Половцев сидел за столиком против занавешенного черной шалью окна, что-то писал. Исписанный лист покрыл своей крупной жилистой ладонью, повернул лобастую голову.

— Ну, что? Как дело?..

— Плохо... Беда!..

— Что? Говори живее!..— Половцев вскочил, сунул исписанный лист в карман, торопливо застегнул ворот толстовки и, наливаясь кровью, багровея, нагнулся, весь собранный, готовый, как крупный хищный зверь перед прыжком.

Яков Лукич сбивчиво рассказал ему о случившемся. Половцев слушал, не проронив слова. Из глубоких впадин тяжко в упор смотрели на Якова Лукича его голубоватые глазки. Он медленно распрямлялся, сжимал и разжимал кулаки, под конец страшно скривил выбритые губы, шагнул к Якову Лукичу.

— Па-а-адлец! Что же ты, образина седая, погубить меня хочешь? Дело хочешь погубить? Ты его уже наполовину погубил своей дурьей неосмотрительностью. Я как тебе приказывал? Как я те-бе при-ка-зы-вал? Надо было по одному прощупать настроение всех предварительно! А ты — как бык с яру!..— Его приглушенный, басовитый, булькающий шепот заставлял Якова Лукича бледнеть, повергал в еще больший страх и смятение.— Что теперь делать? Он уже сообщил, этот Хопров? А? Нет? Да говори же, пенек гремяческий! Нет? Куда он пошел, ты проследил?

— Никак нет... Александр Анисимович, благодетель, мы пропали теперича! — Яков Лукич схватился за голову.

По коричневой щеке его на седоватый ус, щекоча, скатилась слезинка.

Но Половцев только зубами скрипнул.

— Ты! Бабья... Надо делать, а не... Сын твой дома?

— Не знаю... я захватил с собой человека.

— Какого?

— Сына Фрола Рваного.

— Ага. Зачем привел его?

Они встретились глазами, поняли друг друга без слов. Яков Лукич первый отвел глаза, на вопрос Половцева: «Надежный ли парень?» — только молча кивнул головой. Половцев яростно сорвал с гвоздя свой полушубок, вынул из-под подушки свежепрочищенный наган, крутнул барабан, и в отверстиях гнезд сияющим кругом замерцал никель вдавленных в гильзы пулевых головок. Застегивая полушубок, Половцев отчетливо, как в бою, командовал:

— Возьми топор. Веди самой короткой дорогой... Сколько минут ходьбы?

— Тут недалеко, дворов через восемь...

— Семья у него?

— Одна жена.

— Соседи близко?

— С одной стороны гумно, с другой сад.

— Сельсовет?

— До него далеко...

— Пошли!

Пока Яков Лукич ходил за топором к дровосеке, Половцев левой рукой сжал локоть Тимофея, негромко сказал:

— Беспрекословно слушать меня! Пойдем туда, и ты, паренек, измени голос, скажи, что ты дежурный сиделец из сельсовета, что ему бумажка. Надо, чтобы он сам открыл дверь.

— Вы глядите, товарищ, как вас... незнакомый с вами... этот Хопров, как бык, сильный, он, ежели не вспопáшитесь, может так омочить голым кулаком, что...— развязно заговорил было Тимофей.

— Замолчи! — оборвал его Половцев и протянул руку к Якову Лукичу: — Дай-ка сюда. Веди.

Ясеневое топорище, нагревшееся и мокрое от ладони Якова Лукича, сунул под полушубок за пояс шаровар, поднял воротник.

По проулку шли молча. Рядом с плотной, большой фигурой Половцева Тимофей выглядел подростком. Он шел рядом с валко шагавшим есаулом, назойливо загля-

дывая ему в лицо. Но темнота и поднятый воротник мешали...

Через плетень перелезли на гумно.

— Иди по следу, чтобы один след был,— шепотом приказал Половцев.

По нетронутому снегу пошли волчьей цепкой, шаг в шаг. Около калитки во двор Яков Лукич прижал ладонь к левому боку, тоскливо шепнул:

— Господи...

Половцев указал на дверь.

— Стучи!..— скорее угадал по губам его, чем услышал Тимофей.

Тихонько звякнул щеколдой и тотчас же услышал, как яростно скребут, рвут застежки полушубка пальцы чужого человека в белой папахе, ставшего справа от двери. Тимофей постучал еще раз. С ужасом смотрел Яков Лукич на собачонку, вылезавшую из-под стоявшего на открытом базу букаря. Но прозябший щенок безголосо тявкнул, заскулил, подался к покрытому камышом погребу.

* * *

Домой Хопров пришел отягощенный раздумьем, за время ходьбы несколько успокоившийся. Жена собрала ему повечерять.

Он поел неохотно, грустно сказал:

— Я бы зараз, Марья, арбуза соленого съел.

— На похмёл, что ли? — улыбнулась та.

— Нет, я не пил ноне. Я завтра, Машутка, объявляю властям, что был в карателях. Мне не по силам больше так жить.

— Ох, и придумал! Да ты чего это ноне кружоный какой-то? Я и не пойму.

Никита улыбался, подергивая широкий рыжий ус. И, уже ложась спать, снова серьезно сказал:

— Ты мне сухарей сготовь либо пресных подорожников спеки. На отсидку я пойду.

А потом долго, не слушая увещаний жены, лежал с открытыми глазами, думал: «Объявлю про себя и про Островнова, пущай и их, чертей, посажают! А мне что же будет? Не расстреляют же? Отсижу года три, дровишки на Урале порублю и выйду оттель чистым. Никто тогда уж не попрекнет прошлым. Ни на кого работать за свой грех больше не буду. Скажу по совести, как попал к Аштымову. Так и скажу: мол, спасался от фронта, кому лоб под пули

подставлять охота? Пущай судят, за давностью времен выйдет смягчение. Все расскажу! Людей сам я не стрелял, ну, а что касаемо плетей... Ну, что же, плетей вваливал и казакам-дезертирам и кое-каким за большевизму... Я тогда темней ночи был, не знал, что и куда».

Он уснул. Вскоре от первого сна оторвал его стук. Полежал. «Кому бы это приспичило?» Стук повторился. Никита, досадливо кряхтя, стал вставать, хотел зажечь лампочку, но Марья проснулась, зашептала:

— Либо опять на собранию? Не зажигай! Ни дня, ни ночи покою... Перебесились, треклятые!

Никита босиком вышел в сенцы.

— Кто такой?

— Это я, дяденька Никита, из Совету.

Ребячий незнакомый голос... Что-то похожее на беспокойство, намек на тревогу почувствовал Никита и спросил:

— Да кто это? Чего надо?

— Это я, Куженков Николай. Бумажка тебе от председателя, велел зараз в Совет идтить.

— Сунь ее под дверь.

...Секунда тишины с той стороны двери... Грозный понукающий взгляд из-под белой курпяйчатой папахи, и Тимофей, на миг растерявшийся, находит выход:

— За нее расписаться надо, отвори.

Он слышит, как Хопров нетерпеливо переступает, шуршит по земляному полу сенцев босыми подошвами. Стукнула черная задвижка. В квадрате двери на темном фоне возникает белая фигура Хопрова. В этот миг Половцев заносит левую ногу на порог, взмахнув топором, бьет Хопрова обухом повыше переносицы.

Как бык перед зарезом, оглушенный ударом молота, рухнул Никита на колени и мягко завалился на спину.

— Входить! Дверь на запор! — неслышно командует Половцев. Он нащупывает дверную ручку, не выпуская из рук топора, распахивает дверь в хату.

Из угла с кровати — шорох дерюги, встревоженный бабий голос:

— Никак ты свалил что-то?.. Кто там, Никитушка?

Половцев роняет топор, с вытянутыми руками бросается к кровати.

— Ой, люди добрые!.. Кто это?.. Кар...

Тимофей, больно стукнувшись о притолоку, вбегает в хату. Он слышит звуки хрипенья и возни в углу. Половцев упал на женщину, подушкой придавил ей лицо и крутит, вяжет рушником руки. Его локти скользят по

зыбким, податливо мягким грудям женщины, под ним упруго вгибается ее грудная клетка. Он ощущает тепло ее сильного, бьющегося в попытках освободиться тела, стремительный, как у пойманной птицы, стук сердца. В нем внезапно и только на миг вспыхивает острое, как ожог, желание, но он рычит и с яростью просовывает руку под подушку, как лошади, раздирает рот женщине. Под его скрюченным пальцем резиново подается, потом мягко ползет разорванная губа, палец — в теплой крови, но женщина уже не кричит глухо и протяжно: в рот ей до самой глотки забил он скомканную юбку.

Половцев оставляет возле связанной хозяйки Тимофея, сам идет в сенцы, дышит с хрипом, как сапная лошадь.

— Спичку!

Яков Лукич зажигает. При тусклом свете Половцев наклоняется к поверженному навзничь Хопрову. Батареец лежит, неловко подвернув ноги, прижав щеку к земляному полу. Он дышит, широкая бугристая грудь его неровно вздымается, и при выдохе каждый раз рыжий ус опускается в лужу красного. Спичка гаснет. Половцев на ощупь пробует на лбу Хопрова место удара. Под пальцами его шуршит раздробленная кость.

— Вы меня увольте... У меня на кровь сердце слабое... — шепчет Яков Лукич. Его бьет лихорадка, подламываются ноги, но Половцев, не отвечая, приказывает:

— Принеси топор. Он там... возле кровати. И воды.

Вода приводит Хопрова в сознание. Половцев давит ему коленом грудь, свистящим шепотом спрашивает:

— Донес, предатель? Говори! Эй, ты, спичку!

Спичка опять на несколько секунд освещает лицо Хопрова, его полуоткрытый глаз. Рука Якова Лукича дрожит, дрожит и крохотный огонек. В сенцах по метелкам свисающего с крыши камыша пляшут желтые блики. Спичка догорает, жжет ногти Якова Лукича, но он не чувствует боли. Половцев два раза повторяет вопрос, потом начинает ломать Хопрову пальцы. Тот стонет и вдруг ложится на живот, медленно и трудно становится на четвереньки, встает. Половцев, стоная от напряжения, пытается снова опрокинуть его на спину, но медвежья сила батарейца помогает ему встать на ноги. Левой рукой он хватает Якова Лукича за кушак, правой — охватывает шею Половцева. Тот втягивает голову в плечи, прячет горло, к которому тянутся холодные пальцы Хопрова, кричит:

— Огонь!.. Будь проклят! Огонь, говорят! — Он не может в темноте нашарить руками топор.

Тимофей, высунувшись из кухни, не подозревая в чем дело, громко шепчет:

— Эй, вы! Вы его под хряшки... Под хряшки топором, остряком его, он тогда скажет!

Топор в руках Половцева, с огромным напряжением вырывается Половцев из объятий Хопрова, бьет уже острием топора раз и два. Хопров падает и при падении цепляется головой за лавку. С лавки от толчка валится ведро. Гром от падения его, как выстрел. Половцев, скрипя зубами, кончает лежащего — ногою нащупывает голову, рубит топором и слышит, как, освобожденная, булькает, клокочет кровь. Потом силком вталкивает Якова Лукича в хату, закрывает за собою дверь, вполголоса говорит:

— Ты, в душу твою... слюнтяй! Держи бабу за голову, нам надо узнать: успел он сообщить или нет? Ты, парень, придави ей ноги!

Половцев грудью наваливается на связанную бабу. От него разит едким мускусом пота. Спрашивает, раздельно произнося каждое слово:

— Муж после того, как пришел с вечера, ходил в Совет или еще куда-нибудь!

В полусумраке хаты он видит обезумевшие от ужаса, вспухшие от невыплаканных слез глаза, почерневшее от удушья лицо. Ему становится не по себе, хочется скорей отсюда, на воздух... Он со злостью и отвращением давит пальцами ей за ушами. От чудовищной боли она бьется, на короткое время теряет сознание. Потом, придя в себя, вдруг выталкивает языком мокрый, горячий от слюны кляп, но не кричит, а мелким, захлебывающимся шепотом просит:

— Родненькие!.. Родненькие, пожалейте! Все скажу! — Она узнает Якова Лукича. Ведь он же кум ей, с ним она лет семь назад крестила сестриного сына. И трудно, как косноязычная, шевелит изуродованными, разорванными губами: — Куманек!.. Родимый мой!.. За что?

Половцев испуганно накрывает рот ей своей широкой ладонью. Она еще пытается в припадке надежды на милость целовать эту ладонь своими окровавленными губами. Ей хочется жить! Ей страшно!

— Ходил муж куда или нет?

Она отрицательно трясет головой. Яков Лукич хватается за руки Половцева:

— Ваше... Ваше... Ксан Анисимыч!.. Не трожь ее... Мы ей пригрозим, не скажет! Век не скажет!..

Половцев отталкивает его. Он впервые за все эти трудные минуты вытирает тылом ладони лицо, думает:

«Завтра же выдаст! Но она — женщина, казачка, мне, офицеру, стыдно... К черту... Закрыть ей глаза, чтобы последнего не видела...»

Заворачивает ей на голову подол холстинной рубашки, секунду останавливает взгляд на ладном теле этой не рожавшей тридцатилетней женщины. Она лежит на боку, поджав ногу, как большая белая подстреленная птица... Половцев в полусумраке вдруг видит: ложбина на груди, смуглый живот женщины начинают лосниться, стремительно покрываясь испариной. «Поняла, зачем голову накрыл. К черту!..» Половцев, хакнув, опускает лезвие топора на закрывшую лицо рубаху.

Яков Лукич вдруг чувствует, как длительная судорога потянула тело его кумы. В ноздри ему хлынул приторный запах свежей крови... Яков Лукич, шатаясь, дошел до печки, страшный припадок рвоты потряс его, мучительно вывернул внутренности.

На крыльце Половцев пьяно качнулся, губами припал и стал хватать нападавший на перильце свежий и пушистый снег. Вышли в калитку. Тимофей Рваный отстал; околесив квартал, пошел на певучий голос двухрядки, доплывавший от школы. Возле школы — игрище. Тимофей, пощипывая девок, пробрался в круг, попросил у гармониста гармошку.

— Тимоша! Заиграй нам цыганку с перебором,— попросила какая-то девка.

Тимофей стал брать гармонь из рук хозяина и уронил. Тихо засмеялся, снова протянул руки и снова уронил, не успев накинуть на левое плечо ремень. Пальцы не служили ему. Он пошевелил ими, засмеялся, отдал гармошку.

— Натрескался уж гдей-то!

— Глянь-ка, девоньки, он никак пьяный?

— И пинжак уж облевал! Хорош!..

Девки подались от Тимофея. Хозяин гармошки, недовольно сдувая со складок мехов снег, неуверенно заиграл «цыганочку». Ульяна Ахваткина, самая рослая из девок, «на гвардейца деланная», как звали ее в хуторе, пошла, поскрипывая низкими каблуками чириков, коромыслом выгнув руки. «Надо сидеть до света,— как о ком-то постороннем, думал Тимофей,— тогда никто на случай следствия не подкопается». Он встал и, уже сознательно подражая движениям пьяного, покачиваясь, прошел к сидящей на порожке школы девке, положил ей голову на теплые колени:

— Поищи меня, любушка!..

* * *

А Яков Лукич, зеленый, словно капустный лист, как вошел в курень — пал на кровать и головы от подушки не поднял. Он слышал, как над лоханкой мылил руки, плескал водой и отфыркивался Половцев, потом ушел к себе в горенку. Уже в полночь разбудил хозяйку:

— Взвар есть, хозяюшка? Зачерпни напиться.

Попил (Яков Лукич смотрел на него из-под подушки одним глазом), достал разваренную грушу, зачавкал, пошел, дымя цигаркой, поглаживая по-бабьи голую пухловатую грудь.

В горенке Половцев протянул босые ноги к неостывшему камельку. Он любит по ночам греть ноющие от ревматизма ноги. Простудил их в 1916 году, зимою вплавь переправляясь через Буг, верой и правдой служа его императорскому величеству, обороняя отчизну. С той-то поры есаул Половцев тяготеет к теплу, к теплой валяной обуви...

ГЛАВА XIII

За неделю пребывания в Гремячем Логу перед Давыдовым стеною встал ряд вопросов... По ночам, придя из сельсовета или из правления колхоза, разместившегося в просторном Титковом доме, Давыдов долго ходил по комнате, курил, потом читал привезенные кольцевиком «Правду», «Молот» и опять в размышлениях возвращался к людям из Гремячего, к колхозу, к событиям прожитого дня. Как зафлаженный волк, пытался он выбраться из круга связанных с колхозом мыслей, вспоминал свой цех, приятелей, работу; становилось чуточку грустно оттого, что там теперь многое изменилось и все это в его отсутствие; что он теперь уже не сможет ночи навылет просиживать над чертежами катерпиллерского мотора, пытаясь найти новый ход к перестройке коробки скоростей, что на его капризном и требовательном станке работает другой — наверное, этот самоуверенный Гольдшмит; что теперь о нем, видимо, забыли, наговорив на проводах уезжавших двадцатипятитысячников хороших, с горячинкой, речей. И внезапно мысль снова переключалась на Гремячий, будто в мозгу кто-то уверенно передвигал рубильник, по-новому направляя ток размышлений. Он ехал на работу в деревню вовсе не таким уж наивным горожанином, но разворот

классовой борьбы, ее путаные узлы и зачастую потаенно-скрытые формы все же представлялись ему не столь сложными, какие увидел он в первые же дни приезда в Гремячий. Упорное нежелание большинства середняков идти в колхоз, несмотря на огромные преимущества колхозного хозяйства, было ему непонятно. К познанию многих людей и их взаимоотношений не мог он подобрать ключа. Титок — вчерашний партизан и нынешний кулак и враг. Тимофей Борщев — бедняк, открыто ставший на защиту кулака. Островнов — культурный хозяин, сознательно пошедший в колхоз, и настороженно-враждебное отношение к нему Нагульнова. Все гремяченские люди шли перед мысленным взором Давыдова... И многое в них было для него непонятно, закрыто какой-то неощутимой, невидимой завесой. Хутор был для него — как сложный мотор новой конструкции, и Давыдов внимательно и напряженно пытался познать его, изучить, прощупать каждую деталь, слышать каждый перебой в каждодневном неустанном, напряженном биении этой мудреной машины...

Загадочное убийство бедняка Хопрова и его жены натолкнуло его на догадку о том, что какая-то скрытая пружина действует в этой машине. Он смутно догадывался, что в смерти Хопрова есть причинная связь с коллективизацией, с новым, бурно ломившимся в подгнившие стены раздробленного хозяйства. Наутро, когда были обнаружены трупы Хопрова и его жены, он долго говорил с Размётновым и Нагульновым. Те тоже терялись в догадках и предположениях. Хопров был бедняк, в прошлом — белый, к общественной жизни пассивный, каким-то боком прислонявшийся к кулаку Лапшину. Высказанное кем-то предположение, что убили с целью грабежа, было явно нелепо, так как ничего из имущества не было взято, да у Хопрова и брать было нечего. Размётнов отмахнулся:

— Должно, обидел кого-нибудь по бабьей части. Чью-нибудь чужую жену подержал в руках, вот и решили его жизни.

Нагульнов молчал, он не любил говорить непродуманно. Но когда Давыдов высказал догадку, что к убийству причастен кто-либо из кулаков, и предложил срочно произвести выселение из хутора, Нагульнов его решительно поддержал:

— Из ихнего стану стукнули Хопрова, без разговоров! Выселить гадов в холодные края!

Размётнов посмеивался, пожимал плечами:

— Выселить их надо, слов нет. Они мешают народу

в колхоз вступать. Но только Хопров не через них пострадал. Он к ним не причастный. Оно-то верно, он прислонялся к Лапшинову, постоянно работал у него, да ить это же, небось, не от сытости? Нуждишка придавливала, вот и прибивался к Лапшинову. Нельзя же всякое дело на кулаков валить, не чудите, братцы! Нет, тут бабье дело, как хотите!

Из района приехали следователь и врач. Трупы убитых вскрыли, допросили соседей Хопрова и Лапшинова. Но следователю так и не удалось заполучить нити, ведущей к раскрытию участников и причин убийства. На другой день, 4 февраля, общее собрание колхозников единогласно вынесло постановление о выселении из пределов Северо-Кавказского края кулацких семей. Собранием утверждено было избранное уполномоченными правление колхоза, в состав которого вошли Яков Лукич Островнов (кандидатуру его ревностно поддерживали Давыдов и Размётнов, несмотря на возражения Нагульнова), Павел Любишкин, Демка Ушаков, с трудом прошел Аркашка Менок, пятым дружно, без споров, избрали Давыдова. Этому способствовала полученная накануне из райполеводсоюза бумажка, в которой писалось, что райпартком, по согласованию с райполеводсоюзом, выдвигает на должность председателя правления колхоза уполномоченного райпарткома, двадцатипятитысячника товарища Давыдова.

* * *

Давыдов все еще жил у Нагульновых. Спал на сундуке, отгороженном от их супружеской кровати невысокой ситцевой занавеской. В первой комнате помещалась хозяйка — бездетная вдова. Давыдов сознавал, что стесняет Макара, но за суетой и тревогой первых дней как-то не было времени подыскать квартиру. Лушка, жена Нагульнова, была с Давыдовым неизменно приветлива, но, несмотря на это, он после того случайного разговора с Макаром, когда тот открыл ему, что жена живет с Тимофеем Рваным, относился к ней с плохо скрываемой неприязнью, тяготился своим временным пребыванием у них. По утрам Давыдов, не вступая в разговор, часто искоса посматривал на Лушку. На вид ей было не больше двадцати пяти лет. Мелкие веснушки густо крыли ее продолговатые щеки, пестрым лицом она напоминала сорочье яйцо. Но какая-то приманчивая и нечистая красота была в ее дегтярно-чер-

ных глазах, во всей сухощавой статной фигуре. Круглые ласковые брови ее всегда были чуточку приподняты, казалось, что постоянно ждет она что-то радостное; яркие губы в уголках наизготове держали улыбку, не покрывая плотно слитой подковы выпуклых зубов. Она и ходила-то, так шевеля покатыми плечами, словно ждала, что вот-вот кто-нибудь сзади прижмет ее, обнимет ее девичье узкое плечо. Одевалась, как все гремяченские казачки, была, может быть, немного чистоплотней.

Как-то рано утром Давыдов, надевая ботинки, услышал голос Макара из-за перегородки:

— У меня в полушубке в кармане резинки. Ты, что ли, заказывала Семену? Он вчера приехал из станицы, велел тебе передать.

— Макарушка, взаправди? — Голос Лушки, теплый спросонок, дрогнул радостью...

Она в одной рубахе прыгнула с кровати к висевшему на гвозде мужнину полушубку, вытащила из кармана не круглые, стягивающие икры резинки, а городские, с поясом, обшитые голубым. Давыдов видел ее, отраженную зеркалом: она стояла, примеряя на своей сухого литья ноге покупку, вытянув мальчишескую худую шею. Давыдов в зеркале видел излучины улыбки у ее вспыхнувших глаз, негустой румянец на веснушчатых щеках. Любуясь туго охватившим ногу черным чулком, она повернулась лицом к Давыдову, в разрезе рубахи дрогнули ее смуглые твердые груди, торчавшие как у козы, вниз и врозь, и она тотчас же увидела его через занавеску, левой рукой медленно стянула ворот и, не отворачиваясь, щуря глаза, тягуче улыбалась. «Смотри, какая я красивая!» — говорили ее несмущающиеся глаза.

Давыдов грохнулся на заскрипевший сундук, побагровел, пятерней откинул со лба глянцевито-черные пряди волос: «Черт знает! Еще подумает, что я подсматривал... дернуло меня вставать! Еще взбредет ей, что я интересуюсь...»

— Ты хоть при чужом человеке телешом-то не ходи,— недовольно бормотнул Макар, услышав, как Давыдов смущенно кряхтит.

— Ему не видно.

— Нет, видно.

Давыдов кашлянул за перегородкой.

— А видно, так и смотрите на доброе здоровье,— равнодушно сказала она, через голову надевая юбку.— Чужих, Макарушка, нету. Нынче чужой, а завтра,

ежели захочу, мой будет,— засмеялась и с разбегу кинулась на кровать.— Ты у меня смирненький! Тпру-жень! Тпруженюшка! Телочек!..

* * *

После завтрака, едва лишь вышли за ворота, Давыдов рубанул:

— Дрянь у тебя баба!

— Тебя это не касается...— ответил Нагульнов тихо, не глядя на Давыдова.

— Тебя зато касается! Я сегодня же перехожу на квартиру, мне смотреть тошно! Такой ты парень — что надо, а с нею миндали разводишь! Сам же говорил, что она живет с Рваным.

— Бить ее, что ли?

— Не бить, а воздействовать! Но я тебе прямо скажу: вот я коммунист, но на это у меня нервы тонкие, я побил бы и выгнал к черту! А тебя она дискредитирует перед массой, и ты молчишь. Где она пропадает всю ночь? Мы с собрания приходим, а ее все нет! Я не вмешиваюсь во внутренние ваши дела...

— Ты женатый?

— Нет. А вот на твою семью посмотрел — теперь до гроба не женюсь.

— У тебя на бабу вид, как на собственность.

— Э, черт тебя! Анархист кривобокий! Собственность, собственность! Она же еще существует? Чего же ты ее отменяешь? Семья-то существует? А ты... На твою бабу лезут... разврат заводишь, терпимость веры. Я об этом на ячейке поставлю!.. С твоего образа пример крестьянин должен снимать. Хорош был бы пример!

— Ну, я ее убью!

— Здравствуйте!

— Ну, ты вот чего... зараз в это дело не лезь...— останавливаясь среди улицы, попросил Макар.— Я сам с этим разберусь, зараз не до этого. Ежели б это вчера началось, а то я уж обтерпелся... погожу чудок, потом... Сердцем к ней присох... А то бы давно... Ты куда идешь, в Совет? — перевел он разговор.

— Нет, хочу зайти к Островнову. Охота мне с ним в его домашнем производстве поговорить. Он умный мужик. Я хочу его завхозом устроить. Как ты думаешь? Хозяин нужен, чтобы у него колхозная копейка рублем звенела. Островнов, как видно, такой.

Нагульнов махнул рукой, осердился.

— Опять за рыбу деньги! Дался вам с Андреем Островнов! Он колхозу нужен, как архиерею это самое... Я — против. Я добьюсь его исключения из колхоза! Два года платил сельхозналог с процентной надбавкой, зажиточный, гад, до войны жил кулаком, а мы его выдвигать?

— Он — культурный хозяин! Я что же, по-твоему, кулака охраняю?

— Ежели б ему крылышки не резали, он давно бы в кулаки влетел!

Они разошлись, не договорившись, крепко недовольные друг другом

ГЛАВА XIV

Февраль...

Жмут, корежат землю холода. В белом морозном накале встает солнце. Там, где ветры слизали снег, земля по ночам гулко лопается. Курганы в степи — как переспелые арбузы — в змеистых трещинах. За хутором возле зяблевой пахоты снежные наносы слепяще, нестерпимо блещут. Тополя над речкой все серебряного чекана. Из труб куреней по утрам строевым лесом высятся прямые оранжевые стволы дыма. А на гумнах от мороза пшеничная солома духовитей пахнет лазоревым августом, горячим дыханьем суховея, летним небом...

На холодных базах до утра скитаются быки и коровы. К заре в яслях не найдешь ни одной бурьянной былки объедьев. Ягнят и козлят зимнего окота уже не оставляют на базах. Сонные бабы по ночам выносят их к матерям, а потом опять несут в подолах в угарное тепло куреней, и от козлят, от курчавой их шерсти первозданно, нежнейше пахнет морозным воздухом, разнотравьем сена, сладким козьим молоком. Снег под настом — ядреная, зернистая, хрупающая соль. Полночь так тиха, так выморочно студеное небо в зыбкой россыпи многозвездья, что кажется — мир покинут живым. В голубой степи снежной целиной пройдет волк. На снегу не лягут отпечатки лапных подушек, а там, где когти вырвут обледеневший комочек наста, останется искрящаяся царапина — жемчужный след.

Ночью, если тихо заржет жеребая кобыла, чувствуя, как в черном, атласном вымени ее приливает молоко, ржанье слышно окрест на много верст.

Февраль...

Предрассветная синяя тишина.

Меркнет пустынный Млечный Путь.

В темных окнах хат багрово полыхающие зарева огней: отсвет топящихся печек.

На речке под пешней хрупко позванивает лед.

Февраль...

* * *

Еще до света Яков Лукич разбудил сына и баб. Затопили печь. Сын Якова Лукича, Семен, на бруске отточил ножи. Есаул Половцев старательно обвернул портянками шерстяные чулки на ногах, надел валенки. Вместе с Семеном пошли на овечий баз. У Якова Лукича — семнадцать овец и две козы. Семен знает, какая овца окотная, у какой уже есть ягнята. Он ловит, на ощупь выбирает валухов, баранов, ярок, вталкивает в теплый катух. Половцев, сдвинув на лоб белую папаху, хватает валуха за холодную рубчатую извилину закрученного рога, валит на землю и, ложась грудью на распластанного валуха, задирает ему голову, ножом режет горло, отворяет черную ручьистую кровь.

Яков Лукич хозяйственный человек. Он не хочет, чтобы мясом его овец питался где-то в фабричной столовой рабочий или красноармеец. Они — советские, а Советская власть обижала Якова Лукича налогами и поборами десять лет, не давала возможности круто повести хозяйство, зажить богато — сытней сытого. Советская власть Якову Лукичу и он ей — враги, крест-накрест. Яков Лукич, как ребенок к огоньку, всю жизнь тянулся к богатству. До революции начал крепнуть, думал сына учить в новочеркасском юнкерском училище, думал купить маслобойку и уже скопил было деньжат, думал возле себя кормить человек трех работников (тогда, бывало, даже сердце радостно замирало от сказочного, что сулила жизнь!), думалось ему, открыв торговлишку, перекупить у неудачного помещика — войскового старшины Жорова — его полузаброшенную вальцовку... В думках тогда видел себя Яков Лукич не в шароварах из чертовой кожи, а в чесучовой паре, с золотой цепочкой поперек живота, не с мозолистыми, а с мягкими и белыми руками, с которых, как змеиная шкурка-выползень, слезут черные от грязи ногти. Сын вышел бы в полковники и женился на образованной барышне, и однажды Яков Лукич подкатил бы за ним к

станции не на бричке, а на собственном автомобиле, таком, как у помещика Новопавлова... Эх, да мало ли что снилось наяву Якову Лукичу в те незабываемые времена, когда жизнь сияла и хрустела у него в руках, как радужная екатериновка! Революция дохнула холодом невиданных потрясений, шатнулась земля под ногами Якова Лукича, но он не растерялся. Со всей присущей ему трезвостью и хитрецой издали успел разглядеть надвигавшееся безвременье и быстро, незаметно для соседей и хуторян, спустил нажитое... Продал паровой двигатель, купленный в 1916 году, зарыл в кубышке тридцать золотых десяток и кожаную сумку серебра, продал лишнюю скотину, свернул посев. Подготовился. И революция, война, фронты прошли над ним, как степовой вихрь над травой: погнуть — погнул, а чтобы сломать или искалечить — этого не было. В бурю лишь тополя да дубы ломает и выворачивает с корнем, бурьян-железняк только земно клонится, стелется, а потом снова встает. Но вот «встать»-то Якову Лукичу и не пришлось! Потому-то он и против Советской власти, потому он и жил скучно, как выхолощенный бугай: ни тебе созидания, ни пьяной радости от него, потому-то теперь ему Половцев и ближе жены, роднее родного сына. Или с ним, чтобы вернуть ту жизнь, что прежде сияла и хрустела радужной сторублевкой, или и эту кинуть! Поэтому и режет четырнадцать штук овец Яков Лукич — член правления гремяченского колхоза. «Лучше выкинуть овечьи тушки вот этому черному кобелю, который у ног есаула Половцева жадно лижет дымящуюся овечью кровь, чем пустить овец в колхозный гурт, чтобы они жирели и плодились на прокорм вражеской власти! — думает Яков Лукич.— И правильно говорил ученый есаул Половцев: «Надо резать скот! Надо рвать из-под большевиков землю. Пусть дохнут быки от недосмотра, быков мы еще наживем, когда захватим власть! Быков нам из Америки и Швеции будут присылать. Голодом, разрухой, восстанием их задушим! А о кобыле не жалей, Яков Лукич! Это хорошо, что лошади обобществлены. Это нам удобно и выгодно... Когда восстанем и будем занимать хутора, лошадей проще будет вывести из общих конюшен и заседлать, нежели бегать из двора во двор искать их». Золотые слова! Голова у есаула Половцева так же надежно служит, как и руки...»

Яков Лукич постоял у сарая, посмотрел, как Половцев и Семен орудуют, обдирая подвешенные к перерубу тушки. Фонарь «летучая мышь» ярко освещал белый отóнок овчины. Свежевать было легко. Посмотрел Яков Лукич на

тушку, висевшую перерезанной шеей вниз, с завернутой, спущенной до синего пуза овчиной, глянул на валяющуюся возле корыта черную овечью голову и вздрогнул, как от удара под колени,— побледнел.

В желтом овечьем глазе с огромным, еще не потускневшим зрачком — смертный ужас. Вспомнилась Якову Лукичу жена Хопрова, ее косноязычный, страшный шепот: «Куманек!.. Родненький! За что?» Яков Лукич с отвращением глянул на овечью лилово-розовую тушу, на ее оголенные долевые пучки и связки мускулов. Острый запах крови, как тогда, вызвал припадок тошноты, заставил качнуться. Яков Лукич заспешил из сарая.

— Мяса душа не примает... Господи!.. И на дух не надо.

— За каким дьяволом приходил? Без тебя управимся, тонкошкурый! — улыбнулся Половцев и окровененными пальцами, провонявшими овечьим салом, стал сворачивать цигарку.

К завтраку насилу управились. Освежеванные тушки развесили в амбаре. Бабы перетопили курдюки. Половцев затворился в горенке (днем он безвылазно находился там). Ему принесли свежих щей с бараниной, вышкварок из курдюка. Едва лишь сноха вынесла от него пустую миску, как на базу скрипнула калитка.

— Батя! Давыдов к нам,— крикнул Семен, первый увидев входившего на баз Давыдова.

Яков Лукич стал белее отсевной муки. А Давыдов уже обметал веником в сенцах ботинки, гулко кашлял, шел, уверенно, твердо переставляя ноги.

«Пропал! — думал Яков Лукич.— Ходит-то, сукин сын! Будто всей земле хозяин! Будто по своему куреню идет! Ох, пропал! Небось, за Никиту рестовать, дознался, вражина».

Стук в дверь, сильный тенорок:

— Разрешите войти?

— Входите.— Яков Лукич хотел сказать громко, но голос съехал на шепот.

Давыдов постоял и отворил дверь. Яков Лукич не встал из-за стола (не мог! и даже дрожащие, обессилевшие ноги поднял, чтобы не слышно было, как каблуки чириков дробно выстукивают по полу).

— Здравствуй, хозяин!

— Здравствуйте, товарищ! — в один голос ответили Яков Лукич и его жена.

— Мороз на дворе...

Да, морозно.

— Рожь не вымерзнет, как думаешь? — Давыдов полез в карман, достал черный, как прах, платочек; хороня его в кулаке, высморкался.

— Проходите, товарищ, садитесь,— приглашал Яков Лукич.

«Чего он испугался, чудак?» — удивился Давыдов, заметивший, как побледнел хозяин, как губы его едва шевелились, объятые дрожью.

— Так как рожь-то?

— Нет, не должно бы... снегом ее прихоронило... Может, там прихватит, где сдуло снежок.

«Начинает с жита, а зараз, небось, скажет: «Ну, собирайся!» Может, про Половцева кто донес? Обыск?» — думал Яков Лукич. Он понемногу оправлялся от испуга, к лицу разом прихлынула кровь, из пор выступил пот, покатился по лбу, на седоватые усы, на колючий подбородок.

— Гостем будете, проходите в горницу.

— Я зашел потолковать с тобой. Как имя - отчество-то?

— Яков, сын Лукин.

— Яков Лукич? Так вот, Яков Лукич, ты очень хорошо, толково говорил на собрании о колхозе. Конечно, ты прав, что колхозу нужна и сложная машина. Вот насчет организации труда ты ошибнулся, факт! Думаем тебя заведующим хозяйством выдвинуть. Я о тебе слышал как о культурном хозяине...

— Да вы проходите, дорогой товарищ! Гаша, постанови самоварчик. Али вы, может, щец похлебаете? Али арбуз соленый разрезать? Проходите, дорогой гость наш! К новой жизни нас...— Яков Лукич захлебнулся от радости, с плеч у него будто гору сняли.— Культурно хозяйствовал, верно вы сказали. Темных наших от дедовской привычки хотел отворотить... Как пашут! Грабют землю! Похвальный лист от окружного ЗУ имею. Семен! Принеси похвальный лист, что в рамку заведенный. Да мы и сами пройдем, не надо.

Яков Лукич повел гостя в горницу, неприметно мигнув Семену. Тот понял, вышел в коридор замкнуть горенку, где отсиживался Половцев, заглянул туда и испугался: горенка пустовала. Семен сунулся в зал. Половцев в одних шерстяных чулках стоял возле двери в горницу. Он сделал знак, чтобы Семен вышел, приложил к двери хрящеватое, торчмя, как у хищного зверя, поставленное ухо. «Бесстрашный, черт!» — подумал Семен, выходя из зала.

Зимой большой холодный зал в островновском курене был нежилым. На крашеном полу в одном из углов из года в год ссыпали конопляное семя. Рядом с дверью стояла

кадушка с мочеными яблоками. Половцев присел на край кадушки. Ему было слышно каждое слово разговора. В запушенные изморозью окна точился розовый сумеречный свет. У Половцева зябли ноги, но он сидел, не шевелясь, с щемящей ненавистью вслушиваясь в осипший тенорок врага, отделенного от него одною дверью. «Охрип, собака, на своих митингах! Я бы тебя... Ах, если бы можно было сейчас!» — Половцев прижимал к груди набухавшие отечной кровью кулаки, ногти вонзались в ладони.

За дверью:

— Я вам так скажу, дорогой наш руководитель колхоза: негоже нам хозяйствовать по-старому! Взять хучь бы жито. Через чего вымерзает и приходится на десятину, это красно, ежели пудов двадцать, а то и семена не выручают многие? А у меня — завсегда не проломишься меж колосу. Бывало, выеду, оседламши, на своей кобылке и поверх луки колосья связываю. Да и колос — на ладони не уляжется. Все это через то, что снег придерживал, землю поил. Иной гражданин подсолнух режет под корень — жадует: все, мол, на топку сгодится. Ему, сукину сыну, на базу кизяк летом нарезать некогда, лень вперед него родилась, залипает ему, а того не разумеет, что будылья, ежели резать одни шляпки на подсолнухе, будут снег держать, промеж них ветер не разгуляется, снег не унесет в яры. На весну такая земля лучше самой глубокой зяби. А не держи снег, он потает зря, жировой водой сольет, и нету от него ни человеку, ни землице пользы.

— Это, конечно, верно.

— Мне, товарищ Давыдов, наша кормилица, Советская власть, не зря похвальный лист преподнесла! Я знаю, что и к чему. Оно и агрономы кое в чем прошибаются, но много и верного в ихней учености. Вот, к примеру, выписывал я агрономовский журнал, и в нем один дюже грамотный человек, из этих, какие студентов обучают, писал, что, мол, жито даже не мерзнет, а гибнет через то, что голая земля, на какой нету снежной одежины, лопается и вместе с собой рвет коренья.

— А, это интересно! Я не слышал про это.

— И верно он пишет. Согласуюсь с ним. Даже сам для проверки спытывал. Вырою и гляжу: махонькие и тонкие, как волоски, присоски на корню, самое какими проращенное зерно из земли черную кровь тянет, кормится через какие,— лопнутые, порватые. Нечем кормиться зерну, оно и погибнет. Человеку жилы перережь — не будет же он на свете жить? Так и зерно.

— Да, Яков Лукич, это ты фактически говоришь. Надо снег держать. Ты мне дай эти агрономические журналы почитать.

«Тебе не пригодится! Не успеешь. Короткая тебе мера отмерена в жизни!» — улыбался Половцев.

— Или вот как на зяби снег держать? Щиты надо. Я уж и щит такой придумал из хвороста... с ярами надо воевать, они у нас земли отымают каждый год больше тыщи десятин.

— Все это верно. Ты вот скажи, как нам лучше помещения для скота утеплить. Чтобы и дешево и сердито получилось, а?

— Базы-то? Это мы все изделаем! Баб надо заставить плетни обмазать — это раз. А нет, так можно промеж двух плетнев сухого помету насыпать...

— Да-а-а... А вот как насчет протравки?

Половцев хотел устроиться на кадушке половчее, но крышка скользнула из-под него, упала с грохотом. Половцев скрипнул зубами, услышав, как Давыдов спросил:

— Что это упало там?

— Должно, кто что-нибудь свалил. Мы там зимой не живем, топки много уходит... Да вот хочу вам показать породную коноплю. Выписанная. Она у нас в энтой зале зимует. Проходите.

Половцев прыжком метнулся к выходу в коридор, дверь, заблаговременно смазанная гусиным жиром, не скрипнула, бесшумно выпустила его...

Давыдов вышел от Якова Лукича с пачкой журналов под мышкой, довольный результатами посещения и еще более убежденный в полезности Островнова. «Вот с такими бы можно в год перевернуть деревню! Умный мужик, дьявол, начитанный. А как он знает хозяйство и землю! Вот это квалификация! Не понимаю, почему Макар на него косится. Факт, что он принесет колхозу огромную пользу!» — думал он, шагая в сельсовет.

ГЛАВА XV

С легкой руки Якова Лукича каждую ночь стали резать в Гремячем скот. Чуть стемнеет, и уже слышно, как где-нибудь приглушенно и коротко заблеет овца, предсмертным визгом просверлит тишину свинья или мыкнёт телка. Резали и вступившие в колхоз и единоличники. Резали быков, овец, свиней, даже коров; резали то, что оставлялось

на завод... В две ночи было ополовинено поголовье рогатого скота в Гремячем. По хутору собаки начали таскать кишки и требушки, мясом наполнились погреба и амбары. За два дня еповский [1] ларек распродал около двухсот пудов соли, полтора года лежавшей на складе. «Режь, теперь оно не наше!», «Режьте, все одно заберут на мясозаготовку!», «Режь, а то в колхозе мясца не придется кусануть!» — полез черный слушок. И резали. Ели невпроворот. Животами болели все, от мала до велика. В обеденное время столы в куренях ломились от вареного и жареного мяса. В обеденное время у каждого — масленый рот, всяк отрыгивает, как на поминках; и от пьяной сытости у всех посоловелые глаза.

Дед Щукарь в числе первых подвалил телку-летошницу. Вдвоем со старухой хотели подвесить ее на переруб, чтобы ловчее было свежевать; мучились долго и понапрасну (тяжела оказалась нагулявшая жиру телка!), старуха даже поясницу свихнула, поднимая задок телушки, и неделю после этого накидывала ей на спину чугунок бабка-лекарка. А дед Щукарь на следующее утро сам настряпал и, то ли от огорчения, что окалечилась старуха, то ли от великой жадности, так употребил за обедом вареной грудинки, что несколько суток после этого с база не шел, мешочных штанов не застегивал и круглые сутки пропадал по великому холоду за сараем, в подсолнухах. Кто мимо Щукаревой полуразваленной хатенки ходил в те дни, видел: торчит, бывало, дедов малахай на огороде, среди подсолнечных будыльев, торчит, не шелохнется; потом и сам дед Щукарь из подсолнухов вдруг окажется, заковыляет к хате, не глядя на проулок, на ходу поддерживая руками незастегнутые штаны. Измученной походкой, еле волоча ноги, дойдет до воротцев и вдруг, будто вспомнив что-то неотложное, повернется, дробной рысью ударится опять в подсолнухи. И снова недвижно и важно торчит из будыльев дедов малахай. А мороз давит. А ветер пушит на огороде поземкой, наметая вокруг деда стоячие острокрышие сугробы...

Размётнов на вторые сутки, к вечеру, как только узнал о том, что убой скота принял массовый характер, прибежал к Давыдову.

— Сидишь?

— Читаю.— Давыдов завернул страницу небольшой желтоватой книжки, раздумчиво улыбнулся.— Вот, брат,

[1] Е П О — единое потребительское общество.

книжка,— дух захватывает! — засмеялся, ощеряя щербатый рот, раскинув куцые сильные руки.

— Ро́маны читаешь! Либо песенник какой. А в хуторе...

— Дура! Дура! Ро́маны! Какие там песенники! — Давыдов, похохатывая, усадил Андрея на табурет против себя, ткнул в руки книжку.— Это же доклад Андреева на ростовском партактиве. Это, брат, десять романов стоит! Факт! Начал читать и вот шамануть забыл, зачитался. Э, черт, досадно... Теперь все, наверно, застыло.— На смугловатое лицо Давыдова пали досада и огорчение. Он встал, уныло подсмыкнул короткие штаны; сунув руки в карманы, пошел в кухню.

— Ты меня-то будешь слухать? — ожесточаясь, спросил Размётнов.

— А то как же! Конечно, буду. Сейчас.

Давыдов принес из кухни глиняную чашку с холодными щами, сел. Он сразу откусил огромный кус хлеба, прожевывая, гонял по-над розоватыми скулами желваки, молча уставился на Размётнова устало прижмуренными серыми глазами. На щах сверху застыли оранжевые блестки-круговины говяжьего жира, красным пламенем посвечивал плавающий стручок горчицы [1].

— С мясом щи? — ехидно вопросил Андрей, указывая на чашку обкуренным пальцем.

Давыдов, давясь и напряженно улыбаясь, довольно качнул головой.

— А откуда мясцо?

— Не знаю. А что?

— А то, что половину скотины перерезали в хуторе.

— Кто? — Давыдов повертел ломоть хлеба и отодвинул его.

— Черти! — Шрам на лбу Размётнова побагровел.— Председатель колхоза! Гиганту строишь! Твои же колхозники режут, вот кто! И единоличники. Перебесились! Режут наповал все, и даже, сказать, быков режут!

— Вот у тебя привычка... орать, как на митинге...— принимаясь за щи, досадливо сказал Давыдов.— Ты мне спокойно и толком расскажи, кто режет, почему.

— А я знаю — почему?

— А ты всегда с ревом, с криком... Глаза закрыть — и вот он, родненький, семнадцатый годок.

— Небось заревешь!

Размётнов рассказал, что́ знал, о начавшемся убое

---

[1] Горчицей на Дону называют красный перец.

скота. Под конец Давыдов ел, почти не прожевывая, шутливость как рукой с него сняло, около глаз собрались расщепы морщин, и лицо как-то словно постарело.

— Сейчас же иди и созывай общее собрание. Нагульнова... А впрочем, я сам зайду к нему.

— Чего созывать-то?

— Как чего? Запретим резать скот! Из колхоза будем гнать и судить. Это же страшно важно, факт! Это опять кулак нам палку в колеса! Ну, на — закуривай и валяй... Да, кстати, я и забыл похвалиться.

По лицу Давыдова побежала, тепля глаза, счастливая улыбка, радости он не мог скрыть, как ни пробовал сурово ежить губы.

— Получил я сегодня посылку из Ленинграда... Да, посылочку от ребят...— Он нагнулся, вытащил из-под кровати ящик и, багровый от удовольствия, поднял крышку.

В ящике беспорядочно лежали пачки папирос, коробка печенья, книги, деревянный с резьбой портсигар, еще что-то в пакетиках и свертках.

— Товарищи вспомнили, прислали вот... Это, брат, наши папироски, ленинградские... Даже вот, видишь, шоколад, а на кой он мне? Надо чьей-нибудь детворе... Ну, да тут важен факт, а не это. Верно? Главное — вспомнили, прислали, и письмо вот есть...

Голос Давыдова был необычно мягок; таким растерянно-счастливым Андрей видел товарища Давыдова впервые. Волнение его, неведомо как, передалось и Размётнову. Желая сказать приятное, он буркнул:

— Ну и хорошо. Ты — парень славный, вот, стало быть, и послали. Тут, гляди, не на один рубль добра наложено.

— Дело не в этом! Ты же понимаешь, я, черт его подери, вроде безродного: ни жены, никого, факт! А тут — хлоп, и вот она, посылка. Трогательный факт... В письме, смотри, сколько подписей.— Давыдов в одной руке протягивал коробку папирос, в другой держал письмо, испещренное многочисленными подписями. Руки его дрожали.

Размётнов закурил ленинградскую папиросу, спросил:

— Ну, как ты доволен новой квартирой? Хозяйка — ничего? Насчет стирки как устроился? Ты либо матери, что ли, принес бы постирать, а? Или с хозяйкой договорился бы... Рубашка на тебе — шашкой не прорубишь, и по́том разит, как от морёного коня.

Давыдов порозовел, вспыхнул.

— Да, есть такое дело... У Нагульнова жил, как-то неудобно там... Что зашить — это я сам, и стирал как-то

тоже сам. А так вообще я еще с приезда не мылся, это факт. И фуфайка тоже... Мыла тут нет в ларьке, просил уже хозяйку, а она говорит: «Мыла дайте». Напишу ребятам, чтобы прислали стирального. А квартира ничего, детей нет, можно без помехи читать и вообще...

— Так ты принеси матери, она постирает. Ты, пожалуйста, не стесняйся. Она у меня старуха добрая.

— С этим обойдусь, не беспокойся, спасибо. Надо баню сделать для колхоза, вот это да! Устроим, факт! Ну, ступай, организуй собрание.

Размётнов, покурив, ушел. Давыдов бесцельно переложил в посылке пакетики, вздохнул, поправил растянувшийся ворот желто-бурой, загрязнившейся фуфайки и, пригладив черные, зачесанные вверх волосы, стал одеваться.

По пути зашел к Нагульнову. Тот встретил его, хмуря разлатые брови, глядя в сторону.

— Скотину режут... Жалко стало собственности. Такая в мелком буржуе идет смятения — слов не найдешь,— забормотал он, поздоровавшись. И сейчас же строго повернулся к жене: — Ты, Гликерья, выйди зараз же отсель. Посиди трошки у хозяйки, я при тебе гутарить не в силах.

Грустная с виду, Лушка вышла в кухню. Все эти дни, после того как с кулацкими семьями уехал и Тимофей Рваный, она ходила как в воду опущенная. Под опухшими глазами ее — печальная озерная синь; нос и тот заострился, как у неживой. Видно, тяжело пало на сердце расставание с милым. Тогда, на проводах кулаков, уезжавших в студеные полярные края, она открыто, не стыдясь, битый день слонялась возле борщевского двора, поджидая Тимофея. И когда на́-вечер из Гремячего тронулись подводы с кулацкими семьями и пожитками, она крикнула дурным, кликушеским криком, забилась на снегу. Тимофей было кинулся к ней от подводы, но Фрол Рваный вернул его грозным окликом. Ушел за подводой Тимофей, часто оглядываясь на Гремячий, покусывая белые от жаркой ненависти губы.

Будто листы на тополе, отроптали ласковые Тимофеевы слова,— видно, не слыхать уж больше их Лушке. Как же бабочке не сохнуть от тоски-немочи, как не убиваться! Кто теперь скажет ей, с любовью засматривая в глаза: «Вам эта зеленая юбка до того под стать, Луша! Вы в ней позвончее офицерши старого времени». Иль словами бабьей песенки: «Ты прости-прощай, красавица. Красота твоя мне очень

нравится». Только Тимофей мог лестью и сердечным бесстыдством ворохнуть Лушкину душеньку.

Мужа она с того дня вовсе зачужалась. А Макар тогда говорил спокойно, веско и необычайно много:

— Живи у меня остатние деньки, доживай. А потом собирай свои огарки, резинки и склянки с помадой и жарь куда хошь. Я, любя тебя, много стыдобы перетерпел, а зараз разорвало мое терпенье! С кулацким сыном путалась — я молчал. А уж ежели ты при всем колхозном сознательном народе по нем в слезы ударилась, нету больше моего терпенья! Я, девка, с тобой не то что до мировой революции не дотяну, а вовсе могу с катушек долой. Ты мне в жизни — лишний вьюк на горбу. Скидаю я этот вьюк! Поняла?

— Поняла,— ответила Лушка и притихла.

Вечером тогда был у Давыдова с Макаром сокровенный разговор.

— Обмарала тебя баба в доску! Как ты теперь будешь перед колхозной массой глазами моргать, Нагульнов?

— Ты опять за старое...

— Колода ты! Сычуг бычий! — У Давыдова шея багровела, вспухали жилы на лбу.

— С тобою как говорить-то? — Нагульнов ходил по комнате, похрустывал пальцами, тихо, с лукавинкой улыбался.— Чуть не туда скажешь, и ты зараз же на крюк цепляешь: «Анархист! Уклонщик!» Ты знаешь, как я на бабу взглядываю и через какую надобность терпел такое смывание? Я уж тебе, никак, говорил, у меня не об ней думки. Ты об овечьем курюке думал что-нибудь?

— Не-е-ет...— ошарашенный неожиданным оборотом Макаровой речи, протянул Давыдов.

— А вот я думал: к чему бы овце курюк, приваренный от природы? Кажись, не к чему. Ну, конь али кобель — энти хвостом мух отгоняют. А овце навесили восемь фунтов жиру, она и трясет им, мухи отогнать не может, жарко ей летом от курюка, орепьи за него хватаются...

— При чем тут курюк, хвосты разные? — Давыдов начинал тихо злиться.

Но Нагульнов невозмутимо продолжал:

— Это ей приделано, по-моему, чтобы стыд закрыть. Неудобно, а куда же на ее месте денешься? Вот и мне баба, жена то есть, нужна, как овце курюк. Я весь заостренный на мировую революцию. Я ее, любушку, жду... А баба мне — тьфу, и больше ничего. Баба так, между прочим. Без ней тоже нельзя, стыд-то надо прикрыть... Мужчина я в самом прыску, хучь и хворый, а между делом могу и соответ-

ствовать. Ежели она у меня на передок слабая, да прах ее дери! Я ей так и сказал: «Ветрийся, ежели нужду имеешь, но гляди, в подоле не принеси или хворости не захвати, а то голову набок сверну!» А вот ты, товарищ Давыдов, ничего этого не понимаешь. Ты — как железный аршин-складень. И к революции не так ты прислухаешься... Ну, чего ты меня за бабий грех шпыняешь? У ней и для меня хватит, а вот что с кулаком связалась и кричала по нем, по классовой вражине, за это она — гада, и я ее — что не видно — сгоню с базу. Бить же я ее не в сила́х. Я в новую жизню вступаю и руки поганить не хочу. А вот ты, небось, побил бы, а? А тогда какая же будет разница между тобой, коммунистом, и, скажем, прошедшим человеком, каким-нибудь чиновником? Энти завсегда жен били. То-то и оно! Нет, брат, ты перестань со мной об Лушке гутарить. Я сам с ней рассчитаюсь, ты в этом деле лишний. Баба — это дело дюже сурьезное! От нее многое зависает.— Нагульнов мечтательно улыбнулся и с жаром продолжал: — Вот как поломаем все границы, я первый шумну: «Валяйте, женитесь на инакокровных!» Все посмешаются, и не будет на белом свете такой срамоты, что один телом белый, другой желтый, а третий черный, и белые других цветом ихней кожи попрекают и считают ниже себя. Все будут личиками приятно смуглявые, и все одинаковые. Я и об этом иной раз ночами думаю...

— Живешь ты как во сне, Макар! — недовольно сказал Давыдов.— Многое мне в тебе непонятное. Расовая рознь — это так, а вот остальное... В вопросах быта я с тобой не согласен. Ну, да черт с тобой! Только я у тебя больше не живу. Факт!

Давыдов вытащил из-под стола чемодан (глухо загремели в нем бездельно провалявшиеся инструменты), вышел. Нагульнов проводил его на новую квартиру, к бездетному колхознику Филимонову. Тогда всю дорогу до филимоновского база они проговорили о посеве, но вопросов семьи и быта больше уже не касались. Еще ощутимее стал холодок в их взаимоотношениях с той поры...

Вот и на этот раз Нагульнов встретил Давыдова, все как-то посматривая вкось и вниз, но после того, как Лушка вышла, заговорил оживленнее:

— Режут скотину, гады! Готовы в три горла жрать, лишь бы в колхоз не сдавать. Я вот что предлагаю: нынче же вынести собранием ходатайство, чтобы злостных резаков расстрелять!

— Что-о-о?

— Расстрелять, говорю. Перед кем это надо хлопотать об расстреле? Народный суд не сможет, а? А вот как шлепнули бы парочку таких, какие стельных коров порезали, остальные, небось, поочухались бы! Теперь надо со всей строгостью.

Давыдов кинул на сундук кепку, зашагал по комнате. В его голосе были недовольство и раздумье:

— Вот опять ты загинаешь... Беда с тобой, Макар! Ну, ты подумай: разве можно за убой коровы расстреливать? И законов таких нет, факт! Было Постановление ЦИК и Совнаркома, и на этот счет там прямо сказано: на два года посадить, лишить земли можно, злостных выселять из края, а ты — ходатайствовать об расстреле. Ну, право, ты какой-то...

— Какой-то! Никакой я! Ты все примеряешься да плануешь. А на чем будем сеять? На каком... ежели не вступившие в колхоз быков перережут?

Макар подошел к Давыдову вплотную, положил ладони на его широкие плечи. Он был почти на голову выше Давыдова; посматривая на него сверху, заговорил:

— Сёма! Жаль ты моя! Чего у тебя мозга такая ленивая? — и почти закричал: — Ить пропадем мы, ежели с посевом не управимся! Неужели не понимаешь? Надо беспременно расстрелять двоих-троих гадов за скотину! Кулаков надо расстрелять! Ихние дела! Просить надо высшие властя!

— Дурак!

— Вот опять я вышел дурак...— Нагульнов понуро опустил голову и тотчас же вскинул ее, как конь, почувствовавший шенкеля; загремел: — Всё порежут! Время подошло позиционное, как в гражданскую войну, враг кругом ломится, а ты! Загубите вы, такие-то, мировую революцию!.. Не приспеет она через вас, тугодумщиков! Там кругом буржуи рабочий народ истязают, красных китайцев в дым уничтожают, всяких черных побивают, а ты с врагами тут нежничаешь! Совестно! Стыдоба великая! В сердце кровя сохнут, как вздумаешь о наших родных братьях, над какими за границами буржуи измываются. Я газеты через это самое не могу читать!.. У меня от газетов все в нутре переворачивается! А ты... Как ты думаешь о родных братах, каких враги в тюрьмах гноят! Не жалеешь ты их!..

Давыдов страшно засопел, взъерошил пятерней маслено-черные волосы.

— Черт тебя! Как так не жалеешь? Факт. И не ори,

пожалуйста! Сам псих и других такими делаешь! Я в войну ради Лушкиных глаз, что ли, с контрой расправлялся? Чего ты предлагаешь? Опомнись! Нет речи о расстреле! Ты бы лучше массовую работу вел, разъяснял нашу политику, а расстрелять — это просто! И вот ты всегда так! Чуть неустойка, и ты сейчас падаешь в крайность, факт! А где ты был до этого?

— Там же, где и ты!

— В том-то и факт! Проморгали все мы эту кампанию, а теперь надо исправлять, не о расстрелах говорить! Хватит тебе истерики закатывать! Работать берись! Барышня, черт! Хуже барышни, у которой ногти крашеные!

— У меня они кровью крашенные!

— У всех так, кто без перчаток воевал, факт!

— Семен, как ты могешь меня барышней прозывать?

— Это к слову.

— Возьми это слово обратно,— тихо попросил Нагульнов.

Давыдов молча посмотрел на него, засмеялся.

— Беру. Ты успокойся, и пойдем на собрание. Надо здорово агитнуть против убоя!

— Я вчера целый день по дворам шлялся, уговаривал.

— Это — хороший метод. Надо пройтись еще, да всем нам.

— Вот опять ты... Я вчера только с базу выхожу, думаю: «Ну, кажись, уговорил!» Выйду и слышу: «куви-и-и, куви-и-и!» — подсвинок какой-нибудь уж под ножом визжит. А я гаду-собственнику до этого час говорил про мировую революцию и коммунизм! Да как говорил-то! Ажник самого до скольких разов слеза прошибала от трогательности. Нет, не уговаривать их надо, а бить по головам да приговаривать: «Не слухай кулака, вредный гад! Не учись у него собственности! Не режь, подлюга, скотину!» Он думает, что он быка режет, а на самом деле он мировой революции нож в спину сажает!

— Кого бить, а кого и учить,— упорствовал Давыдов.

Они вышли на баз. Порошила мокрая метель. Липкие снежные хлопья крыли застарелый снег, таяли на крышах. В аспидной темени добрались до школы. На собрание пришла только половина гремяченцев. Размётнов прочитал Постановление ЦИК и Совнаркома «О мерах борьбы с хищническим убоем скота», потом держал речь Давыдов. В конце он прямо поставил вопрос:

— У нас есть, граждане, двадцать шесть заявлений о вступлении в колхоз. Завтра на собрании будем разбирать

их, и того, кто поддался на кулацкую удочку и порезал скот перед тем, как вступить в колхоз, мы не примем, факт!

— А ежели вступившие в колхоз режут молодняк, тогда как? — спросил Любишкин.

— Тех будем исключать!

Собрание ахнуло, глухо загудело.

— Тогда распущайте колхоз! Нету в хуторе такого двора, где бы скотиняки не резали! — крикнул Борщев.

Нагульнов насыпался на него, потрясал кулаками:

— Ты цыц, подкулачник! В колхозные дела не лезь, без тебя управимся! Ты сам не зарезал бычка-третьяка?

— Я своей скотине сам хозяин!

— Вот я тебя завтра приправлю на отсидку, там похозяйствуешь!

— Стрóго дюже! Дюже стрóго устанавливаете! — орал чей-то сиплый голос.

Собрание было хоть и малочисленно, но бурно. Расходясь, хуторцы помалкивали и, только выйдя из школы и разбившись на группы, на ходу стали обмениваться мнениями.

— Черт меня дернул зарезать двух овец! — жаловался Любишкину колхозник Кузженков Семен.— Вы эту мясу теперь из горла вынете...

— Я, парень, сам опаскудился, прирезал козу...— тяжко вздыхал Любишкин.— Теперь моргай перед собранием. Ох, ты, с этой бабой! Втравила в грех, туды ее в голень! «Режь да режь». Мяса ей захотелось! Ах ты анчибел [1] в юбке! Приду зараз и выбью ей бубну!

— Следовает, следовает поучить,— советовал сват Любишкина — престарелый дед Бесхлебнов Аким.— Тебе, сваток, вовсе не ловко, ты ить колхозный член.

— То-то и есть,— вздыхал Любишкин, в темноте смахивая с усов налипшие хлопья снега, спотыкаясь о кочки.

— А ты, дедушка Аким, рябого быка кубыть тоже зарезал? — покашливая, спросил Демка Ушаков, живший с Бесхлебновым по соседству.

— Зарезал, милый. Да и как его не зарезать! Сломал бык ногу, сломал, окаянный, рябой! На погребицу занесла его нечистая сила, провалился в погреб и сломал ногу.

— То-то я на зорьке видел, как ты со снохой хворостинами направляли его на погребицу...

— Что ты? Что ты, Дементий! Окстись! — испугался

---

[1] Анчибел — черт.

дед Аким и даже стал среди проулка, часто моргая в беспросветной ночной темени.

— Пойдем, пойдем, дедок,— успокаивал его Демка.— Ну, чего стал, как врытая соха? Загнал быка-то в погреб...

— Сам зашел, Дементий! Не греши. Ох, грех великий!

— Хитер ты, а не хитрее быка. Бык — энтот языком под хвост достает, а ты, небось, не умеешь так, а? Думал: «Окалечу быка, и взятки гладки»?

Над хутором бесновался влажный ветер. Шумовито гудели над речкой в левадах тополя и вербы. Черная — глаз коли — наволочь крыла хутор. Придушенные сыростью, по проулкам долго звучали голоса. Валил снег. Зима вытряхала последние озимки...

ГЛАВА XVI

С собрания Давыдов пошел с Размётновым. Снег бил густо, мокро. В темноте кое-где поблескивали огоньки. Собачий брех, разорванный порывами ветра, звучал по хутору тоскливо и неумолчно. Давыдов вспомнил рассказ Якова Лукича о снегозадержании, вздохнул: «Нет, в нынешнем году не до этого. А сколько вот в такую метель снегу легло бы на пашнях! Просто жалко даже, факт!»

— Зайдем в конюшню, поглядим на колхозных коней,— предложил Размётнов.

— Давай.

Свернули в проулок. Вскоре показался огонек: возле лапшиновского сенника, приспособленного под конюшню, висел фонарь. Вошли во двор. Около дверей в конюшню, под навесом, стояло человек восемь казаков.

— Кто нынче дневалит? — спросил Размётнов.

Один из стоявших затушил о сапог цигарку, ответил:

— Кондрат Майданников.

— А почему тут народу много? Что вы тут делаете? — поинтересовался Давыдов.

— Так, товарищ Давыдов... Стоим, обчий кур устраиваем...

— Сено вечером привозили с гумна.

— Стали покурить да загутарились. Метель думаем переголить.

В разгороженных станках мерно жуют лошади. Запахи пота, конского кала и мочи смешаны с легким, парящим духом степного полынистого сена. Против каждого станка,

на деревянных рашках [1], висят хомут, шлея или постромки. Проход чисто выметен и слегка присыпан желтым речным песком.

— Майданников! — окликнул Андрей.

— Аю! — отозвался голос в конце конюшни.

Майданников на навильнике нес беремя живой соломы. Он зашел в четвертый от дверей станок, ногою поднял улегшегося вороного коня, раструсил солому.

— Повернись! Че-еорт! — зло крикнул он и замахнулся держаком навильника на придремавшего коня.

Тот испуганно застукотел, засучил ногами по деревянному полу, зафыркал и потянулся к яслям, передумав, как видно, ложиться. Кондрат подошел к Давыдову, весь пропитанный запахом конюшни и соломы, протянул черствую холодную ладонь.

— Ну, как, товарищ Майданников?

— Ничего, товарищ председатель колхоза.

— Чтой-то ты уж больно официально: «товарищ председатель колхоза»...— Давыдов улыбнулся.

— Я зараз при исполнении обязаностев.

— Почему народ возле конюшни толчется?

— Спросите сами их! — В голосе Кондрата послышалась озлобленная досада.— Как на ночь метать коням, так и их черт несет. Народ никак не могет отрешиться от единоличности. Это все хозяева сидят! Приходют: «А моему гнедому положил сена?», «А буланому постелил?», «Кобылка моя тут целая?» А куда же, к примеру, его кобыленка денется? В рот я ее запхну, что ли? Все лезут, просют: «Дай подсоблю наметать коням!» И всяк норовит своему побольше сенца кинуть... Беда! Надо постановление вынесть, чтобы лишний народ тут не околачивался.

— Слыхал? — Андрей подмигнул Давыдову, сокрушенно покачал головой.

— Гони всех отсюда! — суровея, приказал Давыдов.— Чтобы, кроме дежурного и помощников, никого не было! Сена по скольку даешь? Весишь дачу?

— Нету. Не вешаю. На глазок, с полпуда на животину.

— Стелешь всем?

— Да что, ей-богу! — Кондрат яростно тряхнул буденовкой, на смуглый стоян его шеи, на воротник приношенного зипуна посыпались мягкие ости.— Завхоз наш, Островнов, Яков Лукич-то, ноне перед вечером был, гово-

---

[1] Рашки — вбитые в стену деревянные развилины, на которые вешают сбрую.

рит: «Стели коням объедья». Да разве это порядки? Ить он, черт, лучшим хозяином почитается, а такую чушь порет!

— А что?

— Да как же, Давыдов! Объедья — все начисто едовые. Полынок промеж них, он мелкий, съестной, или бурьянина: все это овцы, козы дотла съедят, переберут, а он приказывает на подстилку коням гатить! Я ему было сказал насупротив, а он: «Не твое дело мне указывать!»

— Не стели объедьев. Правильно! А мы ему завтра хвост наломаем! — пообещал Давыдов.

— И ишо одно дело: расчали прикладок, какой возля колодезя склали. К чему, спрашивается?

— Мне Яков Лукич говорил, что это сено похуже. Он хочет дрянненькое зимою скормить, а хорошее оставить к пахоте.

— Ну, когда так, это верно,— согласился Кондрат.— А насчет объедьев ему скажите.

— Скажу. На вот, закуривай ленинградскую папироску...— Давыдов кашлянул.— Прислали мне товарищи с завода... Лошади-то все здоровы?

— Благодарствую. Огонька дайте... Кони все справные. Прошедшую ночь завалился наш виноходец, бывший лапшиновский, доглядели. А так все в порядке. Вот один есть чертяка, никак не ложится. Всю ночь, говорят, простаивает. Завтра на передки будем всех перековывать. Сколизь была, шипы начисто посъел ледок. Ну, прощевайте. Я ишо не всем постелил.

Разметнов пошел проводить Давыдова. Разговаривая, прошли они квартал, но на повороте к квартире Давыдова Размётнов остановился против база единоличника Лукашки Чебакова, тронул плечо Давыдова, шепнул:

— Гляди!

Около калитки — в трех шагах от них — чернела фигура человека. Размётнов вдруг быстро подбежал, левой рукой схватил человека, стоявшего по ту сторону калитки, в правой стиснул рукоять нагана.

— Ты, Лука?

— Никак это вы, Андрей Степанович?

— Что у тебя в правой руке? А ну, отдай! Живо!

— Да что вы? Товарищ Размётнов!

— Отдай, говорят! Вдарю!..

Давыдов подошел на голоса, близоруко щурясь.

— Чего ты у него отбираешь?

— Отдай, Лука. Выстрелю!

— Да возьмите, чего вы сбесились-то?

— Вот он с чем стоял у калиточки! Эх ты! Ты это для чего же с ножом ночью стоишь? Ты это кого ждал? Не Давыдова? Зачем, спрашиваю, с финкой стоял? Контра? Убивцем захотел стать!

Только острые охотничьи глаза Андрея могли разглядеть в руке стоявшего около калитки человека белое лезвие ножа. Он и бросился обезоруживать. И обезоружил. Но когда стал, задыхаясь, допрашивать ошалевшего Лукашку, тот открыл калитку, изменившимся голосом сказал:

— Уж коли вы так дело поворачиваете, я не могу промолчать! Вы меня в чем не надо подозрить могете, упаси бог, Андрей Степаныч! Пройдемте.

— Куда это?

— В катух.

— Зачем это?

— Поглядите, и все вам станет ясное, зачем я с ножом на проулок выглядал...

— Пойдем посмотрим,— предложил Давыдов, первым входя на Лукашкин баз.— Куда идти-то?

— Пожалуйте за мной.

В катухе, внутри заваленном обрушившимся прикладом кизяка, стоял на табурете зажженный фонарь, возле него на корточках сидела жена Лукашки — красивая, полноликая и тонкобровая баба. Она испуганно встала, увидя чужих, заслонила собой стоявшие возле стены две цибарки с водой и таз. За нею в самом углу на чистой соломе, как видно только постланной, топтался сытый боров. Опустив голову в огромную лохань, он чавкал, пожирая помои.

— Видите, какая беда...— указывая на кабана, смущенно, бессвязно говорил Лукашка.— Борова надумали потихоньку заколоть... Баба его прикармывает, а я только хотел валять его, резать, слышу — гомонят где-то на проулке. Дай-ка, думаю, выйду, гляну, не ровен час кто услышит. Как был я с засученными рукавами и при фартуке и при ноже, так и вышел к калитке. И вы — вот они! А вы на меня что подумали? Разве же человека резать при фартуке и с засученными рукавами выходют? — Лукашка, снимая фартук, смущенно улыбнулся и с сдержанной злостью крикнул на жену: — Ну, чего стала, дуреха? Выгони борова!

— Ты не режь его,— несколько смущенный, сказал Размётнов.— Зараз собрание было, нету дозволения скотину резать.

— Да я и не буду. Всю охоту вы мне перебили...

Давыдов вышел и до самой квартиры подтрунивал над Андреем:

— Покушение на жизнь председателя колхоза отвратил! Контрреволюционера обезоружил! Аника-воин, факт! Хо-хо-хо!..

— Зато кабану жизнь спас,— отшучивался Размётнов.

ГЛАВА XVII

На следующий день на закрытом собрании гремяченской партячейки было единогласно принято решение обобществить весь скот: как крупный гулевой, так и мелкий, принадлежащий членам гремяченского колхоза. Кроме скота, было решено обобществить и птицу.

Давыдов вначале упорно выступал против обобществления мелкого скота и птицы, но Нагульнов решительно заявил, что если на собрании колхозников не провести решения об обобществлении всей живности, то весенняя посевная будет сорвана, так как скот весь будет перерезан, и заодно и птица. Его поддержал Размётнов, и, поколебавшись, Давыдов согласился.

Помимо этого, было решено и занесено в протокол собрания: развернуть усиленную агитационную кампанию за прекращение злостного убоя, для чего в порядке самообязательства все члены партии должны были отправиться в этот же день по дворам. Что касается судебных мероприятий по отношению к изобличенным в убое, то пока решено было их не применять ни к кому, а подождать результатов агиткампании.

— Так-то скотина и птица посохранней будет. А то к весне ни бычьего мыку, ни кочетиного крику в хуторе не услышишь,— говорил обрадованный Нагульнов, пряча протокол в папку.

Колхозное собрание охотно приняло решение насчет обобществления всего скота, поскольку рабочий и молочнопродуктивный уже был обобществлен и решение касалось лишь молодняка да овец и свиней,— но по поводу птицы возгорелись долгие прения. Особенно возражали бабы. Под конец их упорство было сломлено. Способствовал этому в огромной мере Нагульнов. Это он, прижимая к ордену свои длинные ладони, проникновенно говорил:

— Бабочки, дорогие мои! Не тянитесь вы за курями, гусями! На спине не удержались, а уж на хвосте и подавно.

Пущай и куры колхозом живут. К весне выпишем мы кубатор, и, заместо квочков, зачнет он нам выпущать цыпляток сотнями. Есть такая машина — кубатор, она высиживает цыплятков преотлично. Пожалуйста, вы не упирайтесь! Они ваши же будут куры, только в общем дворе. Собственности куриной не должно быть, дорогие тетушки! Да и какой вам от курей прок! Все одно они зараз не несутся. А к весне с ними суеты вы не оберетесь. То она, курица то есть, вскочит на огород и рассаду выклюет, то глядишь, а она — трижды клятая — яйцо где-нибудь под амбаром потеряет, то хорь ей вязы отвернет... Мало ли чего с ней могет случиться? И кажин раз вам надо в курятник лазить, щупать, какая с яйцом, а какая холостая. Полезешь и наберешься куриных вшей, заразы. Одна сухота с ними и сердцу остуда. А в колхозе как они будут жить? Распрекрасно! Догляд за ними будет хороший: какого-нибудь старика вдового, вот хоть бы дедушку Акима Бесхлебнова, к ним приставим, и пущай он их целый день щупает, по нашестам полозиет. Дело и веселое и легкое, самое стариковское. На таком деле грыжу сроду не наживешь. Приходите, милушки мои, в согласие.

Бабы посмеялись, повздыхали, посудачили и «пришли в согласие».

Сейчас же после собрания Нагульнов и Давыдов тронулись в обход по дворам. С первого же квартала выяснилось, что убоина есть доподлинно в каждом дворе... К обеду заглянули и к деду Щукарю.

— Активист он, говорил сам, что скотиняк беречь надо. Этот не зарежет,— уверял Нагульнов, входя на щукаревский баз.

«Активист» лежал на кровати, задрав ноги. Рубаха его была завернута до свалявшейся в клочья бороденки, а в тощий бледный живот, поросший седой гривастой шерстью, острыми краями вонзилась опрокинутая вверх дном глиняная махотка, вместимостью литров в шесть. По бокам пиявками торчали две аптекарские банки. Дед Щукарь не глянул на вошедших. Руки его, скрещенные на груди, как у мертвого,— дрожали, вылезшие из орбит, осумасшедшевшие от боли глаза медленно вращались. Нагульнову показалось, что в хате и воняет-то мертвежиной. Дородная Щукариха стояла у печи, а около кровати суетилась проворная, черная, как мышь, лекарка — бабка Мамычиха, широко известная в округе тем, что умела ставить банки, накидывать чугуны, костоправить, отворять и заговаривать кровь и делать аборты железной вязальной спицей. Она-то

в данный момент и «пользовала» разнесчастного деда Щукаря.

Давыдов вошел и глаза вытаращил:

— Здравствуй, дед! Что это у тебя на пузе?

— Стррррра-даю! Жжжжи-вотом!..— в два приема, с трудом выговорил дед Щукарь. И тотчас же тоненьким голосом заголосил, заскулил по-щенячьи: — С-сыми махотку! Сыми, ведьма! Ой, живот мне порвет! О, родненькие, ослобоните!

— Терпи! Терпи! Зараз полегчает,— шепотом уговаривала бабка Мамычиха, тщетно пытаясь оторвать край махотки, всосавшейся в кожу.

Но дед Щукарь вдруг зарычал лютым зверем, лягнул лекарку ногой и обеими руками вцепился в махотку. Тогда Давыдов поспешил ему на выручку: схватив с пригрубка деревянное скало, он оттолкнул старушонку, махнул скалом по днищу махотки. Та рассыпалась, со свистом рванулся из-под черепков воздух, дед Щукарь утробно икнул, облегченно, часто задышал, без труда сорвал банки. Давыдов глянул на дедов живот, торчавший из-под черепков огромным посинелым пупом, и упал на лавку, давясь от бешеного приступа хохота. По щекам его текли слезы, шапка свалилась, на глаза нависли пряди черных волос.

Живуч оказался дед Щукарь! Едва лишь бабка Мамычиха запричитала над разбитой махоткой, он опустил рубаху, приподнялся.

— Головушка ты моя горькая! — навзрыд голосила бабка.— Разбил, нечистый дух, посудину! Таковских вас лечить, и добра не схошь!

— Удались, бабка! Сей момент удались отседова! — Щукарь указывал рукой на дверь.— Ты меня чудок жизни не решила! Об твою бы головешку этот горшок надо разбить! Удались, а то до смертоубийства могу дойтить! Я на эти штуки отчаянный!

— С чего это тебе подеялось? — спросил Нагульнов, едва лишь за Мамычихой захлопнулась дверь.

— Ох, сынки, кормильцы, верите: было пропал вовзят. Двое суток с базу не шел, так штаны в руках и носил... Такой понос у меня открылся — удержу нет! Кубыть прохудился я, несло, как из куршивого гусенка: кажин секунд...

— Мяса обтрескался?

— Мяса...

— Телушку зарезал?

— Нету уж телушечки... Не в пользу она мне пошла...

Макар крякнул, ненавидяще оглядел деда, процедил:

— Тебе бы, черту старому, надо не махотку на живот накинуть, а трехведерный чугун! Чтобы он всего тебя с потрохом втянул! Вот выгоним из колхоза, тогда не так тебя понесет! Зачем зарезал?

— Грех попутал, Макарушка... Старуха уговорила, а ночная кукушка — она перекукует завсегда... Вы смилуйтесь... Товарищ Давыдов! Приятели мы с вами были, вы меня не увольняйте из колхозу. Я и так пострадамши за свое добро...

— Ну, чего ты с него возьмешь? — Нагульнов махнул рукой.— Пойдем, Давыдов. Ты, хвороба! Ружейного масла с солью намешай и выпей, рукой сымет.

Дед Щукарь обиженно задрожал губами:

— Надсмешку строишь?

— Верно говорю. Мы в старой армии от живота этим спасались.

— Я что же, железный, что ли? Чем бездушную ружье чистют, тем и я должен пользоваться? Не буду! Лучше помру в подсолнухах, а масла не приму!

На другой день, не успевши помереть, дед Щукарь уже ковылял по хутору и каждому встречному рассказывал, как в гости к нему приходили Давыдов с Нагульновым, как они спрашивали его советов насчет ремонта к посевной инвентаря и прочих колхозных дел. В конце рассказа дед выдерживал длительную паузу, сворачивая цигарку, вздыхал:

— Трошки прихворнул я, и вот они уж пришли. Неуправка без меня у них. Лекарства всякие предлагали. «Лечись,— говорят,— дедушка, а то, не дай бог греха, помрешь, и мы пропадем без тебя!» И пропадут, истинный Христос! То чуть чего — зовут в ячейку: глядишь, что-нибудь и присоветую им. Уж я редко гутарю, да метко. Мое слово, небось, мимо не пройдет! — и поднимал на собеседника выцветшие ликующие глазки, угадывая, какое впечатление произвел рассказ.

ГЛАВА XVIII

И снова заколобродил притихший было Гремячий Лог... Скот перестали резать. На общественные базы двое суток гнали и тянули разношерстных овец и коз, в мешках несли кур. Стон стоял по хутору от скотиньего рева и птичьего гогота и крика.

В колхозе числилось уже сто шестьдесят хозяйств.

Были созданы три бригады. Якова Лукича правление колхоза уполномочило раздавать бедноте — нуждающейся в одежде и обуви — кулацкие полушубки, сапоги и прочие носильные вещи. Произвели предварительную запись. Оказалось, что всех удовлетворить правление было не в состоянии.

На Титковом базу, где Яков Лукич распределял конфискованную кулацкую одежду, до потемок стоял неумолчный гул голосов. Тут же, возле амбара, прямо на снегу разувались, примеряя добротную кулацкую обувь, натягивая поддевки, пиджаки, кофты, полушубки. Счастливцы, которым комиссия определила выдать одежду или обувь в счет будущей выработки, прямо на амбарной приклетке телешились и, довольно крякая, сияя глазами, светлея смуглыми лицами от скупых, дрожащих улыбок, торопливо комкали свое старое, латаное-перелатаное веретье, облачались в новую справу, сквозь которую уже не просвечивало тело. А уж перед тем как взять что-либо, сколько было разговоров, советов, высказываемых сомнений, ругани... Любишкину Давыдов распорядился выдать пиджак, шаровары и сапоги. Хмурый Яков Лукич вытащил из сундука ворох одежды, метнул под ноги Любишкину:

— Выбирай на совесть.

Дрогнули у атаманца усы, затряслись руки.... Уж он выбирал, выбирал пиджак — сорок потов с него сошло! Попробует сукно на зуб, поглядит на свет: не побили ли шашел или моль, минут десять мнет в черных пальцах. А кругом жарко дышат, гомонят:

— Бери, ишо детям достанется донашивать.

— Да где глаза-то у тебя! Не видишь — перелицованное.

— Брешешь!

— Сам стрескай!

— Бери, Павло!

— Не бери, померяй другой!

У Любишкина лицо — красная, обожженная кирпичина, жует он черный ус, затравленно озирается, тянется к другому пиджаку. Выберет. Всеми статьями хорош пиджак! Сунет длиннейшие свои руки в рукава, а они по локоть, трещат швы на плечах. И снова, смущенно и взволнованно улыбаясь, роется в ворохе одежды. Разбегаются глаза, как у малого дитяти на ярмарке перед обилием игрушек; на губах такая ясная, детская улыбка, что впору бы кому-нибудь отечески погладить саженного атаманца Любишкина по голове. Так за полдня и не выбрал. Шаровары

и сапоги надел, хмурому Якову Лукичу сказал, проглотив воздух:

— Завтра уж прийду примерять.

С база пошел в новых шароварах с лампасами, в сапогах с рыпом, помолодевший сразу лет на десять. Нарочно вышел на главную улицу, хотя было ему и не под дорогу, на проулках часто останавливался, то закурить, то со встречным погутарить. Часа три шел до дому, хвалился, и к вечеру уже по всему Гремячему шел слух: «Там Любишкина нарядили, как на службу! Ноне целый день выбирал одежи... Во всем новом домой шел, шаровары на нем праздничные. Как журавель выступал, небось ног под собой не чуял...»

Женёнка Демки Ушакова обмерла над сундуком, насилу отпихнули. Надела сборчатую шерстяную юбку, некогда принадлежавшую Титковой бабе, сунула ноги в новые чирики, покрылась цветастой шалькой, и только тогда кинулось всем в глаза, только тогда разглядели, что Демкина женёнка вовсе не дурна лицом и собою бабочка статна. А как же ей, сердяге, было не обмереть над колхозным добром, когда она за всю свою горчайшую жизнь доброго куска ни разу не съела, новой кофтенки на плечах не износила? Как же можно было не побледнеть ее губам, выцветшим от постоянной нужды и недоеданий, когда Яков Лукич вывернул из сундука копну бабьих нарядов? Из года в год рожала она детей, заворачивая сосунков в истлевшие пеленки да в поношенный овчинный лоскут. А сама, растерявшая от горя и вечных нехваток былую красоту, здоровье и свежесть, все лето исхаживала в одной редкой, как сито, юбчонке; зимою же, выстирав единственную рубаху, в которой кишмя кишела вошь, сидела вместе с детьми на печи голая, потому что нечего было переменить...

— Родимые!.. Родименькие!.. Погодите, я, может, ишо не возьму эту юбку... Сменяю... Мне, может, детишкам бы чего... Мишатке... Дунюшке...— исступленно шептала она, вцепившись в крышку сундука, глаз пылающих не сводя с многоцветного вороха одежды.

У Давыдова, случайно присутствовавшего при этой сцене, сердце дрогнуло... Он протискался к сундуку, спросил:

— Сколько у тебя детей, гражданочка?

— Семеро...— шепотом ответила Демкина жена, от сладкого ожидания боясь поднять глаза.

— У тебя тут есть детское? — негромко спросил Давыдов у Якова Лукича.

— Есть.
— Выдай этой женщине для детей все, что она скажет.
— Жирно ей будет!..
— Это еще что такое?.. Ну?..— Давыдов злобно ощерил щербатый рот, и Яков Лукич торопливо нагнулся над сундуком.
Демка Ушаков, обычно говорливый и злой на язык, стоял позади жены, молча облизывая сохнувшие губы, затаив дыхание. Но при последних словах Давыдова он взглянул на него... Из косых Демкиных глаз, как сок из спелого плода, вдруг брызнули слезы. Он сорвался с места, побежал к выходу, левой рукой расталкивая народ, правой — закрывая глаза. Спрыгнув с приклетка, Демка зашагал с база, стыдясь, пряча от людей свои слезы. А они катились из-под черного щитка ладони по щекам, обгоняя одна другую, светлые и искрящиеся, как капельки росы.
К вечеру на дележ приспел и дед Щукарь. Он вломился в дом правления колхоза, еле переводя дух — к Давыдову:
— Здорово живете, товарищ Давыдов! Живенького вас видеть.
— Здравствуй.
— Напишите мне бланку.
— Какой бланк?
— Бланку на получку одежи.
— Это за что же тебе одежину справлять? — Нагульнов, сидевший у Давыдова, поднял разлатые брови.— За то, что телушку зарезал?
— Кто старое вспомянет, Макарушка, глаз ему долой, знаешь? Как так — за что? А кто пострадал, когда Титка раскулачивали? Мы с товарищем Давыдовым. Ему хоть голову пробили, это пустяковина, а мне кобель-то шубу как произвел? Одни обмотки на ноги из шубы получились! Я же страдалец за Советскую власть, и мне, значится, не надо? Пущай бы лучше мне Титок голову на черепки поколол, да шубы не касался. Шуба-то старухина, ай нет? Она, может, меня за шубу со света сживет, тогда как? Ага, то-то и оно!
— Не бегал бы, и шуба целая была.
— Как так не бегал бы? А ты слыхал, Макарушка, что Титкова баба-яга сотворила? Она травила на меня кобеля, шумела: «Узы его! Бери его, Серко! Он тут самый вредный!» Вот и товарищ Давыдов могет подтвердить.
— Хоть ты и старик, а брешешь как сивый мерин!

— Товарищ Давыдов, подтвердите!

— Я что-то не помню...

— Истинный Христос, так она шумела! Ну, страх в глазах, я, конечно, и тронулся с база. Кабы он, кобель, был, как все протчие собаки, а то тигра, ажник страшнее!

— Никто на тебя кобеля не травил, выдумляешь!

— Макарушка, ты же не помнишь, соколик! Ты сам тогда так испужался, что на тебе лица не было, где уж там тебе помнить! Я ишо тогда, грешник, подумал: «Зараз Макар вдарится бечь!» А меня-то как кобель потягал по базу — я все это до нитки помню! Ежели б не кобель, Титку бы из моих рук живым не выйти, забожусь! Я — отчаянный!

Нагульнов сморщился, как от зубной боли, сказал Давыдову:

— Напиши ему скорее, нехай метется.

Но дед Щукарь на этот раз был больше, чем когда-либо, склонен к разговору.

— Я, Макарушка, смолоду, бывало, на кулачках любого...

— Ох, не балабонь, слыхали тебя! Тебе, может, написать, чтобы чугунок ведерный выдали? Живот-то чем будешь лечить?

Кровно обиженный, дед Щукарь молча взял записку, вышел, не попрощавшись. Но, получив из рук Якова Лукича просторный дубленый полушубок, вновь пришел в отличное расположение духа. Глазки его сыто жмурились, ликовали. Щепоткой, как соль из солонки, брал он полу полушубка, поднимал ее наотлет, словно юбку баба, собравшаяся переходить через лужу,— цокал языком, хвалился перед казаками:

— Вот он, полушубочек-то! Своим горбом заработал. Всем известно: Титка когда мы раскулачивали, он и напади с занозой на товарища Давыдова. Пропадет, думаю, мой приятель! Сей момент же кинулся на выручку, как герой, отбил! Не будь меня — труба бы Давыдову!

— А гутарили, кубыть ты от кобеля побег да упал, а он тебе и зачал, как свинье, ухи рвать,— вставил кто-то из слушателей.

— Брехня! Ить вот какой народ пошел: согнут, не паримши! Ну, что там кобель? Кобель, он тварь глупая и паскудная. Никакого глагола не разумеет...— И дед Щукарь искусно переводил разговор на другую тему.

ГЛАВА XIX

Ночь...

На север от Гремячего Лога, далеко-далеко за увалами сумеречных степных гребней, за логами и балками, за сплошняками лесов — столица Советского Союза. Над нею — половодье электрических огней. Их трепетное голубое мерцание заревом беззвучного пожарища стоит над многоэтажными домами, затмевая ненужный свет полуночного месяца и звезд.

Отделенная от Гремячего Лога полутора тысячами километров, живет и ночью, закованная в камень, Москва: тягуче-призывно ревут паровозные гудки, переборами огромной гармони звучат автомобильные сирены, лязгают, визжат, скрегочут трамваи. А за ленинским Мавзолеем, за Кремлевской стеной, на вышнем холодном ветру, в озаренном небе трепещет и свивается полотнище красного флага. Освещенное снизу белым накалом электрического света, оно кипуче горит, струится, как льющаяся алая кровь. Коловертью кружит вышний ветер, поворачивает на минуту тяжко обвисающий флаг, и он снова взвивается, устремляясь концом то на запад, то на восток, пылает багровым полымем восстаний, зовет на борьбу...

Два года назад, ночью, Кондрат Майданников, бывший в то время в Москве, на Всероссийском съезде Советов, пришел на Красную площадь. Глянул на Мавзолей, на победно сияющий в небе красный флаг и торопливо сдернул с головы буденовку. С обнаженной головой, в распахнутом домотканом зипуне стоял долго и недвижимо...

В Гремячем же Логу ночью стынет глухая тишина. Искрятся пустынные окрестные бугры, осыпанные лебяжьим пухом молодого снега. В балках, на сувалках, по бурьянам пролиты густо-синие тени. Почти касается горизонта дышло Большой Медведицы. Черной свечой тянется к тягостно высокому черному небу раина [1], растущая возле сельсовета. Звенит, колдовски бормочет родниковая струя, стекая в речку. В текучей речной воде ты увидишь, как падают отсветившие миру звезды. Вслушайся в мнимое безмолвие ночи, и ты услышишь, друг, как заяц на кормежке гложет, скоблит ветку своими желтыми от древесного сока зубами. Под месяцем неярко светится на стволе вишни янтарный натек замерзшего клея. Сорви его и посмотри: комочек клея, будто вызревшая нетронутая слива, покрыт

---

[1] Раина — пирамидальный тополь.

нежнейшим дымчатым налетом. Изредка упадет с ветки ледяная корочка — ночь укутает хрустальный звяк тишиной. Мертвенно-недвижны отростки вишневых веток с рубчатыми серыми сережками на них; зовут их ребятишки «кукушкиными слезами»...

Тишина...

И только на зорьке, когда с севера, из-под тучи, овевая снег холодными крылами, прилетит московский ветер, зазвучат в Гремячем Логу утренние голоса жизни: зашуршат в левадах голые ветви тополей, зачиргикают, перекликаясь, зазимовавшие возле хутора, кормившиеся ночью на гумнах куропатки. Они улетят дневать в заросли краснобыла, на песчаные склоны яров, оставив возле мякинников на снегу вышитую крестиками лучевую россыпь следов, накопы соломы. Замычат телята, требуя доступа к матерям, яростней вскличутся обобществленные кочета, потянет над хутором терпко-горьким кизешным дымком.

А пока полегла над хутором ночь, наверное, один Кондрат Майданников не спит во всем Гремячем. Во рту у него горько от табаку-самосаду, голова — как гиря, от курева тошнит...

Полночь. И мнится Кондрату ликующее марево огней над Москвой, и видит он грозный и гневный мах алого полотнища, распростертого над Кремлем, над безбрежным миром, в котором так много льется слез из глаз вот таких же трудяг, как и Кондрат, живущих за границами Советского Союза. Вспоминаются ему слова покойной матери, сказанные как-то с тем, чтобы осушить его ребячьи слезы:

«Не кричи, милушка Кондрат, не гневай бога. Бедные люди по всему белому свету и так кажин день плачут, жалуются богу на свою нужду, на богатых, какие все богатство себе забрали. А бог бедным терпеть велел. И вот он огневается, что бедные да голодные все плачут да плачут, и возьмет соберет ихни слезы, иселает их туманом и кинет на синие моря, закутает небо невидью. Вот тут-то и начинают блудить по морям корабли, потерямши свою водяную дорогу. Напхнется корабль на морской горюч камень и потонет. А не то господь росой иселает слезы. В одну ночь падет соленая роса на хлеба по всей земле, нашей и чужедальней, выгорят от слезной горечи хлебные злаки, великий голод и мор пойдет по миру... Стало быть, кричать бедным никак нельзя, а то накричишь на свою шею... Понял, родимушка? — и сурово кончила: — Молись богу, Кондратка! Твоя молитва скорей долетит».

«А мы бедные, маманя? Папаня бедный? — спрашивал маленький Кондрат свою богомольную мать».

«Бедные».

Кондрат падал на колени перед темным образом староверского письма, молился и досуха тер глаза, чтобы сердитому богу и слезинки не было видно.

Лежит Кондрат, как сетную дель, перебирает в памяти прошлое. Был он по отцу донским казаком, а теперь — колхозник. Много передумал за многие и длинные, как степные шляхи, ночи. Отец Кондрата, в бытность его на действительной военной службе, вместе со своей сотней порол плетью и рубил шашкой бастовавших иваново-вознесенских ткачей, защищая интересы фабрикантов. Умер отец, вырос Кондрат и в 1920 году рубил белополяков и врангелевцев, защищая свою, Советскую власть, власть тех же иваново-вознесенских ткачей, от нашествия фабрикантов и их наймитов.

Кондрат давно уже не верит в бога, а верит в Коммунистическую партию, ведущую трудящихся всего мира к освобождению, к голубому будущему. Он свел на колхозный баз всю скотину, всю — до пера — отнес птицу. Он — за то, чтобы хлеб ел и траву топтал только тот, кто работает. Он накрепко, неотрывно прирос к Советской власти. А вот не спится Кондрату по ночам... И не спится потому, что осталась в нем жалость-гадюка к своему добру, к собственной худо́бе, которой сам он добровольно лишился... Свернулась на сердце жалость, холодит тоской и скукой...

Бывало, прежде весь день напролет у него занят: с утра мечет корм быкам, корове, овцам и лошади, поит их; в обеденное время опять таскает с гумна в вахлях [1] сено и солому, боясь потерять каждую былку, на ночь снова надо убирать. Да и ночью по нескольку раз выходит на скотиний баз, проведывать, подобрать в ясли наметанное под ноги сенцо. Хозяйской заботой радуется сердце. А сейчас пусто, мертво у Кондрата на базу. Не к кому выйти. Порожние стоят ясли, распахнуты хворостяные ворота, и даже кочетиного голоса не слышно за всю долгую ночь; не по чем определить время и течение ночи.

Только тогда смывается скука, когда приходится дежурить на колхозной конюшне. Днем же норовит он уйти поскорее из дому, чтобы не глядеть на страшно опустелый баз, чтобы не видеть скорбных глаз жены.

Вот сейчас она спит с ним рядом, дышит ровно. На

[1] Вахли — веревочная сетка для носки сена.

печке Христишка мечется, сладко чмокает губами, лопочет во сне: «Батяня, потихонечку!.. Потихонечку, потихонечку...» Во сне она, наверное, видит свои особые, светлые, детские сны; ей легко живется, легко дышится. Ее радует порожняя спичечная коробка. Она возьмет и смастерит из нее сани для своего тряпичного кукленка. Санями этими будет забавляться до вечера, а грядущий день улыбнется ей новой забавой.

У Кондрата же свои думки. Бьется он в них, как засетившаяся рыба... «Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль? Когда же ты засохнешь, вредная чертяка?.. И с чего бы это? Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят,— мне хоть бы что, а как до своего дойду, гляну на его спину с черным ремнем до самой репки, на меченое левое ухо, и вот засосет в грудях,— кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И все норовишь ему послаже сенца кинуть, попыреистей, помельче. И другие так-то: сохнет всяк возле своего, а об чужих и — бай дюже. Ить нету зараз чужих, все наши, а вот так оно... За худобой не хотят смотреть, многим она обчужала... Вчера дежурил Кuженков, коней сам не повел поить, послал парнишку; энтот сел верхи, погнал весь табун к речке в намет. Напилась какая, не напилась — опять захватил в намет и — до конюшни. И никому не скажи супротив, оскаляются: «Га-а-а, тебе больше всех надо!» Все это оттого, что трудно наживалося. У кого всего по ноздри, этому, небось, не так жалко... Не забыть сказать завтра Давыдову, как Куженков коней поил. С таким доглядом лошадюка к весне и борону с места не стронет. Поглядеть завтра утрецом, как курей доглядают,— бабы брехали, что кубыть штук семь уж издохли, от тесноты. Ох, трудно! И зачем зараз птицу сводить? Хучь бы по кочету на двор оставить заместо часов... В еповской лавке товару нет, а Христиша босая. Хучь кричи — надо ей чиричонки бы! Совесть зазревает спрашивать у Давыдова... Нет, нехай уж эту зиму перезимует на пече, а к лету ей не нужны». Кондрат думает о нужде, какую терпит строящая пятилетку страна, и сжимает под дерюжкой кулаки, с ненавистью мысленно говорит тем рабочим Запада, которые не за коммунистов: «Продали вы нас за хорошую жалованью от своих хозяев! Променяли вы нас, братушки, на сытую жизнь!.. Через чего до се нету у вас Советской власти? Через чего вы так припозднились? Ежели б вам погано жилось, вы бы теперича уж революцию сработали, а то, видно, ишо жареный кочет вас в зад не клюнул; все вы чухаетесь, никак не раскачаетесь, да как-то недружно,

шатко-валко идете... А клюнет он вас! До болятки клюнет!.. Али вы не видите через границу, как нам тяжко подымать хозяйство? Какую нужду мы терпим, полубосые и полуголые ходим, а сами зубы сомкнем и работаем. Совестно вам будет, братушки, прийти на готовенькое! Исделать бы такой высоченный столб, чтобы всем вам видать его было, взлезть бы мне на макушку этого столба, то-то я покрыл бы вас матерным словом!..» Кондрат засыпает. Из губ его валится цигарка, прожигает большую черную дыру на единственной рубахе. Он просыпается от ожога, встает; шепотом ругаясь, шарит в темноте иголку, чтоб зашить дыру на рубахе, а то Анна утром доглядит и будет за эту дыру точить его часа два... Иголки он так и не находит. Снова засыпает.

На заре, проснувшись, выходит на баз до ветру и вдруг слышит диковинное: обобществленные, ночующие в одном сарае кочета ревут одновременно разноголосым и мощным хором. Кондрат, удивленно раскрыв опухшие глаза, минуты две слушает сплошной, непрекращающийся кочетиный крик и, когда торопливо затихает последнее, запоздавшее «ку-ке-кууу», сонно улыбается: «Ну, и орут, чертовы сыны! Чисто — духовая музыка. Кто возля ихнего пристанища живет, сну, покою лишится. А раньше то в одном конце хутора, то в другом. Ни складу ни ладу... Эт, жизня!» — и идет дозоревывать.

* * *

Утром, позавтракав, он направляется на птичий двор. Дед Аким Бесхлебнов встречает его сердитым окриком:

— Ну, чего шляешься ни свет ни заря?

— Тебя да курей проведать пришел. Как живешь-могешь, дед?

— Жил, а зараз — не дай и не приведи!

— Что так?

— Служба при курях искореняет!

— Чем же это?

— А вот ты побудь тут денек, тогда узнаешь! Анафены-кочета целый день стражаются, от ног отстал, за ними преследуя. На что уж куры, кажись, бабьего полу, и энти схватют одна другую за хохол — и пошел по базу! Пропади она пропадом такая служба! Нынче же пойду к Давыдову увольняться, отпрошусь к пчелам.

— Они свыкнутся, дед.

— Покеда они свыкнутся, дед ноги протянет. Да разве ж это мущинское дело? Я ить, как-никак, а казак, в турецкой канпании участвовал. А тут — изволь радоваться — над курями главнокомандующим поставили. Два дня, как заступил на должность, а от ребятишков уж проходу нету. Как иду домой, они, враженяты, перевстревают, орут: «Дед курощуп! Дед Аким курощуп!» Был всеми уважаемый, да чтобы при старости лет помереть с кличкой курощупа? Нету моего желания!

— Брось, дедушка Аким! С ребятишек какой вопрос?

— Кабы они одни, ребятишки, дурили, а то и бабы к ним иные припрягаются. Вчера иду домой полудновать. Возля колодезя Настёнка Донецковых стоит, воду черпает. «Управляешься с курями, дед?» — спрашивает. «Управляюсь»,— говорю. «А несутся какие курочки, дед?» — «Несутся,— говорю,— мамушка, да что-то плохо». А она, кобыляка калмыцкая, как заиржет: «Гляди,— говорит,— чтоб к пахоте кошелку яиц нанесли, а то самого тебя заставим курей топтать!» Стар я такие шутки слухать. И должность эта дюже обидна!

Старик хотел еще что-то сказать, но возле плетня грудь в грудь ударились кочета, у одного из гребня цевкой свистнула кровь, у другого с зоба вылетело с пригоршню перьев. Дед Аким рысцой затрусил к ним, на бегу вооружившись хворостиной.

В правлении колхоза, несмотря на раннее утро, было полно народу. Во дворе, возле крыльца, стояла пара лошадей, запряженных в сани, поджидая Давыдова, собравшегося ехать в район. Оседланный лапшиновский иноходец рыл ногою снег, а около топтался, подтягивая подпруги, Любишкин. Он тоже готовился к поездке в Тубянской, где должен был договориться с тамошним правлением колхоза насчет триера.

Кондрат вошел в первую комнату. За столом рылся в книгах приехавший недавно из станицы счетовод. Осунувшийся и хмурый за последнее время, Яков Лукич что-то писал, сидя напротив. Тут же толпились колхозники, назначенные нарядчиком на возку сена. Бригадир третьей бригады рябой Агафон Дубцов и Аркашка Менок о чем-то спорили в углу с единственным в хуторе кузнецом, Ипполитом Шалым. Из соседней комнаты слышался резкий и веселый голос Размётнова.

Он только что пришел; торопясь и посмеиваясь, рассказывал Давыдову:

— Приходют ко мне спозаранок четыре старухи. Коно-

водит у них бабка Ульяна, мать Мишки Игнатенка. Знаешь ты ее? Нет? Старуха такая, пудов на семь весом, с бородавкой на носу. Приходют. Бабка Ульяна — буря бурей, не сдышится от гневу, ажник бородавка на носу подсигивает. И с места наметом: «Ах ты, такой-сякой, разэтакий!» У меня в Совете народ, а она матюгается. Я ей, конечно, строго говорю: «Заткнись и прекрати выражение, а то отправлю в станицу за оскорбление власти. Чего ты,— спрашиваю,— взъярилась?» А она: «Вы чего это над старухами мудруете? Как вы могете над нашей старостью смываться?» Насилу дознался, в чем дело. Оказывается, прослыхали они, будто бы всех старух, какие к труду неспособные, каким за шестьдесят перевалило, правление колхоза определит к весне...— Размётнов надулся, удерживая смех, закончил: — Будто бы за недостачей паровых машин, какие насиживают яйца, старух определят на эту работенку. Они и взбесились. Бабка Ульяна и орет, как резаная: «Как! Меня на яйца сажать? Нету таких яиц, на какие бы я села! И вас всех чапельником побью и сама утоплюсь!» Насилу их урезонил. «Не топись,— говорю,— бабка Ульяна, все одно в нашей речке воды тебе не хватит утопнуть. Все это — брехня, кулацкие сказки». Вот какие дела, товарищ Давыдов! Распущают враги брехню, тормоз нам делают. Начал допрашивать, откедова слухом пользовались, дознался: с Войскового монашка позавчера пришла в хутор, ночевала у Тимофея Борщева и рассказывала им, что, мол, для того и курей сбирают, чтобы в город всех отправить на лапшу, а старухам, дескать, такие стульцы поделают, особого фасону, соломки постелют и заставют яйца насиживать, а какие будут бунтоваться, энтих, мол, к стулу будут привязывать.

— Где эта монашка зараз? — с живостью спросил присутствовавший при разговоре Нагульнов.

— Умелась. Она не глупая: сбрешет — и ходу дальше.

— Таких сорок чернохвостых надо арестовывать и по принадлежности направлять. Не попалась она мне! Завязал бы ей на голове юбку да плетюганов всыпал... А ты — председатель Совета, а в хуторе у тебя ночует кто хошь. Тоже порядочки!

— Черт за ними за всеми углядит!

Давыдов, в тулупе поверх пальто, сидел за столом, в последний раз просматривая утвержденный колхозным собранием план весенних полевых работ; не поднимая глаз от бумаги, он сказал:

— Клевета на нас — старый прием врага. Он — пара-

зит — все наше строительство хочет обмарать. А мы ему иногда козырь в руки даем, вот как с птицей...

— Чем это такое? — Нагульнов раздул ноздри.

— Тем самым, что пошли на обобществление птицы.

— Неверно!

— Факт, верно! Не надо бы нам на мелочи размениваться. У нас вон еще семенной материал не заготовлен, а мы за птицу взялись. Такая глупость! Я сейчас локоть бы себе укусил... А в райкоме мне за семфонд хвост наломают, факт! Прямо-таки неприятный факт...

— Ты скажи, почему птицу-то не надо обобществлять? Собрание-то согласилось?

— Да не в собрании дело! — Давыдов поморщился.— Как ты не поймешь, что птица — мелочь, а нам надо решать главное: укрепить колхоз, довести процент вступивших до ста, наконец посеять. И я, Макар, серьезно предлагаю вот что: мы политически ошиблись с проклятой птицей, факт, ошиблись! Я сегодня ночью прочитал кое-что по поводу организации колхозов и понял, в чем ошибка: ведь у нас колхоз, то есть артель, а мы на коммуну потянули. Верно? Это и есть левый уклон, факт! Вот ты и подумай. Я бы на твоем месте (ты провел это и нас сагитировал) с большевистской смелостью признал бы эту ошибку и приказал разобрать кур и прочую птицу по домам. А? Ну, а если ты не сделаешь, то сделаю я на свою ответственность, как только вернусь. Я поехал, до свиданья.

Нахлобучил кепку, поднял высокий, провонявший нафталином воротник кулацкого тулупа, сказал, увязывая папку:

— Всякие же монашки недобитые ходят, и вот ну болтать про нас — женщин, старушек вооружать против. А колхозное дело такое молодое и страшно необходимое. Все должны быть за нас! И старушки и женщины. Женщина тоже имеет свою роль в колхозе, факт! — и вышел, широко и тяжело ступая.

— Пойдем, Макар, курей разгонять по домам. Давыдов правильные слова говорил.

Размётнов, выжидая ответа, долго смотрел на Нагульнова... Тот сидел на подоконнике, распахнув полушубок, вертел в руках шапку, беззвучно шевелил губами. Так прошло минуты три. Голову поднял Макар разом, и Размётнов встретил его открытый взгляд.

— Пойдем. Промахнулись. Верно! Давыдов-то, черт щербатый, в аккурат и прав...— и улыбнулся чуть смущенно.

Давыдов садился в сани, около него стоял Кондрат Майданников. Они о чем-то оживленно говорили. Кондрат размахивал руками, с жаром рассказывая; кучер нетерпеливо перебирал вожжи, поправляя подоткнутый под сиденье махорчатый кнут. Давыдов слушал, покусывая губы.

Сходя с крыльца, Размётнов слышал, как Давыдов сказал:

— Ты не волнуйся. Ты поспокойнее. Всё в наших руках, всё обтяпаем, факт! Введем систему штрафов, обяжем бригадиров следить под их личную ответственность. Ну, пока!

Над лошадиными спинами взвился и щелкнул кнут. Сани вычертили на снегу синие округлые следы полозьев, скрылись за воротами.

На птичьем дворе сотни кур рассыпаны разноцветной галькой. Дед Аким с хворостинкой похаживает по двору. Ветерок заигрывает с сивой его бородой, сушит на лбу зернистый пот. Ходит «курощуп», расталкивая валенками кур; через плечо у него висит мешок, наполовину наполненный озадками. Сыплет дед озадки узкой стежкой от амбара к сараю, а под ногами у него варом кипят куры, непрестанно звучит торопливо-заботливое: «Ко-ко-ко-ко-ко-ко!»

На гумне, отгороженном частоколом, сплошными завалами известняка белеют гусиные стада. Оттуда, как с полой воды во время весеннего перелета, полнозвучный и зычный несется гогот, хлопанье крыл, кагаканье. Возле сарая — тесно скученная толпа людей. Наружу торчат одни спины да зады. Головы наклонены вниз,— куда-то под ноги, внутрь круга, устремлены глаза.

Размётнов подошел, заглянул через спины, пытаясь разглядеть, что творится в кругу. Люди сопят, вполголоса переговариваются.

- Красный собьет

- Как то ни черт! Гля, у него уж гребень набок.

- Ох, как он его саданул!

- Зев-то разинул, приморился...

Голос деда Щукаря:

— Не пихай! Не пихай! Он сам начнет! Не пихай, шалавый!.. Вот я тебе пихну под дыхало!..

В кругу, распустив крылья, ходят два кочета, один — ярко-красный, другой — оперенный иссиня-черным,— грачиным пером. Гребни их расклеваны и черны от засохшей крови, под ногами набиты черные и красные перья. Бойцы устали. Они расходятся, делают вид, будто что-то

клюют, гребут ногами подтаявший снег, следя друг за другом настороженными глазами. Притворное равнодушие их коротко: черный внезапно отталкивается от земли, летит вверх, как «галка» с пожарища, красный тоже подпрыгивает. Они сшибаются в воздухе раз и еще раз...

Дед Щукарь смотрит, забыв все на свете. На кончике его носа зябко дрожит сопля, но он не замечает. Все внимание его сосредоточено на красном кочете. Красный должен победить. Дед Щукарь бился с Демидом Молчуном об заклад. Из напряженнейшего состояния Щукаря неожиданно выводит чья-то рука: она грубо тянет деда за ворот полушубка, вытаскивает из круга. Щукарь поворачивается, лицо его изуродовано несказанной злобой, кочетиной решимостью броситься на обидчика. Но выражение лица мгновенно меняется, становится радушным и приветливым: это — рука Нагульнова. Нагульнов, хмурясь, расталкивает зрителей, разгоняет петухов, мрачно говорит:

— Китýшки тут оббиваете, кочетов стравливаете... А ну, расходись на работу, лодыри! Ступайте сено метать к конюшне, коли делать нечего. Навоз идите возить на огороды. Двое пущай идут по дворам и оповещают баб, чтобы шли разбирать курей.

— Распущается куриный колхоз? — спрашивает один из любителей кочетиного боя, единоличник в лисьем треухе, по прозвищу Банник.— Видать, ихняя сознательность не доросла до колхоза! А при сицилизме кочета будут драться или нет?

Нагульнов меряет спрашивающего тяжеленным взглядом, бледнеет:

— Ты шути, да знай, над чем шутить! За социализм самый цвет людской погиб, а ты, дерьмо собачье, над ним вышучиваешься? Удались зараз же отседова, контра, а то вот дам тебе в душу, и поплывешь на тот свет. Пошел, гад, пока из тебя упокойника не сделал! Я ить тоже шутить умею!

Он отходит от притихших казаков, в последний раз глядит на баз, полный птицей, и медленно, сутуловато идет к калитке, подавив тяжелый вздох.

ГЛАВА XX

В райкоме синё вился табачный дым, тарахтела пишущая машинка, голландская печь дышала жаром. В два часа дня должно было состояться заседание бюро. Секретарь

райкома — выбритый, потный, с расстегнутым от духоты воротом суконной рубахи — торопился: указав Давыдову на стул, он почесал обнаженную пухло-белую шею, сказал:

— Времени у меня мало, ты это учти. Ну, как там у тебя? Какой процент коллективизации? До ста скоро догонишь? Говори короче.

— Скоро. Да тут не в проценте дело. Вот как с внутренним положением быть? Я привез план весенних полевых работ; может быть, посмотришь?

— Нет, нет! — испугался секретарь и, болезненно щуря сумчатые глаза, вытер платочком со лба пот.— Ты с этим иди к Лупетову, в райполеводсоюз. Он там посмотрит и утвердит, а мне некогда: из окружкома товарищ приехал, сейчас будет заседание бюро. Ну, спрашивается, за каким ты чертом к нам кулаков направил? Беда с тобой... Ведь я же русским языком говорил, предупреждал: «С этим не спеши, сколь нет у нас прямых директив». И вместо того, чтобы за кулаками гонять и, не создавши колхоза, начинать раскулачиванье, ты бы лучше сплошную кончал. Да что это у тебя с семфондом-то? Ты получил директиву райкома о немедленном создании семфонда? Почему до сих пор ничего не сделано во исполнение этой директивы? Я буду вынужден сегодня же на бюро поставить о вас с Нагульновым вопрос. Мне придется настаивать, чтобы вам записали это в дела. Это же безобразие! Смотри, Давыдов! Невыполнение важнейшей директивы райкома повлечет за собой весьма неприятные для тебя оргвыводы! Сколько у тебя собрано семенного по последней сводке? Сейчас я проверю...— Секретарь вытащил из стола разграфленный лист, щурясь, скользнул по нему глазами и разом покрылся багровой краской.— Ну, конечно. Ни пуда не прибавлено! Что же ты молчишь?

— Да ты не даешь мне говорить. Семфондом, верно, еще не занимались. Сегодня же вернусь, и начнем. Все это время каждый день созывали собрания, организовывали колхоз, правление, бригады, факт! Дела очень много, нельзя же так, как ты хочешь: по щучьему веленью, раз-два — и колхоз создать, и кулака изъять, и семфонд собрать... Все это мы выполним, и ты не торопись записывать в дело, еще успеешь.

— Как не торопись, если округ и край жмут, дышать не дают! Семфонд должен быть создан еще к первому февраля, а ты...

— А я его создам к пятнадцатому, факт! Ведь не в феврале же сеять будем? Сегодня послал члена правления

за триером в Тубянской. Там председатель колхоза Гнедых бузит, на нашем письменном запросе, когда у них освободится триер, написал резолюцию: «В будущие времена» Тоже остряк-самоучка, факт!

— Ты мне про Гнедых не рассказывай. О своем колхозе давай.

— Провели кампанию против убоя скота. Сейчас не режут. На днях приняли решение обобществить птицу и мелкий скот, из боязни, что порежут, да и вообще... Но я сегодня сказал Нагульнову, чтобы он обратно раздал птицу.

— Это зачем?

— Считаю ошибочным обобществление мелкого скота и птицы, в колхозе это пока не нужно.

— Собрание колхоза приняло такое решение?

— Приняло.

— Так в чем же дело?

— Нет птичников, настроение у колхозника упало, факт! Незачем его волновать по мелочам... Птицу не обязательно обобществлять, не коммуну строим, а колхоз.

— Хорошенькая теория! А возвращать обратно есть зачем? Конечно, не нужно было браться за птицу, но если уж провели, то нечего пятиться назад. У вас там какое-то топтание на месте, двойственность... Надо решительно подтянуться! Семфонд не создан, ста процентов коллективизации нет, инвентарь не отремонтирован...

— Сегодня договорились с кузнецом.

— Вот видишь, я и говорю, что темпов нет! Непременно агитколонну к вам надо послать, она вас научит работать.

— Пришли. Очень хорошо будет, факт!

— А вот с чем не надо торопиться, вы моментально обтяпали. Кури,— секретарь протянул портсигар.— Вдруг, как снег на голову, прибывают подводы с кулаками. Звонит мне из ГПУ Захарченко: «Куда их девать? Из округа ничего нет. Под них эшелоны нужны. На чем их отправлять, куда отправлять?» Видишь, что вы наработали! Не было ни согласовано, ни увязано...

— Так что же я с ними должен был делать?

Давыдов осердился. А когда в сердцах он начинал говорить торопливей, то слегка шепелявил, потому что в щербину попадал язык и делал речь причмокивающей, нечистой. Вот и сейчас он чуть шепеляво, повышенно и страстно заговорил своим грубоватым тенорком:

— На шею я их должен был себе повесить? Они убили бедняка Хопрова с женой.

— Следствием это не доказано,— перебил секретарь,— там могли быть посторонние причины.

— Плохой следователь, потому и не доказано. А посторонние причины — чепуха! Кулацкое дело, факт! Они нам всячески мешали организовывать колхоз, вели агитацию против,— вот и выселили их к черту. Мне непонятно, почему ты все об этом упоминаешь? Словно ты недоволен...

— Глупейшая догадка! Поосторожней выражайся! Я против самодеятельности в таких случаях, когда план, плановая работа подменяется партизанщиной. А ты первый ухитрился выбросить из своего хутора кулаков, поставив нас в страшно затруднительное положение с их выселением. И потом, что за местничество, почему ты отправил их на своих подводах только до района? Почему не прямо на станцию, в округ?

— Подводы нужны были.

— Вот я и говорю — местничество! Ну, хватит. Так вот тебе задания на ближайшие дни: собрать полностью семфонд, отремонтировать инвентарь к севу, добиться стопроцентной коллективизации. Колхоз твой будет самостоятельным. Он территориально отдален от остальных населенных пунктов и в «Гигант», к сожалению, не войдет. А тут в округе — черт бы их брал! — путают: то «гиганты» им подавай, то разукрупняй! Мозги переворачиваются!

Секретарь взялся за голову; посидел с минуту молча и уже другим тоном сказал:

— Ступай согласовывай план в райполеводсоюз, потом обедай в столовке, а если там обедов не захватишь, иди ко мне на квартиру, жена тебя покормит. Подожди! Записку напишу.

Он быстро черканул что-то на листке бумажки, сунул Давыдову и, уткнувшись в бумаги, протянул холодную, потную руку.

— И тотчас же езжай. Будь здоров. А на бюро я о вас поставлю. А впрочем, нет. Но подтянитесь. Иначе — оргвыводы.

Давыдов вышел, развернул записку. Синим карандашом было размашисто написано:

«Лиза! Категорически предлагаю незамедлительно и безоговорочно предоставить обед предъявителю этой записки.

Г. Корчжинский».

«Нет, уже лучше без обеда, чем с таким мандатом»,— уныло решил проголодавшийся Давыдов, прочитав записку и направляясь в райполеводсоюз.

ГЛАВА XXI

По плану площадь весенней пахоты в Гремячем Логу должна была составить в этом году 472 гектара, из них 110 — целины. Под зябь осенью было вспахано — еще единоличным порядком — 643 гектара, озимого жита посеяно 210 гектаров. Общую посевную площадь предполагалось разбить по хлебным и масличным культурам следующим порядком: пшеницы — 667 гектаров, жита — 210, ячменя — 108, овса — 50, проса — 65, кукурузы — 167, подсолнуха — 45, конопли — 13. Итого — 1325 гектаров плюс 91 гектар отведенной под бахчи песчаной земли, простиравшейся на юг от Гремячего Лога до Ужачиной балки.

На расширенном производственном совещании, состоявшемся двенадцатого февраля и собравшем более сорока человек колхозного актива, стоял вопрос о создании семенного фонда, о нормах выработки на полевых работах, ремонте инвентаря к севу и о выделении из фуражных запасов брони на время весенних полевых работ.

По совету Якова Лукича, Давыдов предложил засыпать семенной пшеницы круглым числом по семи пудов на гектар, всего — 4669 пудов. Тут-то и поднялся оглушительный крик. Всяк себе орал, не слушая другого, от шума стекла в Титковом курене дрожали и вызванивали.

— Много дюже!

— Как бы не прослабило!

— По серопескам сроду мы так не высевали.

— Курям на смех!

— Пять пудов, от силы.

— Ну, пять с половиной.

— У нас жирной земли, какая по семь на десятину требует, с воробьиный нос! Толоку надо бы пахать, чего власть предусматривала?

— Либо возле Панюшкина буерака, энти ланы.

— Хо! Самые травяные места запахивать! Сказал, как в воду дунул!

— Вы про хлеб гутарьте, сколько килов на эту га надо.

— Ты нам килами голову не морочь! Мерой али пудом вешай!

— Гражданы! Гражданы, тише! Гражданы, вашу...! Тю-у-у, сбесились, проклятые! Одно словцо мне дайте! — надрывался бригадир второй, Любишкин.

— Бери их все, даем!

— Ну, народ, язви его в почку! Чисто скотиняка..

Игнат! И чего ты ревешь, как бугай? Ажник посинел весь с натуги...

— У тебя у самого с рота пена клубом идет, как у бешеной собаки!

— Любишкину слово представьте!

— Терпежу нету, глушно!

Совещание лютовало в выкриках. И наконец, когда самые горлодеры малость приохрипли, Давыдов свирепо, необычно для него, заорал:

— Кто-о-о так совещается, как вы?.. Почему рев? Каждый говорит по порядку, остальные молчат, факт! Бандитства здесь нечего устраивать! Сознательность надо иметь! — И тише продолжал: — Вы должны у рабочего класса учиться, как надо организованно проводить собрания. У нас в цеху, например, или в клубе собрание, и вот идет оно порядком, факт! Один выступает, остальные слушают, а вы кричите все сразу, и ни черта не поймешь!

— Кто вякнет середь чужой речи, того вот этой задвижкой так и потяну через темя, ей-богу! Чтоб и копыта на сторону откинул! — Любишкин встал, потряс дубовым толстенным запором.

— Этак ты нас к концу собрания всех перекалечишь! — высказал предположение Демка Ушаков.

Совещавшиеся посмеялись, покурили и уже серьезно взялись за обсуждение вопроса о норме высева. Да оно, как выяснилось, и спорить-то и орать было нечего... Первым взял слово Яков Лукич и сразу разрешил все противоречия.

— Надсадились от крику занапрасну. Почему товарищ Давыдов предлагали по семи пудов? Очень просто, это наш общий совет. Протравливать и чистить на триере будем? Будем. Отход будет? Будет. И может много быть отходу, потому у иных хозяев, какие нерадеи, семенное зерно от озадков не отличишь. Блюдется оно с едовым вместе, подсевается абы как. Ну, а ежели и будут остальцы, не пропадут же они? Птицей, животиной потравим.

Решили — по семь пудов. Хуже дело пошло, когда коснулись норм выработки на плуг. Тут уж пошел такой разнобой в высказываниях, что Давыдов почти растерялся.

— Как ты могешь мне выработку загодя на плуг устанавливать, ежели не знаешь, какая будет весна? — кричал бригадир третьей бригады, рябой и дюжий Агафон Дубцов, нападая на Давыдова.— А ты знаешь, как будет снег таять и какая из-под него земля выйдет, сырая или сухая? Ты что, сквозь землю видишь?

— А ты что же предлагаешь, Дубцов? — спрашивал Давыдов.

— Предлагаю бумагу зря не портить и зараз ничего не писать. Пройдет сев, и толкач муку покажет.

— Как же ты — бригадир, а несознательно выступаешь против плана? По-твоему, он не нужен?

— Нельза загодя сказать, что и как! — неожиданно поддержал Дубцова Яков Лукич.— И норму как можно становить? У вас, к примеру, в плугу три пары добрых старых быков ходют, а у меня трехлетки, недоростки. Разве же я с ваше вспашу? Сроду нет!

Но тут вмешался Кондрат Майданников:

— От Островнова, завхоза, дюже удивительно нам такие речи слухать! Как же ты без заданий будешь работать? Как бог на душу положит? Я от чапиг не буду рук отымать, а ты на припеке будешь спину греть, а получать за это будем одинаково? Здорово живешь, Яков Лукич!

— Слава богу, Кондрат Христофорыч! А как же ты уравняешь бычиную силу и землю? У тебя — мягкая земля, а у меня — крепь, у тебя — в низине лан, а у меня — на бугру. Скажи уж, ежели ты такой умный.

— По крепкой — одна задача, по мягкой — другая. Быков можно подравнять в запряжках. Все можно учесть, ты мне не толкуй!

— Ушаков хочет говорить.

— Просим!

— Я бы, братцы, так сказал: худо́бу надо, как оно всегда водится, за месяц до сева начать кормить твердым кормом: добрым сеном, кукурузой, ячменем. Вот тут вопросина: как у нас с кормами будет? Хлебозаготовка съела лишнюю зерно...

— О скоте потом будет речь. Сейчас это не по существу, факт! Надо решать вопрос о нормах дневной выработки на пахоте. Сколько гектаров по крепкой земле, сколько на плуг, сколько на сеялку.

— Сеялки — они тоже разные! Я на одиннадцатирядной не сработаю же с семнадцатирядовкой.

— Факт! Вноси свое предложение. А вы чего, гражданин, все время молчите? Числитесь в активе, а голоса вашего я еще не слыхал.

Демид Молчун удивленно взглянул на Давыдова, ответил нутряным басом:

— Я согласный.

— С чем?

— Что надо пахать, стало быть... и сеять.
— Ну?
— Вот и все.
— И все?
— Кгм.
— Поговорили,— Давыдов улыбнулся, еще что-то сказал, но за общим хохотом слов его не было слышно.
Потом уже за Молчуна объяснился дед Щукарь:
— Он у нас в хуторе, товарищ Давыдов, Молчуном прозывается. Всю жизню молчит, гутарит в крайностях, через это его и жена бросила. Казак он неглупой, а вроде дурачка, али, нежнее сказать, как бы с придурью, что ли, али бы вроде мешком из-под угла вдаренный. Мальчонком был, я его помню, сопливый такой и никудышный, без порток бегал, и никаких талантов за ним не замечалось, а зараз вот вырос и молчит. Его при старом прижиме тубянской батюшка даже причастия за это лишал. На исповеди накрыл его черным платком, спрашивает (в великий пост было дело, на семой, никак, неделе): «Воруешь, чадо?» Молчит. «Блудом действуешь?» Опять молчит. «Табак куришь? Прелюбы сотворяешь с бабами?» Обратно молчит. Ему бы, дураку, сказать, мол: «Грешен, батюшка!» — и сей момент было бы отпущение грехов...
— Да заткнись ты! — Голос сзади и смех.
— ...Зараз, в один секунд кончаю! Ну, а он толечко сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. Батюшка в отчаянность пришел, в испуг вдарился, питрахиль на нем дрожит, а все-таки спрашивает: «Может, ты когда жену чужую желал или ближнего осла его, или протчего скота его?» Ну, и разное другое по евангелию... Демид опять же молчит. Да и что же можно ему сказать? Ну, жену чью бы он ни пожелал, все одно этого дела не было бы: никакая, самая последняя, ему не...
— Кончай, дед! К делу не относящийся твой рассказ,— сурово приказал Давыдов.
— Он зараз отнесется, вот-вот подойдет к делу. Это толечки приступ. Ишо один секунд! Перебили... Ах, едрить твою за кочан! Забыл, об чем речь-то шла!.. Дай бог памяти... Т-твою!.. с такой памятью! Вспомнил! — Дед Щукарь хлопнул себя по плеши, посыпал очередями, как из пулемета: — Так вот, насчет чужой женки Демидовы дела табак были, а осла чего ему желать или протчую святую скотиняку? Он, может, и пожелал бы, пребывая в хозяйстве безлошадным, да они у нас не водются, и он их сроду не видал. А спрошу я вас, дорогие граждане, откель у нас

ослы? Спокон веку их тут не было! Тигра там или осел, то ж самое верблюд...

— Ты замолчишь ноне? — спросил Нагульнов.— Зараз выведут из хаты.

— Ты, Макарушка, на Первое мая об мировой революции с полден до закату солнца в школе говорил. Скучно говорил, слов нет, то же да одно же толок. Я потихонечку на лавке свернулся калачом, уснул, а перебивать тебя не решился, а вот ты перебиваешь...

— Нехай кончает дед. Время у нас терпит,— сказал Размётнов, шибко любивший шутку и веселый рассказ.

— Может, через это он и смолчал, никому ничего не известно. Поп тут диву дался. Лезет головой к Демиду под платок, пытает: «Да ты не немой?» Демид тут говорит ему: «Нету, мол, надоел ты мне!» Поп тут осерчал, слов нет, ажник зеленый с лица стал, как зашипит потихоньку, чтоб ближние старухи не слыхали: «Так чего же ты, тудыт твою, молчишь, как столб?» Да ка-а-ак дюбнет Демида промеж глаз малым подсвечником!

Хохот покрывается рокочущим басом Демида:

— Брешешь! Не вдарил.

— Неужели не вдарил? — страшно удивился дед Щукарь.— Ну, все одно, хотел, небось, вдарить... Тут он его и причастия лишил. Что же, гражданы, Демид молчит, а мы будем гутарить, нас это не касаемо. Хучь оно хорошее слово, как мое, и серебро, а молчание — золото.

— Ты бы все свое серебро-то на золото променял! Другим бы спокойнее было...— посоветовал Нагульнов.

Смех то вспыхивал горящим сухостоем, то гаснул. Рассказ деда Щукаря было нарушил деловую настроенность. Но Давыдов смахнул с лица улыбку, спросил:

— Что ты хотел сказать о норме выработки? К делу приступай!

— Я-то? — Дед Щукарь вытер рукавом вспотевший лоб, заморгал.— Я ничего про нее не хотел... Я про Демида засветил вопрос... А норма тут ни при чем...

— Лишаю тебя слова на это совещание! Говорить надо по существу, а балагурить можно после, факт!

— Десятину в сутки на плуг,— предложил один из агроуполномоченных, колхозник Батальщиков Иван.

Но Дубцов возмущенно крикнул:

— Одурел ты! Бабке своей рассказывай побаски! Не вспашешь за сутки десятину! В мылу будешь, а не сработаешь.

— Я пахал допрежь. Ну, чудок, может, и меньше...

— То-то и оно, что меньше!

— Полдесятины на плуг. Это — твердой земли.

После долгих споров остановились на следующей суточной норме вспашки: твердой земли на плуг — 0,60 гектара, мягкой — 0,75.

И по высеву для садилок: одиннадцатирядной — $3^1/_4$ гектара, тринадцатирядной — 4, семнадцатирядной — $4^3/_4$.

При общем наличии в Гремячем Логу 184 пар быков и 73 лошадей план весеннего сева не был напряженным. Об этом так и заявил Яков Лукич:

— Отсеемся рано, ежели будем работать при усердии. На тягло падает по четыре с половиной десятины на весну. Это легко, братцы! И гутарить нечего.

— А вот в Тубянском вышло по восемь на тягло,— сообщил Любишкин.

— Ну, и пущай они себе помылят промеж ног! Мы до заморозков прошлую осень пахали зябь, а они с покрова хворост зачали делить, шило на мыло переводить.

Приняли решение засыпать семфонд в течение трех дней. Выслушали нерадостное заявление кузнеца Ипполита Шалого. Он говорил зычно, так как был туговат на ухо, и все время вертел в черных, раздавленных работой руках замаслившийся от копоти треух, робея говорить перед столь многолюдным собранием:

— Всему можно ремонт произвесть. За мной дело не станет. Но вот насчет железа как ни мога́ надо стараться, зараз же его добывать. Железа на лемешки и на черёсла плугов и куска нету. Не с чем работать. К са́дилкам я приступаю с завтрашнего дня. Подручного мне надо и угля. И какая мне от колхоза плата будет?

Давыдов подробно разъяснил ему относительно оплаты и предложил Якову Лукичу завтра же отправиться в район за железом и углем. Вопрос о создании фуражной брони разрешили скоро.

Потом взял слово Яков Лукич:

— Надо вам толком обсудить, братцы, как, где и что сеять, и полевода надо выбрать знающего, грамотного человека. Что же, было у нас до колхоза пять агроуполномоченных, а делов ихних не видно. Одного полевода нужно выбрать из старых казаков, какой всю нашу землю знает, и ближнюю и переносную. Покеда новое землеустройство не прошло, он нам дюже сгодится! Я скажу так: зараз в колхозе у нас почти весь хутор. Помаленечку вступают да вступают. Дворов полсотни осталось единоличников, да и энти

завтра проснутся колхозниками... вот и надо нам сеять по науке, как она диктует. Я это к тому, чтобы из двухсот десятин, какие у нас под пропашные предназначаются, половину работать под херсонский пар. Нонешнюю весну сто десять десятин будем подымать целины, вот и давайте их кинем под этот херсонский пар.

— Слыхом про такой не слыхивали!

— Что это за херсон?

— Ты нам фактически освети это,— попросил Давыдов, втайне гордясь познаниями своего столь многоопытного завхоза.

— А это вот какой пар, иначе он ишо прозывается кулисным, американским. Это дюже любопытно и с умом придумано! К примеру, сеете вы нонешний год пропашные, ну, кукурузу там либо подсолнушки, и сеете редким рядом, наполовину реже, чем завсегда, так что урожай супротив настоящего, правильного посева соберете толечко пятьдесят процентов. Кочны с кукурузы сымете либо подсолнуховые шляпки поломаете, а будылья оставляете на месте. И в эту же осень промеж будыльев по кулисам сеете пшеницу-озимку.

— А как же сеять-то? Са́дилка будылья ить поломает? — спросил жадно, с открытым ртом слушавший, Кондрат Майданников.

— Зачем поломает? Ряды же редкие, через это она будылья не тронет, рукава ее мимо пойдут, стало быть, ляжет и задержится промеж будыльев снег. Таять он будет степенно и влаги больше даст. А весною, когда пшеница подымется, эти будылья удаляют, пропалывают. Довольно завлекательно придумано. Я сам хучь и не пробовал так сеять, а в этом году уж было намеревался спытать. Тут верный расчет, без ошибки!

— Это вот да! Поддерживаю! — Давыдов толкнул под столом ногою Нагульнова, шепнул: — Видишь? А ты все был против него...

— Я и зараз против...

— Это же от упрямства, факт! Уперся, как вол...

Совещание приняло предложение Якова Лукича. После этого решили и обсоветовали еще кучу мелких дел. Стали расходиться. Не успели Давыдов с Нагульновым дойти до сельсовета, как из сельсоветского двора навстречу им быстро зашагал невысокий парень в распахнутой кожаной тужурке и юнгштурмовском костюме. Придерживая рукой клетчатую городскую кепку, преодолевая сопротивление бившего порывами ветра, он быстро приближался.

— Из району кто-то.— Нагульнов сощурился.

Паренек подошел вплотную, по-военному приложил руку к козырьку кепки.

— Вы не из сельсовета?

— А вам кого?

— Секретаря здешней ячейки или предсовета.

— Я секретарь ячейки, а это — председатель колхоза.

— Вот и хорошо. Я, товарищи, из агитколонны. Мы только что приехали и ждем вас в Совете.

Курносый и смуглолицый паренек, быстро скользнув глазами по лицу Давыдова, вопрошающе улыбнулся:

— Ты не Давыдов, товарищ?

— Давыдов.

— Я тебя угадал. Недели две назад встречались мы с тобой в окружкоме. Я в округе работаю, на маслозаводе, прессовщиком.

И только тут Давыдов понял, почему, когда подошел к ним парень, вдруг пахуче и сладко дохнуло от него подсолнечным маслом: его промасленная кожаная куртка была насквозь пропитана этим невыветривающимся вкусным запахом.

ГЛАВА XXII

На сельсоветском крыльце, спиной к подходившему Давыдову, стоял приземистый человек в черной, низко срезанной кубанке с белым перекрестком по верху и в черном дубленом сборчатом полушубке. Плечи человека в кубанке были необъятно широки, редкостно просторная спина заслоняла всю дверь вместе с притолоками. Он стоял, раскорячив куцые, сильные ноги, низкорослый и могучий, как степной вяз. Сапоги с широченными морщеными голенищами и сбитыми на сторону каблуками, казалось, вросли в настил крыльца, вдавили его тяжестью медвежковатого тела.

— Это командир нашей агитколонны, товарищ Кондратько,— сказал паренек, шедший рядом с Давыдовым. И, заметив улыбку на его губах, шепнул: — Мы его между собой в шутку зовем «батько Квадратько»... Он — с Луганского паровозостроительного. Токарь. По возрасту — папаша, а так — парень хоть куда!

В этот момент Кондратько, заслышав разговор, повернулся багровым лицом к Давыдову, под висячими бурыми усами его в улыбке бело вспыхнули зубы:

— Оце, мабуть, и радянська власть? Здоровеньки булы, братки!

— Здравствуйте, товарищ. Я — председатель колхоза, а это — секретарь партячейки.

— Добре! Ходимте у хату, а то вже мои хлопци заждались. Як я у цей агитколонни голова, то я з вами зараз и побалакаю. Зовуть мене Кондратько, а коли мои хлопци будут казать вам, шо зовуть мене Квадратько, то вы им, пожалуйста, не давайти виры, бо они у мене таки скаженни та дурны, шо и слов нема...— говорил он громовитым басом, боком протискиваясь в дверь.

Осип Кондратько работал на юге России более двадцати лет. Сначала в Таганроге, потом в Ростове-на-Дону, в Мариуполе и, наконец, в Луганске, откуда и пошел в Красную гвардию, чтобы подпереть своим широким плечом молодую Советскую власть. За годы общения с русскими он утратил чистоту родной украинской речи, но по облику, по нависшим шевченковским усам в нем еще можно было узнать украинца. Вместе с донецкими шахтерами, с Ворошиловым шел он в 1918 году сквозь полыхавшие контрреволюционными восстаниями казачьи хутора на Царицын... И уже после, когда в разговоре касались отлетевших в прошлое годов гражданской войны, чей отзвук неумираемо живет в сердцах и памяти ее участников, Кондратько с тихой гордостью говорил: «Наш Клементий, луганський... Як же, колысь булы добре знакомы, та, мабуть, ще побачимось. Вин мене зразу взнае! Пид Царицыном, як воювалы з билыми, вин зо мной стике разив шутковав: «Ну як, каже, Кондратько, дило? Ты ще живой, старый вовк?» — «Живый, кажу. Клементий Охримыч, николы зараз помырать, бачите, як з контрой рубаемось? Як скаженни!» Колы б побачились, вин бы мене и зараз пригорнув»,— уверенно заканчивал Кондратько.

После войны он опять попал в Луганск, служил в органах Чека на транспорте, потом перебросили его на партработу и снова на завод. Оттуда-то по партмобилизации и был он послан на помощь коллективизирующейся деревне. За последние годы растолстел, раздался вширь Кондратько... Теперь не узнать уж соратникам того самого Осипа Кондратько, который в 1918 году на подступах к Царицыну зарубил в бою четырех казаков и кубанского сотника Мамалыгу, получившего «за храбрость» серебряную с золотой насечкой шашку из рук самого Врангеля. Взматерел Осип, начал стариться, по лицу пролегли синие и фиолетовые прожилки... Как коня быстрый бег и усталь кроют седым

мылом, так и Осипа взмылило время сединой; даже в никлых усах — и там поселилась вероломная седина. Но воля и сила служат Осипу Кондратько, а что касается неумеренно возрастающей полноты, то это пустое. «Тарас Бульба ще важче мене був, а з ляхами як рубався? Ото ж! Колы прийдется воюваты, так я ще зумию з якого-небудь охвицера двох зробыти! А пивсотни годив моих — що ж таке? Мий батько сто жив при царськой власти, а я зараз при своей риднесенькой пивтораста проживу!» — говорит он, когда ему указывают на его лета и все увеличивающуюся толщину.

Кондратько первым вошел в комнату сельсовета.

— Просю тыше, хлопци! Ось — председатель колхоза, а це — секретарь ячейки. Треба нам зараз послухать, яки тутечка дила, тоди будемо знать, шо нам робыть. А ну, сидайте!

Человек пятнадцать из состава агитколонны, разговаривая, стали рассаживаться, двое пошли на баз — видимо, к лошадям. Рассматривая незнакомые лица, Давыдов узнал трех районных работников: агронома, учителя из школы второй ступени и врача; остальные были присланы из округа, некоторые, судя по всему, с производства. Пока рассаживались, двигая стульями и покашливая, Кондратько шепнул Давыдову:

— Прикажи, шоб нашим коням синця кинули та шоб пидводчикы не отлучалысь,— и хитро прижмурился.— А мабуть, у тебя и овсом мы разживемось?

— Нет овса, остался лишь семенной,— ответил Давыдов и тотчас же весь внутренне похолодел, остро ощущая неловкость, неприязнь к самому себе.

Овса кормового было еще более ста пудов, но он ответил отказом потому, что оставшийся овес хранили к началу весенних работ как зеницу ока; и Яков Лукич, чуть не плача, отпускал лошадям (одним правленческим лошадям!) по корцу драгоценного зерна, и то только перед долгими и трудными поездками.

«Вот она, мелкособственническая стихия! И меня захлестывать начинает...— подумал Давыдов.— Ничего подобного не было раньше, факт! Ах, ты... Дать, что ли, овса? Нет, сейчас уже неудобно».

— Мабуть, ячмень е?

— И ячменя нет.

Ячменя в самом деле не было, но Давыдов вспыхнул под улыбчивым, понимающим взглядом Кондратько.

— Нет, серьезно говорю — нету ячменя.

— Гарный з тебе хозяин був бы... Тай ще, мабуть, и кулак...— смеясь в усы, басил Кондратько, но, видя, что Давыдов сдвигает брови, обнял его, чуточку приподнял от пола.— Ни-ни! То я шуткую. Нема так нема! Соби ховай бильше, шоб свою худобу було чим годувать... Так, ну, братики,— к дилу! Шоб мертву тишину блюлы.— И обращаясь к Давыдову и Нагульнову: — Приихалы мы до вас, шоб якусь-то помогу вам зробить, це вам, надиюсь, звистно. Так от докладайте: яки у вас тутечка дила?

После сделанного Давыдовым обстоятельного доклада о ходе коллективизации и засыпке семенного фонда Кондратько решил так:

— Нам усим тут ничого робыть,— он кряхтя, извлек из кармана записную книжку и карту-трехверстку, повел по ней толстым пальцем,— мы поидемо у Тубянський. До цього хутора, як бачу я, видциля блызенько, а у вас тутечка кинемо бригаду з чотырех хлопцив, хай воны вам пидсобляють у работи. А шо касаемо того, як скорийше собрать семфонд, то я хочу вам присовитувать так: уначали проведить собрания, расскажить хлиборобам, шо воно и як, а вже тоди о так развернете массовую работу,— говорил он подробно и не спеша.

Давыдов с удовольствием слушал его речь, временами не совсем ясно разбираясь в отдельных выражениях, затемненных полупонятным для него украинским языком, но крепко чувствуя, что Кондратько излагает в основном правильный план кампании по засыпке семенного зерна. А Кондратько все так же неспешно наметил линию, которую нужно вести в отношении единоличника и зажиточной части хутора, ежели, паче чаяния, они вздумают упорствовать и так или иначе сопротивляться мероприятиям по сбору семзерна; указал на наиболее эффективные методы, основанные на опыте работы агитколонны в других сельсоветах; и все время говорил мягко, без малейшего намека на желание руководить и поучать, по ходу речи советуясь то с Давыдовым, то с Размётновым, то с Нагульновым. «Це дило треба о так повернуть. Як вы, гремяченци, думаете? Ото ж и я так соби думал!»

А Давыдов, улыбчиво глядя на багровое, в прожилках лицо токаря Кондратько, на шельмовский блеск его глубоко посаженных глазок, думал: «Экий же ты, дьявол, умница! Не хочет нашу инициативу вязать, будто бы советуется, а начни возражать против его правильной расстановки,— он тебя так же плавно повернет на свой лад, факт! Видывал я таких, честное слово!»

Еще один мелкий случай укрепил его симпатии к товарищу Кондратько: перед тем как уезжать, тот отозвал в сторону бригадира, оставшегося с тремя товарищами в Гремячем Логу, и между ними короткий возник разговор:

— Шо це ты надив на себя поверх жакетки наган? Зараз же скынь!

— Но, товарищ Кондратько, ведь кулачество... классовая борьба...

— Та шо ты мени там кажешь? Кулачество, ну так шо, як кулачество? Ты приихав агитировать, а колы кулакив злякався, так имий наган, но наверху его не смий носить. Вумный який! У его, не у его наган! Як дитына мала! Цацкается з оружием, начепыв зверху... Зараз же заховай у карман, шоб той же пидкулачник не сказав про тебе: «Дывысь, люди добри, ось як вас приихали агитировать, з наганами!» — и сквозь зубы кончил: — Таке дурне...

И уже садясь в сани, подозвал Давыдова, повертел пуговицу на его пальто:

— Мои хлопци будут робить, як прокляти! Тике ж и вы гарно робите, шоб усе было зроблено, тай скорийше. Я буду у Тубянськом, колы шо — повидомляй. Приидемо туда, тай ще нынче, мабуть, прийдеться спектакль становыть. От побачив бы ты, як я кулака граю! В мене ж така компликация, шо дозволяе кулака з натуры грать... Ось, як диду Кондратько пришлось на старости лит! А за овес не думай, сердця из-за цього дила на тебя не маю,— и улыбнулся, привалившись широченной спиной к задку саней.

— Что головой башковат, что в плечах, что ноги под ним! — хохотал Размётнов.— Как трактор!.. Он один, впряги его в букарь, потянет, и трех пар быков не нужно. Даже удивительно мне: чем их, таких ядреных людей, и делают, как думаешь, Макар?

— Ты уж вроде деда Щукаря: балабоном становишься! — сердито отмахнулся тот.

ГЛАВА XXIII

Есаул Половцев, живя у Якова Лукича, деятельно готовился к весне, к восстанию. Ночами он до кочетов просиживал в своей комнатушке, что-то писал, чертил химическим карандашом какие-то карты, читал. Иногда, заглядывая к нему, Яков Лукич видел, как Половцев, склонив над столиком лобастую голову, читает, беззвучно шевелит твердыми губами. Но иногда Яков Лукич заставал

его в состоянии тяжелейшей задумчивости. В такие минуты Половцев обычно сидел облокотясь, сунув пальцы в редеющие отросшие космы белесых волос. Сцепленные крутые челюсти его двигались, словно прожевывали что-то неподатливо твердое, глаза были полузакрыты. Только после нескольких окликов он поднимал голову, в крохотных, страшных неподвижностью зрачках его возгоралось озлобление. «Ну, чего тебе?» — спрашивал он лающим басом. В такие минуты Яков Лукич испытывал к нему еще больший страх и невольное уважение.

В обязанности Якова Лукича вошло ежедневно сообщать Половцеву о том, что делается в хуторе, в колхозе; сообщал он добросовестно, но каждый день приносил Половцеву новые огорчения, вырубая на щеках его еще глубже поперечные морщины...

После того как были выселены из Гремячего Лога кулаки, Половцев всю ночь не спал. Его тяжелый, но мягкий шаг звучал до зорьки, и Яков Лукич, на цыпочках подходя к двери комнатушки, слышал, как он, скрипя зубами, бормотал:

— Рвут из-под ног землю! Опоры лишают... Рубить! Рубить! Рубить беспощадно!

Умолкнет, снова пойдет, мягко ставя ступни обутых в валенки ног, слышно, как он скребет пальцами тело, чешет по привычке грудь и снова — глухо:

— Рубить! Рубить!..— И мягче, с глухим клекотом в гортани: — Боже милостивый, всевидящий, справедливый!.. Поддержи!.. Да когда же этот час?.. Господи, приблизь твою кару!

Встревоженный Яков Лукич уже на заре подошел к двери горенки, снова приложил к скважине ухо: Половцев шептал молитву, кряхтя, опускался на колени, клал поклоны. Потом погасил огонь, лег и уже в полусне еще раз внятно прошептал: «Рубить всех... до единого!» — и застонал.

Спустя несколько дней Яков Лукич услышал ночью стук в ставню, вышел в сени.

— Кто?

— Открой, хозяин!

— Кто это?

— К Александру Анисимовичу...— шепот из-за двери.

— К какому? Нету тута таких.

— Скажи ему, что я — от Черного, с пакетом.

Яков Лукич помедлил и открыл дверь: «Будь что будет!» Вошел кто-то низенький, закутанный башлыком.

Половцев ввел его к себе, наглухо закрыл дверь, и часа полтора из горенки слышался приглушенный, торопливый разговор. Тем временем сын Якова Лукича положил лошади приехавшего нарочного сена, ослабил подпруги седла, разнуздал.

Потом коннонарочные стали приезжать почти каждый день, но уже не в полночь, а ближе к заре, часов около трехчетырех ночи. Приезжали, видимо, из более дальних мест, нежели первый.

Раздвоенной диковинной жизнью жил эти дни Яков Лукич. С утра шел в правление колхоза, разговаривал с Давыдовым, Нагульновым, с плотниками, с бригадирами. Заботы по устройству базов для скота, протравке хлеба, ремонту инвентаря не давали и минуты для посторонних размышлений. Деятельный Яков Лукич неожиданно для него самого попал в родную его сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности, лишь с тою существенной разницей, что теперь он мотался по хутору, в поездках, в делах уже не ради личного стяжания, а работая на колхоз. Но он и этому был рад, лишь бы отвлечься от черных мыслей, не думать. Его увлекала работа, хотелось делать, в голове рождались всяческие проекты. Он ревностно брался за утепление базов, за стройку капитальной конюшни, руководил переноской обобществленных амбаров и строительством нового колхозного амбара; а вечером, как только утихала суета рабочего дня и приходило время идти домой, при одной мысли, что там, в горенке, сидит Половцев, как коршун-стервятник на могильном кургане, хмурый и страшный в своем одиночестве,— у Якова Лукича начинало сосать под ложечкой, движения становились вялыми, несказанная усталь борола тело... Он возвращался домой и, перед тем как повечерять, шел к Половцеву.

— Говори,— приказывал тот, сворачивая цигарку, готовый жадно слушать.

И Яков Лукич рассказывал об истекшем в колхозных делах дне. Половцев обычно выслушивал молча, лишь единственный раз, после того как Яков Лукич сообщил о происшедшем распределении среди бедноты кулацкой одежды и обуви, его прорвало; с бешенством, с клекотом в горле он крикнул:

— Весною глотки повырвем тем, кто брал! Всех этих... всю эту сволочь возьми на список! Слышишь?

— Список у меня есть, Александр Анисимыч.

— Он у тебя здесь?

— При мне.

— Дай сюда!

Взял список и тщательно снял с него копию, полностью записывая имена, отчества, фамилии и взятые вещи, ставя против фамилии каждого, получившего одежду или обувь, крестик.

Поговорив с Половцевым, Яков Лукич шел вечерять, а перед сном опять шел к нему и получал инструкции: что делать на следующий день.

Это по мысли Половцева Яков Лукич 8 февраля приказал нарядчику второй бригады выделить четыре подводы с людьми и привезти к воловням речного песку. Песок привезли. Яков Лукич распорядился начисто вычистить земляные полы воловен, присыпать их песком. К концу работы на баз второй бригады пришел Давыдов.

— Что это вы с песком возитесь? — спросил он у Демида Молчуна, назначенного бригадным воловником.

— Присыпаем.

— Зачем?

Молчание.

— Зачем, спрашиваю.

— Не знаю.

— Кто распорядился сыпать здесь песок?

— Завхоз.

— А что он говорил?

— Мол, чистоту блюдите... Выдумляет, сукин сын!

— Это хорошо, факт! Действительно, будет чистота, а то навоз и вонь тут, как раз еще волы могут заразиться. Им тоже чистоту подавай, так ветеринары говорят, факт. И ты напрасно, это самое... недовольство выражаешь. Ведь даже смотреть сейчас на воловню приятно: песочек, чистота, а? Как ты думаешь?

Но с Молчуном Давыдов не разговорился,— отмалчиваясь, тот ушел в мякинник, а Давыдов, мысленно одобряя инициативу своего завхоза, пошел обедать.

Перед вечером к нему прибежал Любишкин, озлобленно спросил:

— Вместо подстилок быкам, значится, с нонешнего дня песок сыпем?

— Да, песок.

— Да он, этот Островнов, что? С... с... сорвался, что ли? Где это видано? И ты, товарищ Давыдов?.. Неужели же такую дурь одобряешь?

— А ты не волнуйся, Любишкин! Тут все дело в гигиене, и Островнов правильно сделал. Безопасней, когда чисто: заразы не будет.

— Да какая же это гигиена, в рот ей махай! На чем же быку надо лежать? Гля, какие морозы зараз давят! На соломе ж ему тепло, а на песке, подикась, полежи!

— Нет, ты уж, пожалуйста, не возражай! Надо бросать по старинке ходить за скотом! Подо все мы должны подвести научную основу.

— Да какая же эта основа? Эх!..— Любишкин грохнул своей черной папахой по голенищу, выскочил от Давыдова с рожей краснее калины.

А наутро двадцать три быка не могли встать с пола. Ночью замерзший песок не пропускал бычиной мочи, бык ложился на мокрое и примерзал... Некоторые поднялись, оставив на окаменелом песке клочья кожи, у четырех отломились примерзшие хвосты, остальные передрогли, захворали.

Перестарался Яков Лукич; выполняя распоряжение Половцева, и еле удержался на должности завхоза. «Морозь им быков вот этаким способом! Они — дураки, поверят, что ты это для чистоты. Но лошадей мне блюди, чтобы все были хоть нынче в строй!» — говорил накануне Половцев. И Яков Лукич выполнил.

Утром его вызвал к себе Давыдов; заложив дверь на крючок, не поднимая глаз, спросил:

— Ты что же?..

— Ошибка вышла, дорогой товарищ Давыдов! Да я... бож-же мой... Готов волосья на себе рвать...

— Ты это что же, гад!..— Давыдов побелел, разом вскинул на Якова Лукича глаза, от гнева налитые слезами.— Вредительством занимаешься?.. Не знал ты, что песок нельзя в станки сыпать? Не знал, что волы могут примерзнуть?

— Быкам хотел.. Видит бог, не знал!

— Замолчи ты с своим!.. Не поверю, чтобы ты — такой хозяйственный мужик — не знал!

Яков Лукич заплакал, сморкаясь, бормотал все одно и то же

— Чистоту хотел соблюсть... Чтоб навозу не было... Не знал, недодумал, что оно так выйдет...

— Ступай, сдай дела Ушакову. Будем тебя судить.

— Товарищ Давыдов!..

— Выйди, говорят тебе!

После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал случившееся. Заподозрить Якова Лукича во вредительстве теперь уже казалось ему — было нелепо. Островнов ведь не был кулаком. И если его кое-кто иногда

и называл так, то это было вызвано просто мотивами личной неприязни. Однажды, вскоре после того как Островнов был выдвинут завхозом, Любишкин как-то вскользь бросил фразу: «Островнов сам — бывший кулак!» Давыдов тогда же проверил и установил, что Яков Лукич много лет тому назад действительно жил зажиточно, но потом неурожай разорил его, сделал середняком. Подумал, подумал Давыдов и пришел к выводу, что Яков Лукич не виновен в несчастном случае с быками, что присыпать воловню песком он заставил, движимый желанием установить чистоту и, отчасти, может быть, своим постоянным стремлением к новшествам. «Если б он был вредителем, то не работал бы так ударно, и потом ведь пара его быков тоже пострадала от этого,— думал Давыдов.— Нет, Островнов — преданный нам колхозник, и случай с песком — просто печальная ошибка, факт!» Он вспомнил, как Яков Лукич заботливо и смекалисто устраивал теплые базы, как берег сено, как однажды, когда заболели три колхозные лошади, он с вечера до утра пробыл на конюшне и собственноручно ставил лошадям клизмы, вливал им внутрь конопляное масло, чтобы прошли колики; а потом первый предложил выбросить из колхоза виновника болезни лошадей — конюха первой бригады Куженкова, который, как оказалось, в течение недели кормил лошадей одной житной соломой. По наблюдению Давыдова, о лошадях Яков Лукич заботился, пожалуй, больше, чем кто-либо. Припомнив все это, Давыдов почувствовал себя пристыженным, виноватым перед завхозом за свою вспышку неоправданного гнева. Ему было неловко, что он так грубо накричал на хорошего колхозника, уважаемого согражданами члена правления колхоза, и даже заподозрил его — виновного в одной неосмотрительности — во вредительстве. «Какая чушь!» — Давыдов взъерошил волосы, смущенно крякнул, вышел из комнаты.

Яков Лукич говорил со счетоводом, держа в руке связку ключей, губы его обиженно дрожали...

— Ты вот что, Островнов... Ты дела не сдавай, продолжай работать, факт. Но если у тебя такая штука снова получится... Словом, это самое... Вызови из района ветеринарного фельдшера, а бригадирам скажи, чтобы обмороженных быков освободили от нарядов.

Первая попытка Якова Лукича повредить колхозу окончилась для него благополучно. Половцев временно освободил Островного от следующих заданий, так как был занят другим: к нему приехал — как всегда, ночью — новый человек. Он отпустил подводу, вошел в курень,

и тотчас же Половцев увлек его к себе в горенку, приказал, чтобы никто не входил. Они проговорили допоздна, и на следующее утро повеселевший Половцев позвал Якова Лукича к себе.

— Вот, дорогой мой Яков Лукич, это — член нашего союза, так сказать, наш соратник, подпоручик, а по-казачьему — хорунжий, Лятьевский Вацлав Августович. Люби его и жалуй. А это — мой хозяин, казак старого закала, но сейчас пребывающий в колхозе завхозом... Можно сказать — советский служащий...

Подпоручик привстал с кровати, протянул Якову Лукичу белую широкую ладонь. На вид был он лет тридцати, желтолиц и худощав. Черные вьющиеся волосы, зачесанные вверх, ниспадали до стоячего воротника черной сатиновой рубахи. Над прямыми веселыми губами реденькие курчавились усы. Левый глаз был навек прижмурен, видимо после контузии; под ним недвижно бугрилась собранная в мертвые складки кожа, сухая и безжизненная, как осенний лист. Но прижмуренный глаз не нарушал, а как бы подчеркивал веселое, смешливое выражение лица бывшего подпоручика Лятьевского. Казалось, что карий глаз его вот-вот ехидно мигнет, кожа расправится и лучистыми морщинами поползет к виску, а сам жизнерадостный подпоручик расхохочется молодо и заразительно. Кажущаяся мешковатость одежды была нарочита, она не стесняла резких движений хозяина и не скрывала его щеголеватой выправки.

Половцев в этот день был необычно весел, любезен даже с Яковом Лукичом. Ничего не значащий разговор он вскоре закончил; поворачиваясь к Островнову лицом, заявил:

— Подпоручик Лятьевский останется у тебя недели на две, а я сегодня, как только стемнеет, уеду. Все, что понадобится Вацлаву Августовичу, доставляй, все его приказы — мои приказы. Понял? Так-то, Яков свет Лукич! — и значительно подчеркнул, кладя пухложилую руку на колено Якова Лукича: — Скоро начнем! Еще немного осталось терпеть. Так и скажи нашим казакам, пусть приободрятся духом. Ну, а теперь ступай, нам еще надо поговорить.

Случилось что-то необычайное, что понуждало Половцева выехать из Гремячего Лога на две недели. Яков Лукич горел нетерпением узнать. С этой целью он пробрался в зал, откуда Половцев когда-то подслушивал его разговор с Давыдовым, приник ухом к тонкой переборке. Из-за стены, из горенки, чуть слышный уловил он разговор:

Лятьевский. Безусловно, вам необходимо связаться с Быкодоровым... Его превосходительство, разумеется, сообщит вам при свидании, что планы... удобная ситуация... Это же замечательно! В Сальском округе... бронепоезд... в случае поражения...

Половцев. Тссс!..

Лятьевский. Нас, надеюсь, никто не слышит?

Половцев. Но все же... Конспирация во всем...

Лятьевский (еще тише, так что Яков Лукич невольно утратил связность в его речи). Поражения... конечно... Афганистан... При их помощи пробраться...

Половцев. Но средства... ГПУ (и дальше сплошное: «бу-бу-бу-бу-бу...»).

Лятьевский. Вариант таков: перейти границу... Минске... Минуя... Я вас уверяю, что пограничная охрана... Отделе генштаба, безусловно, примут... Полковник, фамилия мне известна... условная явка... Так ведь это же могущественная помощь! Такое покровительство... Дело же не в субсидии...

Половцев. А мнение особого?

Лятьевский. Уверен, что генерал повторит... много! Мне велено на словах, что... крайне напряженное, используя... не упустить момента...

Голоса перешли на шепот, и Яков Лукич, так ничего и не понявший из отрывочного разговора, вздохнул, пошел в правление колхоза. И снова, когда подошел к бывшему Титкову дому и по привычке скользнул глазами по прибитой над воротами белой доске с надписью: «Правление Гремяченского колхоза», почувствовал обычную раздвоенность. А потом вспомнил подпоручика Лятьевского и уверенные слова Половцева: «Скоро начнем!» — и со злорадством, со злостью на себя подумал: «Скорее бы! А то я промеж ними и колхозом раздерусь, как бык на сколизи!»

Ночью Половцев оседлал коня, уложил в переметные сумы все свои бумаги, взял харчей и попрощался. Яков Лукич слышал, как мимо окон весело, с переплясом, сухим чокотом копыт прошел-протанцевал под седлом застоявшийся половцевский конь.

Новый жилец оказался человеком непоседливым и по-военному бесцеремонным. Целыми днями он, веселый, улыбающийся, шатался по куреню, шутил с бабами, не давал покою старой бабке, до смерти не любившей табачного дыма; ходил, не боясь, что к Якову Лукичу заглянет кто-либо из посторонних, так что Яков Лукич даже заметил ему:

— Вы бы поосторожней... Не ровен час, кто заявится и увидит вас, ваше благородие.

— А у меня что, на лбу написано, что я — «ваше благородие»?

— Нет, да ить могут спросить, кто вы, откель...

— У меня хозяин, липы полны карманы, а уж если туго будет, не поверят, то предъявлю вот этот мандат... С ним всюду можно пройти! — и достал из-за пазухи черный, матово поблескивающий маузер, все так же весело улыбаясь, вызывающе глядя недвижным глазом, укрытым за бугристой складкой кожи.

Веселость лихого подпоручика пришлась не по душе Якову Лукичу особенно после того, как, возвращаясь однажды вечером из правления, он услыхал в сенях приглушенные голоса, сдавленный смех, возню и, чиркнув спичкой, увидел в углу за ящиком с отрубями одиноко блеснувший глаз Лятьевского, а рядом красную, как кумач, сноху, смущенно одергивавшую юбку и поправлявшую сбитый на затылок платок... Яков Лукич, слова не молвя, шагнул было в кухню, но Лятьевский нагнал его уже у порога, хлопнул по плечу, шепнул:

— Ты, папаша, молчок... Сынишку своего не волнуй! У нас, у военных, знаешь, как? Быстрота и натиск! Кто смолоду не грешил, кхе, кгм... На-ка вот папироску, закури... Ты сам со снохой не того? Ах ты, шельмец этакой!

Яков Лукич так растерялся, что взял папироску и только тогда вошел в кухню, когда закурил от спички Лятьевского. А тот, угостив хозяина огоньком, нравоучительно и подавляя зевоту сказал:

— Когда тебе оказывают услугу, например, спичку зажигают, надо благодарить. Эх ты, невежа, а еще завхоз! Раньше я бы тебя и в денщики не взял.

«Ну, и жильца черт накачал на мою шею!» — подумал Яков Лукич.

Нахальство Лятьевского подействовало на него удручающе. Сына — Семена — не было, он уехал по наряду в район за ветеринарным фельдшером. Но Яков Лукич решил не говорить ему ничего, а сам позвал сноху в амбар и там ее тихонько поучил, отхлестал бабочку чересседельней; но так как бил не по лицу, а по спине и ниже, то наглядных следов побоев не оказалось. И даже Семен ничего не заметил. Он вернулся из станицы ночью, жена собрала ему вечерять, и, когда сама присела на лавку, на самый край, Семен простодушно удивился:

— Чего это ты, как в гостях, садишься?

Чирий у меня... вскочил...— Женёнка Семенова вспыхнула, встала.

— А ты бы луку пожевала с хлебом да приложила, сразу вытянет,— сердобольно посоветовал Яков Лукич, в это время сучивший возле пригрубка дратву.

Сноха блеснула на него глазами, но ответила смиренно:

— Спасибо, батюшка, и так пройдет...

Лятьевскому изредка привозили пакеты. Он читал содержимое их и тотчас же сжигал в грубке [1]. Под конец стал попивать ночами, со снохой Якова Лукича уже не заигрывал, поугрюмел и все чаще просил Якова Лукича или Семена достать «поллитровочку», совал в руки новые, хрустящие червонцы. Напиваясь, он склонен был к политическим разговорам, в разговорах — к широким обобщениям и, по-своему, объективной оценке действительности. Однажды в великое смущение поверг он Якова Лукича. Зазвал его к себе в горенку, угостил водкой; цинически подмигивая, спросил:

— Разваливаешь колхоз?

— Нет, зачем же,— притворно удивился Яков Лукич.

— Какими же ты методами работаешь?

— Как то есть?

— Какую работу ведешь? Ведь ты же диверсионер... Ну, что ты там делаешь? Лошадей стрихнином травишь, орудия производства портишь или что-либо еще?

— Лошадей мне не приказано трогать, даже совсем наоборот...— признался Яков Лукич.

Последнее время он почти не пил, потому-то стакан водки подействовал на него оглушающе, поманил на откровенность. Ему захотелось пожаловаться на то, как болеет он душой, одновременно строя и разрушая обобществленное хуторское хозяйство, но Лятьевский не дал ему говорить; выпив водку и больше не наливая Якову Лукичу, спросил:

— А зачем ты, дура этакая стоеросовая, связался с нами? Ну, спрашивается, зачем? За каким чертом? Половцеву и мне некуда деваться, мы идем на смерть... Да, на смерть! Или мы победим, хотя, знаешь ли, хамлет, шансов на победу прискорбно мало... Одна сотая процента, не больше! Но уж мы таковы, нам терять нечего, кроме цепей, как говорят коммунисты. А вот ты? Ты, по-моему, просто жертва вечерняя. Жить бы тебе да жить, дураку... Положим, я не верю, чтобы такие, как ты, хамлеты могли построить социализм, но все же... вы хоть воду бы взмутили

---

[1] Грубка — печка.

в мировом болоте. А то будет восстание, шлепнут тебя, седого дьявола, или просто заберут в плен и как несознательного пошлют в Архангельскую губернию. Будешь там сосны рубить до второго пришествия коммунизма... Эх ты, сапог! Мне — понятно, почему — надо восставать, ведь я дворянин! У моего отца было пахотной земли около пяти тысяч десятин да леса почти восемьсот. Мне и другим, таким, как я, кровно обидно было ехать из своей страны и где-то на чужбине в поте лица, что называется, добывать хлеб насущный. А ты? Кто ты такой? Хлебороб и хлебоед! Жук навозный! Мало вас, сукиных сынов, казачишек, пошлепали за гражданскую войну!

— Так житья же нам нету! — возражал Яков Лукич.— Налогами подушили, ху́дббу забирают, нету единоличной жизни, а то, само собою, на кой вы нам ляд, дворяне да разные подобные, и нужны. Я бы ни в жизню не пошел на такой грех!

— Подумаешь, налоги! Будто бы в других странах крестьянство не платит налогов. Еще больше платит!

— Не должно быть.

— Я тебя уверяю!

— Да вам откель же знать, как там живут и что платят?

— Жил там, знаю.

— Вы, стало быть, из-за границы приехали?

— А тебе-то что?

— Из интересу.

— Много будешь знать — очень скоро состаришься. Иди и принеси еще водчонки.

Яков Лукич за водкой послал Семена, а сам, взалкав одиночества, ушел на гумно и часа два сидел под прикладком соломы, думал: «Проклятый морщеный! Наговорил, ажник голова распухла. Или это он меня спытывает, что́ скажу и не пойду ли супротив их, а потом Александру Анисимычу передаст по прибытию его... а энтот меня и рубанет, как Хопрова? Или, может, взаправди так думает? Ить что у трезвого на уме, то у пьяного на языке... Может, и не надо бы вязаться с Половцевым, потерпеть тихочко в колхозе годок-другой? Может, власти и колхозы-то через год пораспущают, усмотрев, как плохо в них дело идет? И опять бы я зажил человеком... Ах, боже мой, боже мой! Куда теперь деваться? Не сносить мне головы... Зараз уж, видно, одинаково... Хучь сову об пенек, хучь пеньком сову, а все одно сове не воскресать...»

По гумну, перевалившись через плетень, заходил, хозяйствуя, ветер. Он принес к скирду рассыпанную возле

калитки солому, забил ее в лазы, устроенные собаками, очесал взлохмаченные углы скирда, где солома не так плотно слеглась, смел с вершины прикладка сухой снежок. Ветер был большой, сильный, холодный. Яков Лукич долго пытался понять, с какой стороны он дует,— и не мог. Казалось, что ветер топчется вокруг скирда и дует по очереди со всех четырех сторон. В соломе — потревоженные ветром — завозились мыши. Попискивая, бегали они своими потайными тропами, иногда совсем близко от спины Якова Лукича, привалившегося к стенистому скирду. Вслушиваясь в ветер, в шорох соломы, в мышиный писк и скрип колодезного журавля, Яков Лукич словно бы придремал: все ночные звуки стали казаться ему похожими на отдаленную диковинную и грустную музыку. Полузакрытыми слезящимися глазами он смотрел на звездное небо, вдыхал запах соломы и степного ветра; все окружающее казалось ему прекрасным и простым...

Но в полночь приехал от Половцева из хутора Войскового коннонарочный. Лятьевский прочитал письмо, с пометкой на конверте: «В. срочно», разбудил спавшего в кухне Якова Лукича:

— На-ка вот, прочитай.

Яков Лукич, протирая глаза, взял адресованное Лятьевскому письмо. Чернильным карандашом на листке из записной книжки было четко, кое-где с буквой «ять» и твердыми знаками написано:

«Господин подпоручик!

Нами получены достоверные сведения о том, что ЦК большевиков собирает среди хлеборобческого населения хлеб, якобы для колхозных посевов. На самом деле хлеб этот пойдет для продажи за границу, а хлеборобы, в том числе и колхозники, будут обречены на жестокий голод. Советская власть, предчувствуя свой неминуемый и близкий конец, продает последний хлеб, окончательно разоряет Россию. Приказываю Вам немедленно развернуть среди населения Гремячего Лога, в коем Вы в настоящее время представляете наш союз, агитацию против сбора мнимосеменного хлеба. Поставьте в известность о содержании моего письма к Вам Я. Л. и обяжите его срочно повести разъяснительную работу. Крайне необходимо во что бы то ни стало воспрепятствовать засыпке хлеба».

Наутро Яков Лукич, не заходя в правление, отправился к Баннику и остальным единомышленникам, завербованным им в «Союз освобождения Дона».

ГЛАВА XXIV

Бригада из трех человек, оставленная в Гремячем Логу командиром агитколонны Кондратько, приступила к сбору семфонда. Под штаб бригады заняли один из пустовавших кулацких домов. С самого утра молодой агроном Ветютнев разрабатывал и уточнял, при помощи Якова Лукича, план весеннего сева, давал справки приходившим казакам по вопросам сельского хозяйства, остальное время неустанно наблюдал за очисткой и протравкой поступавшего в амбары семзерна, изредка шел, как он говорил, «ветеринарить»: лечить чью-либо заболевшую корову или овцу. За «визит» он получал обычно «натурой»: обедал у хозяина заболевшей животины, а иногда даже приносил товарищам корчажку молока или чугун вареной картошки. Остальные двое — Порфирий Лубно, вальцовщик с окружной госмельницы, и комсомолец с маслозавода Иван Найденов — вызывали в штаб гремяченцев, проверяли по списку заведующего амбаром, сколько вызванный гражданин засыпал семян, в меру сил и умения агитировали.

С первых же дней работы выяснилось, что засыпать семфонд придется с немалыми трудностями и с большой оттяжкой в сроке. Все мероприятия, предпринимавшиеся бригадой и местной ячейкой с целью ускорения темпов сбора семян, наталкивались на огромное сопротивление со стороны большинства колхозников и единоличников. По хутору поползли слухи, что хлеб собирается для отправки за границу, что посева в этом году не будет, что с часу на час ожидается война... Нагульнов ежедневно созывал собрания, при помощи бригады разъяснял, опровергал нелепые слухи, грозил жесточайшими карами тем, кто будет изобличен в «антисоветских пропагандах», но хлеб продолжал поступать крайне медленно. Казаки норовили с утра ехать куда-либо из дому, то в лес за дровишками, то за бурьяном, или уйти к соседу и вместе с ним переждать в укромном месте тревожный день, чтобы не являться по вызову в сельсовет или штаб бригады. Бабы же вовсе перестали ходить на собрания, а когда на дом приходил из сельсовета сиделец, то отделывались короткой фразой: «Хозяина моего дома нету, а я не знаю».

Словно чья-то могущественная рука держала хлеб...

В штабе бригады обычно шли такие разговоры:

— Засыпал семенное?

— Нет.

— Почему?

— Зерна нету.

— Как это — нету?

— Да так, что очень просто... Думал приблюсть на посев, а потом сдал на хлебозаготовку лишки, а самому жевать нечего было. Вот и потравил.

— Так ты что же, и сеять не думал?

— Думалось, да нечем.

Многие ссылались на то, что будто бы сдали по хлебозаготовке и семенное. Давыдов — в правлении, а Ванюшка Найденов — в штабе рылись в списках, в квитанциях ссыпного пункта, проверяли и изобличали упорствующего в неправильной даче сведений: посевной, как оказывалось, оставался. Иногда для этого нужно было подсчитать примерное количество обмолота в двадцать девятом году, подсчитать общее количество сданного по хлебозаготовке хлеба и искать остаток. Но и тогда, когда обнаруживалось, что хлеб оставался, упорствующий не сдавался:

— Оставалась пашеничка, спору нет. Да ить знаете, товарищи, как оно в хозяйстве? Мы привыкли хлеб исть без весу, расходовать без меры. Мне оставили по пуду на душу на месяц едоцкого, а я, к примеру, съедаю в день по три-четыре фунта. А через то съедаю, что приварок плохой. Вот и перерасход. Нету хлеба, хучь обыщите!

Нагульнов на собрании ячейки предложил было произвести обыск у наиболее зажиточной части хуторян, не засыпавших семзерна, но этому воспротивились Давыдов, Лубно, Найденов, Размётнов. Да и в директиве райкома по сбору семфонда строжайше воспрещалось производить обыски.

За три дня работы бригады и правления колхоза по колхозному сектору было засыпано только 480 пудов, а по единоличному — всего 35 пудов. Колхозный актив полностью засыпал свою часть. Кондрат Майданников, Любишкин, Дубцов, Демид Молчун, дед Щукарь, Аркашка Менок, кузнец Шалый, Андрей Размётнов и другие привезли зерно в первый же день. На следующий — с утра к общественному амбару шагом подъехали на двух подводах Семен Якова Лукича и сам Яков Лукич. Лукич тотчас же пошел в правление, а Семка стал сносить с саней чувалы с зерном. Принимал и вешал Демка Ушаков. Четыре чувала Семен высыпал, а когда развязал гузырь пятого, Ушаков налетел на него ястребом:

— Это таким зерном твой батя собирался сеять? — и сунул под нос Семену горсть зерна.

— Каким это? — вспыхнул Семен.— Ты с косого глазу, видать, пшеницу за кукурузу счел!

— Нет, не за кукурузу! Я — косой, да зрячей тебя, жулика! Обое вы с батюшкой хороши, зна-а-аем! Это что? Семенное? Да ты нос не вороти! Ты чего мне в чистую зерно насыпал, гадская морда?

Демка совал к лицу Семена ладонь, а на ладони лежала горстка сорного, перемешанного с землею и викой зерна.

— Я вот зараз людей кликну.

— Да ты не ори! — испугался Семен.— Видно, по ошибке захватил чувал... Зараз вернусь и переменю... Чудной, ей-бо! Ну, чего расходился-то, как бондарский конь? Сказано — переменю, промашка вышла...

Демка забраковал шесть чувалов из четырнадцати привезенных. И когда Семен попросил его помочь поднять на плечо один из чувалов с забракованным зерном, Демка отвернулся к весам, будто не слыша.

— Не помогаешь, стало быть? — с дрожью в голосе спросил Семен.

— Совесть! Дома подымал, небось, легко было, а зараз почижелело? Сам подымай, таковский!

Малиновый от натуги, Семен взял чувал поперек, понес...

За два следующих дня поступлений почти не было. На собрании ячейки решено было идти по дворам. Давыдов накануне выехал в соседний район на селекционную станцию, чтобы внеплановым порядком добыть на обсеменение хотя нескольких гектаров засухоустойчивой яровой пшеницы, превосходно выдерживавшей длительный период бездорожья и давшей в прошлом году на опытном поле станции отменный урожай. Яков Лукич и бригадир Агафон Дубцов много говорили о новом сорте пшеницы, добытом на селекционной станции путем скрещивания привозной «калифорнийской» с местной «белозернкой», и Давыдов, за последнее время усиленно приналегавший по ночам на агротехнические журналы, решил поехать на станцию добыть новой пшеницы.

Из поездки он вернулся 4 марта, а за день до его возвращения случилось следующее: Макар Нагульнов, прикрепленный ко второй бригаде, с утра обошел вместе с Любишкиным около тридцати дворов, а вечером, когда из сельсовета ушли Размётнов и секретарь, стал вызывать туда тех домохозяев, дворы которых не успел обойти днем. Человек четырех отпустил, так и не добившись положительных результатов. «Нет хлеба на семена. Пущай госу-

дарство дает». Нагульнов уговаривал вначале спокойно, потом стал постукивать кулаком.

— Как же вы говорите, что хлеба нету? Вот ты, к примеру, Константин Гаврилович, ить пудов триста намолотил осенью!

— А хлеб ты сдавал за меня государству?

— Сколько ты сдал?

— Ну, сто тридцать.

— Остатний где?

— Не знаешь где? Съел!

— Брешешь! Разорвет тебя — столько хлеба слопать! Семьи — шесть душ, да чтобы столько хлеба съисть? Вези без разговору, а то из колхоза вышибем в два счета!

— Увольняйте из колхозу, что хотите делайте, а хлеба, истинный Христос, нету! Пущай власть хучь под процент отпустит...

— Ты повадился Советскую власть подсасывать. Деньги-то, какие брал в кредит на покупку садилки и травокоски, возвéрнул кредитному товариществу? То-то и есть! Энти денежки зажилил да ишо хлебом норовишь поджиться?

— Все одно теперича и травокоска и садилка — колхозные, самому не довелось попользоваться, нечего и попрекать!

— Ты вези хлеб, а то плохо тебе будет! Закоснел в брехне! Совестно!

— Да я бы с великой душой, кабы он был...

Как ни бился Нагульнов, как ни уговаривал, чем ни грозил, а все же пришлось отпустить не желавших засыпать семена.

Они вышли, минуты две переговаривались в сенях, потом заскрипели сходцы. Немного погодя вошел единоличник Григорий Банник. Он, вероятно, уже знал о том, чем кончился разговор с только что вышедшими из сельсовета колхозниками, в углах губ его подрагивала самоуверенная, вызывающая улыбочка. Нагульнов дрожащими руками расправил на столе список, глухо сказал:

— Садись, Григорий Матвеич.

— Спасибо на приглашении.

Банник сел, широко расставив ноги.

— Что же ты, Григорий Матвеич, семена не везешь?

— А мне зачем их везть?

— Так было же постановление общего собрания — и колхозникам и единоличникам — семенной хлеб свезть. У тебя-то он есть?

— А то как же, конешно, есть.

Нагульнов заглянул в список: против фамилии Банника в графе «предполагаемая площадь ярового посева в 1930 году» стояла цифра «6».

— Ты собирался в нонешнем году шесть га пшеницы сеять?

— Так точно.

— Значит, сорок два пуда семян имеешь?

— Все полностью имею, подсеянный и очищенный хлебец, как золотцо!

— Ну, это ты — герой! — облегченно вздохнув, похвалил Нагульнов.— Вези его завтра в общественный амбар. Могешь в своих мешках оставить. Мы от единоличников даже в ихних мешках примаем, ежели не захочет зерно мешать. Привезешь, сдашь по весу заведующему, он наложит на мешки сюргучевые печати, выдаст тебе расписку, а весною получишь свой хлеб целеньким. А то многие жалуются, что не соблюли, поели. А в амбаре-то он надежней сохранится.

— Ну, это ты, товарищ Нагульнов, оставь! — Банник развязно улыбнулся, пригладил белесые усы.— Этот твой номер не пляшет! Хлеба я вам не дам.

— Это почему же, дозволь спросить?

— Потому что у меня он сохранней будет. А вам отдай его, а к весне и порожних мешков не получишь. Мы зараз тоже ученые стали, на кривой не объедешь!

Нагульнов сдвинул разлатые брови, чуть побледнел.

— Как же ты могешь сомневаться в Советской власти? Не веришь, значит?!

— Ну да, не верю! Наслухались мы брехнев от вашего брата!

— Это кто же брехал? И в чем? — Нагульнов побледнел заметней, медленно привстал.

Но Банник, словно не замечая, все так же тихо улыбался, показывая ядреные редкие зубы, только голос его задрожал обидой и жгучей злобой, когда он сказал:

— Соберете хлебец, а потом его на пароходы да в чужие земли? Антанабили покупать, чтоб партийные со своими стрижеными бабами катались? Зна-а-аем, на что нашу пашеничку гатите! Дожилися до равенства!

— Да ты одурел, чертяка! Ты чего это балабонишь?

— Небось одуреешь, коли тебя за глотку возьмут! Сто

шешнадцать пудиков по хлебозаготовке вывез! Да зараз последний, семенной, хотите... чтоб детей моих... оголодить...

— Цыц! Брешешь, гад! — Нагульнов грохнул кулаком по столу.

Свалились на пол счеты, опрокинулась склянка с чернилами. Густая фиолетовая струя, блистая, проползла по бумаге, упала на полу дубленого полушубка Банника. Банник смахнул чернила ладонью, встал. Глаза его сузились, на углах губ вскипели белые заеди, с задавленным бешенством он выхрипел:

— Ты на меня не цыкай! Ты на жену свою Лушку стучи кулаком, а я тебе не жена! Ноне не двадцатый год, понял? А хлеба не дам... Кка-тись ты!..

Нагульнов было потянулся к нему через стол, но тотчас, качнувшись, выпрямился.

— Ты это... чьи речи?.. Ты это чего, контра, мне тут?.. Над социализмом смеялся, гад!.. А зараз...— Он не находил слов, задыхался, но, кое-как овладев собой, вытирая тылом ладони клейкий пот с лица, сказал: — Пиши мне зараз расписку, что завтра вывезешь хлеб, и завтра же ты у меня пойдешь куда следовает. Там допытаются, откуда ты таких речей наслухался!

— Арестовать ты меня могешь, а расписки не напишу и хлеб не дам!

— Пиши, говорю!..

— Трошки повремени...

— Я тебя добром прошу...

Банник пошел к выходу, но, видно, злоба так люто возгорелась в нем, что он не удержался и, ухватясь за дверную ручку, кинул:

— Зараз приду и высыплю свиньям этот хлеб! Лучше они нехай потрескают, чем вам, чужеедам!..

— Свиньям? Семенной?!

Нагульнов в два прыжка очутился возле двери,— выхватив из кармана наган, ударил Банника колодкой в висок. Банник качнулся, прислонился к стене,— обтирая спиной побелку, стал валиться на пол. Упал. Из виска, из ранки, смачивая волосы, высочилась черная кровь. Нагульнов, уже не владея собой, ударил лежачего несколько раз ногою, отошел. Банник, как очутившаяся на суше рыба, зевнул раза два, а потом, цепляясь за стену, начал подниматься. И едва лишь встал на ноги, как кровь пошла обильней. Он молча вытирал ее рукавом, с обеленной спины его сыпалась меловая пыль. Нагульнов пил прямо из гра-

фина противную, степлившуюся воду, ляская о края зубами. Искоса глянув на поднявшегося Банника, он подошел к нему, взял, как клещами, за локоть, толкнул к столу, сунул в руку карандаш:

— Пиши!

— Я напишу, но это будет известно прокурору... С-под нагана я что хошь напишу... Бить при Советской власти не дозволено... Она — партия — тебе тоже за это не уважит! — хрипло бормотал Банник, обессиленно садясь на табурет.

Нагульнов стал напротив, взвел курок нагана.

— Ага, контра, и Советскую власть, и партию вспомянул! Тебя не народный суд будет судить, а я вот зараз, и своим судом. Ежели не напишешь — застрелю как вредного гада, а потом пойду за тебя в тюрьму хоть на десять лет! Я тебе не дам над Советской властью надругиваться! Пиши: «Расписка». Написал? Пиши: «Я, бывший активный белогвардеец, мамонтовец, с оружием в руках преступавший к Красной Армии, беру обратно свои слова...» Написал?.. «...свои слова, невозможно оскорбительные для ВКП(б)». ВКП с заглавной буквы, есть? «...и Советской власти, прошу прощения перед ними и обязываюсь впредь, хотя я и есть скрытая контра...»

— Не буду писать! Ты чего меня сильничаешь?

— Нет, будешь! А ты думал — как? Что я, белыми израненный, исказненный, так тебе спущу твои слова? Ты на моих глазах смывался над Советской властью, а я бы молчал! Пиши, душа с тебя вон!..

Банник слег над столом, и снова карандаш в его руке медленно пополз по листу бумаги. Не снимая пальца со спуска нагана, Нагульнов раздельно диктовал:

— «...хотя я и есть контра скрытая, но Советской власти, которая дорогая всем трудящимся и добытая большой кровью трудового народа, я вредить не буду ни устно, ни письменно, ни делами. Не буду ее обругивать и досаждать ей, а буду терпеливо дожидаться мировой революции, которая всех нас — ее врагов мирового маштабу — подведет под точку замерзания. А еще обязываюсь не ложиться поперек путя Советской власти и не скрывать посев и завтра, 3 марта 1930 года, отвезть в общественный амбар...»

В это время в комнату вошел сиделец, с ним — трое колхозников.

— Погодите трошки в сенцах! — крикнул Нагульнов и, поворачиваясь лицом к Баннику, продолжал: — «...сорок

два пуда семенного зерна пшеничной натурой. В чем и подписуюсь». Распишись!

Банник, к лицу которого вернулась багровая окраска, расчеркнулся, встал.

— Ты за это ответишь, Макар Нагульнов!..

— Всяк из нас за свое ответит, но ежели хлеб завтра не привезешь — убью!

Нагульнов свернул и положил расписку в грудной карман защитной гимнастерки, кинул на стол наган, проводил Банника до дверей. Он оставался в сельсовете до полуночи. Сидельцу не приказал отлучаться и с помощью его водворил и запер в пустовавшей комнате еще трех колхозников, отказавшихся от вывоза семенного зерна. Уже за полночь, сломленный усталостью и пережитым потрясением, уснул, сидя за сельсоветским столом, положив на длинные ладони всклокоченную голову. До зари снились Макару огромные толпы празднично одетого народа, беспрестанно двигавшиеся, полой водой затоплявшие степь. В просветах между людьми шла конница. Разномастные лошади попирали копытами мягкую степную землю, но грохочущий чокот конских копыт был почему-то гулок и осадист, словно эскадроны шли по разостланным листам железа. Отливающие серебром трубы оркестра вдруг совсем близко от Макара заиграли «Интернационал», и Макар почувствовал, как обычно наяву, щемящее волнение, горячую спазму в горле... Он увидел в конце проходившего эскадрона своего покойного дружка Митьку Лобача, зарубленного врангелевцами в 1920 году в бою под Каховкой, но не удивился, а обрадовался и, расталкивая народ, кинулся к проходившему эскадрону. «Митя! Митя! Постой!» — звал он, не слыша собственного голоса. Митька повернулся в седле, посмотрел на Макара равнодушно, как на чужого, незнакомого человека, и поехал рысью. Тотчас же Макар увидел скакавшего к нему своего бывшего вестового Тюлима, убитого польской пулей под Бродами в том же двадцатом году. Тюлим скакал, улыбаясь, держа в правой руке повод Макарова коня. А конь, все такой же белоногий и сухоголовый, шел заводным, высоко и гордо неся голову, колесом изогнув шею...

Скрип ставен, всю ночь метавшихся на вешнем ветру, во сне воспринимал Макар как музыку, погромыхиванье железной крыши — как дробный топот лошадиных копыт... Размётнов, придя в сельсовет часов в шесть утра, еще застал Нагульнова спящим. На желтой Макаровой щеке, освещенной лиловым светом мартовского утра, напряжен-

ная и ждущая застыла улыбка, в мучительном напряжении шевелилась разлатая бровь... Размётнов растолкал Макара и выругался:

— Наворошил делов и спишь? Веселые сны видишь, ощеряешься! За что ты Банника избил? Он на заре привез семенной хлеб, сдал и зараз же мотнулся в район. Любишкин прибегал ко мне, говорит, поехал Банник заявлять на тебя в милицию. Достукался! Приедет Давыдов, что он теперь скажет? Эх, Макар!

Нагульнов потер ладонями опухшее от неловкого сна лицо и раздумчиво улыбнулся:

— Андрюшка! Какой я зараз сон вида-а-ал! Дюже завлекательный сон!

— Ты про сны свои оставь гутарить! Ты мне про Банника докладай.

— Я про такую гаду ядовитую и докладать не хочу! Говоришь — привез он хлеб? Ну, значит, подействовало... Сорок два пуда семенного — это тебе не кот наплакал. Кабы из каждой контры после одного удара наганом по сорок пудов хлеба выскакивало, я бы всею жизню тем и занимался, что ходил бы да ударял их! Ему за его слова не такую бы бубну надо выбить! Нехай радуется, что я ему ноги из заду не повыдергивал! — И с яростью, поблескивая глазами, закончил: — Он же, подлюка, с генералом Мамонтовым таскался. До тех пор нам супротивничал, покеда его в Черном море не выкупали, да ишо и зараз норовит поперек дороги лечь, вреду наделать мировой революции! А какие он мне тут слова про Советскую власть и про партию говорил? На мне от обиды волосья дыбом поднялись!

— Мало бы что! А бить не должон ты, лучше бы арестовать его.

— Нет, не арестовать, а убить бы его надо! — Нагульнов сокрушенно развел руками.— И чего я его не стукнул? Ума не приложу! Вот об чем зараз я жалкую.

— Дураком тебя назвать — в обиду примешь, а дури в тебе — черпать не исчерпать! Вот приедет Давыдов; он тебе разбукварит за такое подобное!

— Семен приедет — одобрит меня, он не такой сучок, как ты!

Размётнов, смеясь, постучал согнутым пальцем по столу, а потом по лбу Макара, уверил:

— Одинаковый звук-то!

Но Макар сердито отвел его руку, стал натягивать полушубок. Уже держась за дверную скобу, не поворачивая головы, буркнул:

— Эй, ты, умник! Выпусти из порожней комнаты мелких буржуёв, да чтобы хлеб они нынче же отвезли, а то вот умоюсь да возвернусь и обратно их посажаю.

У Размётнова от удивления глаза на лоб полезли... Он кинулся к пустовавшей комнате, где хранились сельсоветовские архивы да колосовые экспонаты с прошлогодней районной сельскохозяйственной выставки, открыл дверь и обнаружил трех колхозников: Краснокутова, Антипа Грача и мухортенького Аполлона Песковатскова. Они благополучно переночевали на разостланных на полу комплектах старых газет, при появлении Размётнова поднялись.

— Я, гражданы, конешно, должон...— начал было Размётнов, но один из подвергшихся аресту, престарелый казак Краснокутов, с живостью перебил его:

— Да что там толковать, Андрей Степаныч, виноваты, речи нету... Отпущай, зараз привезем хлеб... Мы тут ночушкой трошки промеж себя посоветовались, ну, и порешили отвезть хлеб... Чего уж греха таить, хотели попридержать пашеничку...

Размётнов, только что собиравшийся извиняться за необдуманный поступок Нагульнова, учел обстоятельства и моментально перестроился:

— Вот и давно бы так! Ить вы же колхозники! Совестно семена хоронить!

— Пожалуйста, отпущай нас, а кто старое вспомянет...— смущенно улыбнулся в аспидно-черную бороду Антип Грач.

Широко распахнув дверь, Размётнов отошел к столу, и надо сказать, что и в нем в этот момент ворохнулась мыслишка: «А может, и прав Макар? Кабы покрепче нажать — в один день засыпали бы!»

ГЛАВА XXV

Давыдов вернулся из поездки на селекционную станцию с двенадцатью пудами пшеницы, веселый, довольный удачей. Хозяйка, собирая ему обедать, рассказала о том, что в его отсутствие Нагульнов избил Григория Банника и ночь продержал в сельсовете трех колхозников. Слух об этом, видимо, успел широко распространиться по Гремячему Логу. Давыдов торопливо пообедал, встревоженный пошел в правление. Там ему подтвердили рассказ хозяйки, дополнив его подробностями. Поведение Нагульнова все расценивали по-разному: одни одобряли, другие

порицали, некоторые сдержанно помалкивали. Любишкин, например, категорически стал на сторону Нагульнова, а Яков Лукич в оборочку собрал губы и был столь обижен на вид, словно ему самому пришлось отведать нагульновского внушения. Вскоре пришел в правление сам Макар. Был он с виду суровей обычного, с Давыдовым поздоровался сдержанно, но взглянул на него со скрытой тревогой и ожиданием. Оставшись вдвоем, Давыдов, не сдерживаясь, резко спросил:

— Это что у тебя за новости?

— Слыхал, чего же пытаешь...

— Такими-то методами ты начинаешь агитировать за сбор семян?

— А он пущай мне такую подлость не говорит! Я зароку не давал терпеть издевку от врага, от белого гада!

— А ты подумал о том, как это подействует на других, как это с политической стороны будет высматривать?

— Тогда некогда было думать.

— Это не ответ, факт! Ты должен был его арестовать за оскорбление власти, но не бить! Это поступок, позорящий коммуниста! Факт! И мы сегодня же поставим о тебе на ячейке. Ты принес нам вот какой вред своим поступком! Мы его должны осудить! И об этом я буду говорить на колхозном собрании, не дожидаясь разрешения райкома, фактически говорю! Потому что если нам промолчать, то колхозники подумают, будто мы с тобой заодно и такой же терпимости веры держимся в этом деле! Нет, братишечка! Мы от тебя отмежуемся и осудим! Ты — коммунист, а поступил, как жандарм. Этакое позорище! Черт бы тебя драл с твоим происшествием!

Но Нагульнов уперся, как бык: на все доводы Давыдова, пытавшегося убедить его в недопустимости для коммуниста и политической вредности подобного поступка, он отвечал:

— Правильно, я его побил! И даже не побил, а только раз стукнул, а надо бы больше. Отвяжись! Поздно меня перевоспитывать, я — партизан и сам знаю, как мне надо свою партию от нападков всякой сволочи оборонять!

— Да я же не говорю, что этот Банник — свой человек, прах его возьми! Я о том говорю, что тебе не надо бы его бить. А защитить партию от оскорблений можно было другим порядком, факт! Ты пойди остынь несколько и подумай, а вечером придешь на ячейку и скажешь, что я был прав, факт.

Вечером, перед началом ячейкового собрания, как только вошел насупившийся Макар, Давыдов первым делом спросил:

— Обдумал?

— Обдумал.

— Ну?

— Мало я ему, сукину сыну, вложил. Убить бы надо!

Бригада агитколонны целиком стала на сторону Давыдова и голосовала за вынесение Нагульнову строгого выговора. Андрей Размётнов от голосования воздержался, все время молчал, но, когда уже перед уходом Макар, набычившись, буркнул: «Остаюсь при своем верном мнении»,— Размётнов вскочил и выбежал из комнаты, яростно отплевываясь и матерно ругаясь.

Закуривая в темных сенях, при свете спички всматриваясь в потускневшее за этот день лицо Нагульнова, Давыдов примиренно сказал:

— Ты, Макар, напрасно обижаешься на нас, факт!

— Я не обижаюсь.

— Ты старыми, партизанскими методами работаешь, а сейчас — новое время, и не налеты, а позиционные бои идут... Все мы партизанщиной были больны, особенно наши, флотские, ну, и я, конечно. Ты хотя и нервнобольной, но надо, дорогой Макар, себя того... обуздывать. А? Ты вот посмотри на смену: комсомолец наш из агитколонны Ванюшка Найденов какие чудеса делает! У него в квартале больше всего поступлений семенного, почти все вывезено. Он с виду такой не очень шустренький, конопатенький, небольшой, а работает лучше всех вас. Черт его знает, ходит по дворам, балагурит, говорят, что он какие-то сказки мужикам рассказывает... И хлеб у него везут без мордобоя и без сажаний в «холодную»,— факт.— В голосе Давыдова послышались улыбка и теплые нотки, когда он заговорил о Найденове, а Нагульнов почувствовал, как в нем ворохнулось нечто похожее на зависть к расторопному комсомольцу.— Ты из любопытства пойди с ним завтра по дворам и присмотрись, какими способами он достигает,— продолжал Давыдов,— в этом, ей-богу, нет ничего обидного для тебя. Нам, браток, иногда и у молодых есть чему поучиться, факт! Они какие-то не похожие на нас растут, как-то они приспособленней...

Нагульнов промолчал, а утром, как только встал, разыскал Ванюшку Найденова и — словно между прочим — сказал:

— Я нынче свободный, хочу с тобой пойтить, помочь

тебе. Сколько в твоей третьей бригаде еще осталось невывезенного?

— Пустяки остались, товарищ Нагульнов! Пойдем, вдвоем веселее будет.

Пошли. Найденов двигался с непривычной для Макара быстротой, валко, по-утиному покачиваясь. Кожанка его, духовито пахнущая подсолнечным маслом, была распахнута, клетчатая кепка надвинута по самые брови. Нагульнов сбоку пытливо всматривался в неприметное, засеянное какими-то ребячьими веснушками лицо комсомольца, которого Давыдов вчера с несвойственной ему ласковостью назвал Ванюшкой. Было в этом лице что-то страшно близкое, располагающее: то ли открытые серые в крапинках глаза, то ли упрямо выдвинутый подбородок, еще не утративший юношеской округлости...

К бывшему «курощупу» — деду Акиму Бесхлебнову — пришли они в курень, когда вся бесхлебновская семья завтракала. Сам старик сидел за столом в переднем углу, рядом с ним — сын лет сорока, тоже Аким, по прозвищу Младший, по правую руку от него — жена и престарелая овдовевшая теща, на искрайке примостились две взрослые дочери, а обочины стола густо, как мухи, облепили детишки.

— Здравствуйте, хозяева! — Найденов стащил свою промасленную кепку, приглаживая поднявшиеся торчмя вихры.

— Здравствуйте, коли не шутите,— отвечал, чуть заметно улыбаясь, простой и веселый в обхождении Аким Младший.

Нагульнов бы в ответ на шутливое приветствие сдвинул разлатые брови и — преисполненный строгости — сказал: «Некогда нам шутки вышучивать. Почему до́ се хлеб не везешь?»,— а Ванюшка Найденов, будто не замечая холодноватой сдержанности в лицах хозяев, улыбаясь, сказал:

— Хлеб-соль вам!

Не успел Аким рта раскрыть, чтобы, не приглашая к столу, проронить скупое «спасибо» или отделаться грубовато-шутливым: «Ем, да свой, а ты рядом постой»,— как Найденов торопливо продолжал:

— Да вы не беспокойтесь! Не надо! А впрочем, можно и подзавтракать... Я, признаться, сегодня еще не ел. Товарищ Нагульнов — здешний, он, конечно, уж подзаложил, а мы кушаем через день с натяжкой... как «птицы небесные».

— Не сеете, не жнете и сыты бываете, стало быть? — засмеялся Аким.

— Сыты — не сыты, а веселы всегда.— И с этими словами Найденов, к изумлению Нагульнова, в одну секунду смахнул с плеч кожанку, присел к столу.

Дед Аким крякнул, видя такую бесцеремонность гостя, а Аким Младший расхохотался:

— Ну, вот это по-служивски! Счастлив ты, парень, что успел вперед меня заскочить, а то я было уж хотел сказать на твою «хлеб-соль», мол, «едим свой, а ты рядом постой!» Девки! Дайте ему ложку.

Одна из девок вскочила и, пырская в завеску, пошла к загнетке за ложкой, но подала ее Найденову чинно, как и водится подавать мужчине,— с поклоном. За столом стало оживленно и весело. Аким Младший пригласил и Нагульнова, но тот отказался, присел на сундук. Белобровая жена Акима, улыбаясь, протянула гостю ломоть хлеба, девка, подававшая ложку, сбегала в горницу, принесла чистый рушник, положила его на колени Найденову. Аким Младший, с любопытством и нескрываемым одобрением посматривавший на веснушчатое лицо не по-хуторскому смелого парня, сказал:

— Вот видишь, товарищ, полюбился ты моей дочке: отцу сроду чистого рушника не подавала, а тебе — не успел ишо за столом угнездиться. Посватаешь ежели — до́разу отдадим!

Девка от отцовской шутки вспыхнула; закрывая лицо ладонью, встала из-за стола, а Найденов, усугубляя веселое настроение, отшучивался:

— Она, наверное, за конопатого не пойдет. Мне свататься можно, только когда стемнеет, тогда я бываю красивый и могу девушкам нравиться.

Подали взвар. Разговор прекратился. Слышно было только, как чавкают рты да скребут днище обливной чашки деревянные ложки. Тишина нарушалась лишь тогда, когда ложка какого-нибудь парнишки начинала описывать внутри чашки круги в поисках разваренной груши. В этот-то момент дед Аким облизывал свою ложку и звонко стукал ею провинившегося мальца по лбу, внушая:

— Не вылавливай!

— Что-то тихо у нас стало, как в церкви,— проговорила хозяйка.

— В церкви тоже не всегда тихо бывает,— сказал Ванюшка, плотно подзакусивший кашей и взваром.— Вот у нас под пасху был случай — смеху не оберешься!

Хозяйка перестала стирать со стола. Аким Младший свернул курить, присел на лавку, собираясь слушать, и даже дед Аким, отрыгивая и крестясь, вслушивался в слова Найденова. Нагульнов, выказывавший явные признаки нетерпения, подумал: «Когда же он про хлеб-то начнет? Тут, как видно, дела наши — хреновые! Обоих Акимов не скоро своротишь, самые напряженные черти во всем Гремячем. И на испуг — как ты его возьмешь, когда Аким Младший в Красной Армии служил и — в общем и целом — наш казак? А хлеб не повезет он через свою приверженность к собственности и через скупость. У него середь зимы снегу не выпросишь, знаю!»

Тем временем Ванюшка Найденов, выждав время, продолжал:

— Я — родом из Тацинского района, и был у нас под пасху один раз такой случай в церкви: идет стояние, приверженные религии люди собрались в церкви, душатся от тесноты. Поп и дьякон, конечно, поют и читают, а около ограды хлопцы играются. Была у нас в слободе телушка-летошница, такая брухливая, что чуть ее тронь — щукой кидается и норовит рогами поддеть. Телушка эта мирно паслась возле ограды, но хлопцы раздражнили ее до того, что она погналась за одним и вот-вот его догонит! Хлопец той — в ограду, телушка — за ним, хлопец — на паперть, телушка — следом. В притворе людей было до биса. Телушка разгонись, да того хлопца под зад ка-ак двинет! Он — со всех ног, да к старухе под ноги. Старушка-то затылком об пол хлопнулась и орет: «Ратуйте, люди добри! Ой, лыхо мэни!..» Старухин муж хлопца костылем по спиняке! «А, шоб ты сгорила, вражья дытына!..» А телушка: «Бе-е-е!» — и до того старика с рогами приступает. И такая пошла там паника-а-а! Кто ближе к алтарю стоял — не поймут, в чем дело, а слышат, что в притворе шум, молиться перестали, стоят, волнуются, один у одного пытают: «Шо це там шумлять?», «Та що там таке?»

Ванюшка, воодушевившись, так живо изобразил в лицах, как перешептывались его перепуганные односельчане, что Аким Младший первый не выдержал и захохотал:

— Наделала делов телушка!

Оголяя в улыбке белозубый рот, Ванюшка продолжал:

— Один парубок в шутку и скажи: «Мабуть, там бишена собака вскочила, треба тикать!» Рядом с ним стояла беременная баба, испугалась она да как заголосит на всю церкву: «Ой, ридна моя маты! Та вона ж зараз нас усих перекусае!» Задние на передних жмут, опрокинули под-

свечники, чад пошел... Темно стало. Тут кто-то и заревел: «Горым!» Ну и пошло! «Бишена собака!», «Горы-ы-ым!..», «Та шо воно таке?..», «Конець свита!», «Шо-о-о-о?.. Конець свита? Жинка! До дому!» Ломанулись в боковые двери и так сбились, что ни один не выйдет. Ларек со свечами опрокинули, пятаки посыпались, титор упал, шумит: «Граблють!..» Бабы, как овцы, шахнули на амвон, а дьякон их кадилом по головам: «Тю-у-у, скаженни!.. Куда? Чи вам, поганим, не звистно, шо в алтарь бабам не можно?» А сельский староста, толстый такой был, с цепком на пузе, лезет к дверям, распихивает людей, уркотит: «Пропустить! Пропустить, прокляти! Це ж я, голова слободська!» А где ж там его пропускать, когда — «конець свита»!

Прерываемый хохотом, Ванюшка кончил:

— В слободе был у нас конокрад Архип Чохов. Лошадей уводил каждую неделю, и никто его никак не мог словить. Архип был в церкви, отмаливал грехи. И вот когда заорали: «Конець свита! Погибаемо, браты!» — кинулся Архип к окну, разбил его, хотел высигнуть, а за окном — решетка. Народ весь в дверях душится, а Архип бегает по церкви, остановится, плеснет руками и кажет: «Ось колы я попався! От попався, так вже попався!»

Девки, Аким Младший и жена его смеялись до слез, до икоты. Дед Аким и тот беззвучно ощерял голодёсную пасть; лишь бабка, не расслышав половины рассказа и ничего не поняв с глухоты, невесть отчего заплакала и, вытирая красные, набрякшие слезой глаза, прошамкала:

— Штало быть, попалша, болежный! Чарича небешная! Чего же ему ищделали?

— Кому, бабушка?

— Да этому штраннику-то?

— Какому страннику, бабуся?

— А про какого ты, голубок, гутарил... про богомольча.

— Да про какого богомольча-то?

— А я, милый, и не жнаю... Тугая я на ухи стала, тугая, мой желанный... Недошлышу...

Разговор с бабкой вызвал новую вспышку хохота. Аким Младший раз пять переспрашивал, вытирая проступившие от смеха слезы:

— Как он, воряга этот? «Вот когда я попался?» Ну, парень, диковинную веселость рассказал ты нам! — наивно восхищался он, хлопая Ванюшку по плечу.

А тот как-то скоро и незаметно перестроился на серьезный лад, вздохнул:

— Это, конечно, смешная история, но только сейчас —

такие дела, что не до смеху... Нынче прочитал я газету, и сердце заныло...

— Заныло? — ожидая нового веселого рассказа, переспросил Аким.

— Да. А заныло оттого, что так зверски над человеком в капиталистических странах издеваются и терзают. Такое описание я прочитал: в Румынии двое комсомольцев открывали крестьянам глаза, говорили, что надо землю у помещиков отобрать и разделить между собою. Очень бедно в Румынии хлеборобы живут...

— Что бедно, то бедно, знаю, сам видал, как был с полком в семнадцатом году на румынском фронте,— подтвердил Аким.

— Так вот; вели они агитацию за свержение капитализма и за устройство в Румынии Советской власти. Но их поймали лютые жандармы, одного забили до смерти, а другого начали пытать. Выкололи ему глаза, повыдергали на голове все волосы. А потом разожгли докрасна тонкую железяку и начали ее заправлять под ногти...

— Про-ок-лятые! — ахнула Акимова жена, всплеснув руками.— Под ногти?

— Под ногти... Спрашивают: «Говори, кто у вас еще в ячейке состоит, и отрекайся от комсомола».— «Не скажу вам, вампиры, и не отрекусь!» — стойко отвечает тот комсомолец. Жандармы тогда стали резать ему шашками уши, нос отрезали. «Скажешь?» — «Нет,— говорит,— умру от вашей кровавой руки, а не скажу! Да здравствует коммунизм!» Тогда они за руки подвесили его под потолок, внизу развели огонь...

— Вот, будь ты проклят, какие живодеры есть! Ить это беда! — вознегодовал Аким Младший.

— ...Жгут его огнем, а он только плачет кровяными слезами, но никого из своих товарищей-комсомольцев не выдает и одно твердит: «Да здравствует пролетарская революция и коммунизм!»

— И молодец, что не выдал товарищев! Так и надо! Умри честно, а друзьев не моги выказать! Сказано в писании, что «за други своя живот положиша...».— Дед Аким пристукнул кулаком и заторопил рассказчика: — Ну, ну, дальше-то что?

— ...Пытают они его, стязают по-всякому, а он молчит. И так с утра до вечера. Потеряет он память, а жандармы обольют его водой и опять за свое. Только видят, что ничего они так от него не добьются, тогда пошли арестовали его мать и привели в свою охранку. «Смотри,— кажут ей,—

как мы твоего сына будем обрабатывать! Да скажи ему, чтобы покорился, а то убьем и мясо собакам выкинем!» Ударилась тут мать без памяти, а как пришла в себя — кинулась к своему дитю, обнимает, руки его окровяненные целует...

Побледневший Ванюшка замолк, обвел слушателей расширившимися глазами: у девок чернели открытые рты, а на глазах закипали слезы, Акимова жена сморкалась в завеску, шепча сквозь всхлипыванья: «Каково ей... матери-то... на своего дитя... го-о-ос-поди!..» Аким Младший вдруг крякнул и, ухватясь за кисет, стал торопливо вертеть цигарку; только Нагульнов, сидя на сундуке, хранил внешнее спокойствие, но и у него во время паузы как-то подозрительно задергалась щека и повело в сторону рот...

— «...Сынок мой родимый! Ради меня, твоей матери, покорись им, злодеям!» — говорит ему мать, но он услыхал ее голос и отвечает: «Нет, ро́дная мама, не выдам я товарищей, умру за свою идею, а ты лучше поцелуй меня перед моей кончиной, мне тогда легче будет смерть принять...»

Ванюшка вздрагивающим голосом окончил рассказ о том, как умер румынский комсомолец, замученный палачами-жандармами. На минуту стало тихо, а потом заплаканная хозяйка спросила:

— Сколько же ему, страдальцу, было годков?

— Семнадцать,— без запинки отвечал Ванюшка и тотчас же нахлобучил свою клетчатую кепку.— Да, умер герой рабочего класса — наш дорогой товарищ, румынский комсомолец. Умер за то, чтобы трудящимся лучше жилось. Наше дело — помочь им свергнуть капитализм, установить рабоче-крестьянскую власть, а для этого надо строить колхозы, укреплять колхозное хозяйство. Но у нас еще есть такие хлеборобы, которые по несознательности помогают подобным жандармам и препятствуют колхозному строительству — не сдают семенной хлеб... Ну, спасибо, хозяева, за завтрак! Теперь — о деле, насчет которого мы к вам пришли: надо вам сейчас же отвезти семенной хлеб. Вашему двору причитается засыпать ровно семьдесят семь пудов. Давай, хозяин, вези!

— Да кто его знает... Его, и хлеба-то, почти нету...— нерешительно начал было Аким Младший, огорошенный столь неожиданным приступом, но жена метнула в его сторону озлобленный взгляд, резко перебила:

— Нечего уж там! Ступай, насыпай мешки да вези!

— Нету семидесяти пудов... Да и неподсеянный он у нас,— слабо сопротивлялся Аким.

— Вези, Акимушка. Стало быть, надо сдать, чего уж там супротивничать,— поддержал сноху дед Аким.

— Мы — люди не гордые, поможем, подсеем,— охотно вызвался Ванюшка.— А грохот-то у вас есть?

— Есть... Да он трошки несправный...

— Эка беда! Починим! Скорее, скорее, хозяин! А то мы тут у вас и так заговорились...

Через полчаса Аким Младший вел с колхозного база две бычиные подводы, а Ванюшка с лицом, усеянным мелкими, как веснушки, бисеринками пота, таскал из мякинника на приклеток амбара мешки с подсеянной пшеницей, твердозерной и ядреной, отливающей красниной червонного золота.

— Чего же это хлеб-то у вас в половне сохранялся? Амбар имеете вместительный, а хлеб так бесхозяйственно лежал? — спрашивал он у одной из Акимовых девок, лукаво подмигивая.

— Это батяня выдумал...— смущенно отвечала та.

После того как Бесхлебнов повез свои семьдесят семь пудов к общественному амбару, а Ванюшка с Нагульновым, простившись с хозяевами, пошли в следующий двор, Нагульнов, с радостным волнением глядя на усталое лицо Ванюшки, спросил:

— Про комсомольца это ты выдумал?

— Нет,— рассеянно отвечал тот,— когда-то давно читал про такой случай в мопровском журнале.

— А ты сказал, что сегодня читал...

— А не все ли равно? Тут главное, что такой случай был, вот что жалко, товарищ Нагульнов!

— Ну, а ты... от себя-то прибавлял для жалобности? — допытывался Нагульнов.

— Да это же неважно! — досадливо отмахнулся Ванюшка и, зябко ежась, застегивая кожанку, проговорил: — Важно, чтобы люди ненависть почувствовали к палачам и к капиталистическому строю, а к нашим борцам — сочувствие. Важно, что семена вывезли... Да я почти ничего и не прибавлял. А взвар у хозяйки был сладкий, на ять! Напрасно ты, товарищ Нагульнов, отказался!

ГЛАВА XXVI

Десятого марта с вечера пал над Гремячим Логом туман, до утра с крыш куреней журчала талая вода, с юга, со степного гребня, набегом шел теплый и мокрый ветер.

Первая ночь, принявшая весну, стала над Гремячим, окутанная черными шелками наплывавших туманов, тишины, овеянная вешними ветрами. Поздно утром взмыли порозовевшие туманы, оголив небо и солнце, с юга уже мощной лавой ринулся ветер; стекая влагой с шорохом и гулом стал оседать крупнозерный снег, побурели крыши, черными просовами покрылась дорога; а к полудню по ярам и логам яростно всклокоталась светлая, как слеза, нагорная вода и бесчисленными потоками устремилась в низины, в левады, в сады, омывая горькие корневища вишенника, топя приречные камыши.

Дня через три уже оголились доступные всем ветрам бугры, промытые до земли склоны засияли влажной глиной, нагорная вода помутилась и понесла на своих вскипающих кучерявых волнах желтые шапки пышно взбитой пены, вымытые хлебные корневища, сухие выволочки с пашен и срезанный водою кустистый жабрей.

В Гремячем Логу вышла из берегов речка. Откуда-то с верховьев ее плыли источенные солнцем голубые крыги льда. На поворотах они выбивались из русла, кружились и терлись, как огромные рыбы на нересте. Иногда струя выметывала их на крутобережье, а иногда льдина, влекомая впадавшим в речку потоком, относилась в сады и плыла между деревьями, со скрежетом налезая на стволы, круша садовый молодняк, раня яблони, пригибая густейшую поросль вишенника.

За хутором призывно чернела освобожденная от снега зябь. Взвороченные лемехами пласты тучного чернозема курились на сугреве паром. Великая благостная тишина стояла в полуденные часы над степью. Над пашнями — солнце, молочно-белый пар, волнующий выщелк раннего жаворонка да манящий клик журавлиной станицы, вонзающейся грудью построенного треугольника в густую синеву безоблачных небес. Над курганами, рожденное теплом, дрожит, струится марево; острое зеленое жало травяного листка, отталкивая прошлогодний отживший стебелек, стремится к солнцу. Высушенное ветром озимое жито словно на цыпочках поднимается, протягивая листки встречь светоносным лучам. Но еще мало живого в степи, не проснулись от зимней спячки сурки и суслики, в леса и буераки подался зверь, изредка лишь пробежит по старюке-бурьяну полевая мышь да пролетят на озимку разбившиеся на брачные пары куропатки.

В Гремячем Логу к 15 марта был целиком собран семфонд. Единоличники ссыпали свои семена в отдельный

амбар, ключ от которого хранился в правлении колхоза, колхозники доверху набили шесть обобществленных амбаров. Хлеб чистили на триере и ночью при свете трех фонарей. В кузнице Ипполита Шалого до потемок дышала широкая горловина кузнечного меха, из-под молота сеялись золотые зерна огня, певуче звенела наковальня. Шалый приналег и к 15 марта отремонтировал все доставленные в починку бороны, буккера, запашники, садилки и плуги. А 16-го вечером в школе Давыдов, при большом стечении колхозников, премировал его своими, привезенными из Ленинграда, инструментами и держал такую речь:

— Нашему дорогому кузнецу, товарищу Ипполиту Сидоровичу Шалому, за его действительно ударную работу, по которой должны равняться все остальные колхозники, мы — правление колхоза — преподносим настоящий инструмент.

Давыдов, по случаю торжественного премирования ударника-кузнеца свежевыбритый, в чисто выстиранной фуфайке, взял со стола разложенные на красном полотнище инструменты, а Андрей Размётнов вытолкал на сцену багрового Ипполита.

— Товарищ Шалый к сегодняшнему дню на сто процентов закончил ремонт,— факт, граждане! Всего им наложено лемехов — пятьдесят четыре, приведено в боевую готовность двенадцать разнорядных сеялок, четырнадцать буккеров и прочее, факт! Получи, дорогой наш товарищ, наш братский подарок тебе в награждение, и чтобы ты, прах тебя дери, и в будущем так же ударно работал; чтобы весь инвентарь в нашем колхозе всегда был на большой палец, факт! И вы, остальные граждане, должны так же ударно работать в поле, только тогда мы оправдаем название своего колхоза, иначе нам предстоит предание позору и стыду на глазах всего Советского Союза, факт!

С этими словами Давыдов завернул в трехметровый кусок красного сатина премию, подал ее Шалому. Выражать одобрение хлопаньем в ладоши гремяченцы еще не научились, но когда Шалый дрожащими руками взял красный сверток, шум поднялся в школе:

— Следовает ему! Дюже работал!

— Из негодности обратно привел в годность.

— Инструмент получил и бабе сатину на платье!

— Ипполит, магарыч с тебя, черный бугай!

— Качать его!

— Брось, шалавый! Он и так возля ковадлы накачался!

Дальше выкрики перешли в слитый гул, но дед Щукарь

ухитрился-таки пробуравить шум своим по-бабьи резким голосом:

— Чего же стоишь молчком?! Говори! Ответствуй! Вот уродился человек от супругов — пенька да колоды.

Щукаря поддержали, всерьез и в шутку стали покрикивать:

— Пущай за него Демид Молчун речь скажет!

— Ипполит! Гутарь скорее, а то упадешь!

— Гляньте-ка, а у него и на самом деле поджилки трясутся!

— От радости язык заглотнул?

— Это тебе не молотком стучать!

Но Андрей Размётнов, любивший всякие торжества и руководивший на этот раз церемонией премирования, унял шум, успокоил взволнованное собрание:

— Да вы хучь трошки охолоньте! Ну, чего опять взревелись? Весну почуяли? Хлопайте культурно в ладошки, орать нечего! Цыцте, пожалуйста, и дайте человеку соответствовать словами! — Повернувшись к Ипполиту и незаметно толкнув его кулаком в бок, шепнул: — Набери дюжей воздуху в грудя и говори. Пожалуйста, Сидорович, длинней говори, по-ученому. Ты зараз у нас — герой всей торжественности и должон речь сказать по всем правилам, просторную.

Не избалованный вниманием Ипполит Шалый, никогда в жизни не говоривший «просторных» речей и получавший от хуторян за работу одни скупые водочные магарычи, подарком правления и торжественной обстановкой его вручения был окончательно выбит из состояния всегдашней уравновешенности. У него дрожали руки, накрепко прижавшие к груди красный сверток; дрожали ноги, всегда такой уверенной и твердой раскорякой стоявшие в кузнице... Не выпуская из рук свертка, он вытер рукавом слезинку и докрасна вымытое по случаю необычайного для него события лицо, сказал охрипшим голосом:

— Струмент нам, конечно, нужный... Благодарные мы... И за правление, за ихнюю эту самую... Спасибо и ишо раз спасибо! А я... раз я кузницей зараженный и могу... то я всегда, как я нынче — колхозник, с дорогой душой... А сатин, конечно, бабе моей сгодится...— Он потерянно зашарил глазами по тесно набитой классной комнате, ища жену, втайне надеясь, что она его выручит, но не увидел, завздыхал и кончил свою непросторную речь: — И за струмент в сатине и за наши труды... вам, товарищ Давыдов, и колхозу спасибочко!

Размётнов, видя, что взволнованная речь Шалого приходит к концу, напрасно делал вспотевшему кузнецу отчаянные знаки. Тот не хотел их замечать и, поклонившись, пошел со сцены, неся сверток на вытянутых руках, как спящее дитя.

Нагульнов торопливо сдернул с головы папаху, махнул рукой; оркестр, составленный из двух балалаек и скрипки, начал «Интернационал».

* * *

Бригадиры Дубцов, Любишкин, Демка Ушаков каждый день верхами выезжали в степь посмотреть, не готова ли к пахоте и севу земля. Весна шла степями в сухом дыхании ветров. Погожие стояли дни, и первая бригада уже готовилась к пахоте серопесчаных земель, бывших на ее участке.

Бригада агитколонны была отозвана в хутор Войсковой, но Ванюшку Найденова, по просьбе Нагульнова, Кондратько оставил на время сева в Гремячем.

На другой день после того, как премировали Шалого, Нагульнов развелся с Лушкой. Она поселилась у своей двоюродной тетки, жившей на отшибе, дня два не показывалась, а потом как-то встретилась с Давыдовым возле правления колхоза, остановила его:

— Как мне теперь жить, товарищ Давыдов, посоветуйте.

— Нашла о чем спрашивать! Вот мы ясли думаем организовать, поступай туда.

— Нет уж, спасибо! Своих детей не имела, да чтоб теперь с чужими нянчиться? Тоже выдумали!

— Ну, иди работать в бригаду.

— Я — женщина нерабочая, у меня от польско́й работы в голове делается кружение...

— Скажите, какая вы нежная! Тогда гуляй себе, но хлеба не получишь. У нас «кто не работает, тот не ест»!

Лушка вздохнула и, роя остроносым чириком влажный песок, потупила голову:

— Мне мой дружочек Тимошка Рваный прислал из города Котласу Северного краю письмецо... Сулится скоро прийтить.

— Ну уж это черта с два! — улыбнулся Давыдов.— А если и придет, мы его еще подальше отправим.

— Значит, ему не будет помилования?

— Нету! Не жди и не лодырничай. Работать надо, факт! — резко ответил Давыдов и хотел было идти, но Лушка, чуть смутившись, его удержала. В голосе ее дрогнули смешливые и вызывающие нотки, когда она протяжно спросила:

— А может, вы мне жениха бы какого-нибудь завалященького нашли?

Давыдов злобно ощерился, буркнул:

— Этим не занимаюсь! Прощай!

— Погодите чудо́к! Ишо спрошу вас!

— Ну?

— А вы бы меня не взяли в жены? — В голосе Лушки зазвучали прямой вызов и насмешка.

Тут уж пришла очередь смутиться Давыдову. Он побагровел до корней зачесанных вверх волос, молча пошевелил губами.

— Вы посмотрите на меня, товарищ Давыдов,— продолжала Лушка с напускным смирением,— я женщина красивая, на любовь дюже гожая... Вы посмотрите: что глаза у меня хороши, что брови, что нога подо мной, ну, и все остальное...— Она кончиками пальцев слегка приподняла подол зеленой шерстяной юбки и, избоченясь, поворачивалась перед ошарашенным Давыдовым.— Аль плоха? Так вы так и скажите...

Давыдов жестом отчаяния сдвинул на затылок кепку, ответил:

— Девочка ты фартовая, слов нет. И нога под тобой красивая, да только вот... только не туда ты этими ногами ходишь, куда надо, вот это факт!

— Это уж где хочу, там и топчу! Так, значится, на вас мне не надеяться?

— Да уж лучше не надейся.

— Вы не подумайте, что я по вас сохну или пристроиться возле вас желаю. Мне вас просто жалко стало, думаю: «Живет молодой мужчина, неженатый, холостой, бабами не интересуется...» И жалко стало, как вы смотрите на меня, и в глазах ваших — голод...

— Ты, черт тебя знает... Ну, до свиданья! Некогда мне с тобой,— и шутливо добавил: — Вот отсеемся, тогда, пожалуйста, налетай на бывшего флотского, да только у Макара разрешение возьми, факт!

Лушка захохотала, сказала вослед:

— Макар от меня все мировой революцией заслонялся, а вы — севом. Нет уж, оставьте! Мне вы, таковские, не нужны! Мне горячая любовь нужна, а так что же?.. У вас

кровя заржавели от делов, а с плохой посудой и сердцу остуда!

Давыдов шел в правление, растерянно улыбаясь. Подумал было: «Надо ее как-нибудь к работе пристроить, а то собьется бабочка с правильных путей. Будни, а она вырядилась, и такие разговорчики...» — но потом мысленно махнул рукой: «Э, да прах ее возьми! Сама не маленькая, должна понимать. Что я, в самом деле,— буржуйская дама с благотворительностью, что ли? Предложил работать — не хочет, ну и пусть ее треплется!»

У Нагульнова коротко спросил:

— Развелся?

— Пожалуйста, без вопросов! — пробормотал Макар, с чрезмерным вниманием рассматривая на своих длинных пальцах ногти.

— Да я так...

— Ну и я так!

— И черт с тобой! Спросить нельзя уже, факт!

— Первой бригаде бы выезжать пора, а они проволочку выдумляют.

— Ты бы Лукерью на путь наставил, она теперь — хвост в зубы и пойдет рвать!

— Да что я, поп ей или кто? Отвяжись! Я про первую бригаду говорю, что завтра ей край надо...

— Первая завтра выедет... А ты думаешь, это так просто: развелся и — ваших нет? Почему не воспитал женщину в коммунистическом духе? Одно несчастье с тобой, факт!

— Завтра сам на́ поля поеду с первой бригадой... Да что ты ко мне привязался, как репей? «Воспитать, воспитать!» Каким я ее чертом воспитал бы, ежели я сам кругом невоспитанный? Ну, развелся. Еще чего? Въедливый ты, Семен, как лишай!.. Тут с этим Банником!.. Мне самому до себя, а ты ко мне с предбывшей женой...

Давыдов только что хотел отвечать, но во дворе правления зазвучала автомобильная сирена. Покачиваясь, гребя штангой талую воду в луже, въехал риковский фордик... Распахнув дверцу, из него вышел председатель районной контрольной комиссии Самохин.

— Это́ по моему делу...— Нагульнов сморщился и озлобленно озирнулся на Давыдова.— Гляди, ишо ты ему про бабу не вякни, а то подведешь меня под монастырь! Он, этот Самохин, знаешь какой? «Почему развелся да при какой случайности?» Ему — нож вострый, когда коммунист разводится. Поп какой-то, а не РКИ. Терпеть его ненавижу,

черта лобастого! Ох, уже этот мне Банник! Убить бы гада и...

Самохин вошел в комнату, не выпуская из рук брезентового портфеля, не здороваясь, полушутливо сказал:

— Ну, Нагульнов, натворил делов? А я вот через тебя должен в такую росторопь ехать. А это что за товарищ? Кажется, Давыдов? Ну, здравствуйте.— Пожал руки Нагульнову и Давыдову, присел к столу.— Ты, товарищ Давыдов, оставь нас на полчасика, мне вот с этим чудаком (жест в сторону Нагульнова) потолковать надо.

— Валяйте, говорите.

Давыдов поднялся, с изумлением слыша, как Нагульнов, только что просивший его не говорить о разводе, брякнул, видимо решив, что «семь бед — один ответ»:

— Избил одного контрика — верно, да это еще не все, Самохин...

— А что еще?

— Жену нынче выгнал из дому!

— Да ну-у?..— испуганно протянул большелобый тощий Самохин и страшно засопел, роясь в портфеле, молча шелестя бумагами...

ГЛАВА XXVII

Ночью сквозь сон Яков Лукич слышал шаги, возню возле калитки и никак не мог проснуться. И когда с усилием оторвался от сна, уже въяве услышал, как заскрипела доска забора под тяжестью чьего-то тела и словно бы звякнуло что-то металлическое. Торопливо подойдя к окну, Яков Лукич приник к оконному глазку, всмотрелся,— в предрассветной глубокой темени увидел, как через забор махнул кто-то большой, грузный (слышен был тяжкий звук прыжка). По белевшей в ночи папахе угадал Половцева. Накинул пиджак, снял с печи валенки, вышел. Половцев уже ввел в калитку коня, запер ворота на засов. Яков Лукич принял из рук его поводья. Конь был мокр по самую холку, хрипел нутром и качался. Половцев, не ответив на приветствие, хриплым шепотом спросил:

— Этот... Лятьевский тут?

— Спят. Беда с ними... водочку всё выпивали за это время...

— Черт с ним! Сволочь... Коня я, кажется, перегнал...

Голос Половцева был неузнаваемо тих, в нем почуди-

лось Якову Лукичу какая-то надорванность, большая тревога и усталь...

В горенке Половцев снял сапоги, из седельной сумы вынул казачьи синие с лампасами шаровары, надел, а свои, мокрые по самый высокий простроченный пояс, повесил над лежанкой просушить.

Яков Лукич стоял у притолоки, следил за неторопливыми движениями своего начальника; тот присел на лежанку, обхватил руками колени, грея голые подошвы, на минуту дремотно застыл. Ему, видимо, смертно хотелось спать, но он с усилием открыл глаза, долго смотрел на Лятьевского, спавшего непросыпным пьяным сном, спросил:

— Давно пьет?

— Спервоначалу. Дюже зашибает! Мне ажник неловко перед людьми... Кажин день приходится водку тягать... Подозрить могут.

— Сволочь! — не разжимая зубов, с великим презрением процедил Половцев. И снова задремал сидя, покачивая большой седеющей головой.

Но через несколько минут темного наплывного сна вздрогнул, спустил с лежанки ноги, открыл глаза.

— Трое суток не спал... Речки играют. Через вашу, гремяченскую, вплынь перебрался.

— Вы бы прилегли, Александр Анисимыч.

— Лягу. Дай табаку. Я свой намочил.

После двух жадных затяжек Половцев оживился. Из глаз его исчезла сонная наволочь, голос окреп.

— Ну, как дела тут?

Яков Лукич коротко рассказал; спросил в свою очередь:

— А какие ваши успехи? Скоро?

— На этих днях или... вовсе не начнем. Завтра ночью поедем с тобой в Войсковой. Надо поднимать оттуда. Ближе к станице. Там сейчас агитколонна. С нее будем пробовать. А ты мне в этой поездке необходим. Тебя там знают казаки, твое слово их воодушевит.— Половцев помолчал, долго и нежно гладил своей большой ладонью вскочившего ему на колени черного кота, потом зашептал, и в голосе его зазвучали несвойственные ему теплота, ласка: — Кисынька! Кисочка! Котик! Ко-ти-ще! Да какой же ты вороной! Люблю я, Лукич, кошек! Лошадь и кошка — самые чистоплотные животные... У меня дома был сибирский кот, огромный, пушистый... Постоянно спал со мной... Масти этакой...— Половцев задумчиво сощурил глаза, улыбнулся и пошевелил пальцами,— этакой дымчато-серой с белыми плешинами. Заме-ча-тель-ный кот был. А ты, Лукич, не

любишь кошек? Вот собак я не люблю, ненавижу собак! Знаешь, у меня в детстве был такой случай, мне было тогда, наверное, лет восемь. У нас был щеночек маленький, я с ним как-то играл, как видно, больно ему сделал. Он меня и цапнул за палец, до крови прокусил. Я разъярился, схватил хворостину и стал его пороть. Он бежит, а я догоняю и порю, порю с... прямо-таки с наслаждением! Он — под амбар, я — за ним, он — под крыльцо, но я его и оттуда достану и все бью его, бью. И до того засек, что он весь обмочился и уже, знаешь, не визжит, а хрипит да всхлипывает... И вот тогда я взял его на руки...— Половцев улыбнулся как-то виновато, смущенно, одною стороною рта.— Взял да так разревелся сам от жалости к нему, что у меня сердце зашлось! Судороги тогда со мной сделались... Мать прибежала, а я рядом со щенком лежу возле каретника на земле и ногами сучу... С той поры не переношу собак. А вот кошек чертовски люблю. И детей. Маленьких. Очень люблю, даже как-то болезненно. Детских слез не могу слышать, все во мне переворачивается... А ты, старик, кошек любишь или нет?

Изумленный донельзя проявлением таких простых человеческих чувств, необычным разговором своего начальника, пожилого матерого офицера, славившегося, еще на германской войне, жестокостью в обращении с казаками, Яков Лукич отрицательно потряс головой. Половцев помолчал, посуровел лицом и уже сухо, по-деловому спросил:

— Почта давно была?

— Зараз же разло́й, лога все понадулись, бездорожье. Недели полторы не было почты.

— В хуторе ничего не слышали насчет статьи Сталина?

— Какой статьи?

— Статья его была напечатана в газетах насчет колхозов.

— Нет, не слыхать. Видно, эти газеты не дошли до нас. А что в ней было пропечатано, Александр Анисимыч?

— Так, пустое... Тебе это неинтересно. Ну, ступай, ложись спать. Коня напоишь часа через три. А завтра ночью добыть пару колхозных лошадей, и как только смеркнется, поедем на Войсковой. Ты поедешь охлюпкой [1], тут недалеко.

Утром Половцев долго говорил с прохмелившимся Лятьевским. После разговора Лятьевский вышел в кухню бледный, злой.

---

[1] Охлюпкой — без седла.

— Может, похмелиться есть нужда? — предупредительно спросил Яков Лукич, но Лятьевский глянул куда-то выше его головы, раздельно сказал:

— Теперь уж ничего не надо,— и ушел в горенку, лег на кровать ничком.

Ночью на колхозной конюшне дежурил Батальщиков Иван — один из завербованных Яковом Лукичом в «Союз освобождения Дона». Но Яков Лукич и ему не сказал о том, куда и для какой надобности поедут. «По нашему делу надо съездить недалеко»,— уклончиво ответил на вопрос Батальщикова. И тот, не колеблясь, отвязал пару лучших лошадей. По-за гумнами провел их Яков Лукич, привязал к леваде, а сам пошел вызывать Половцева. И когда подходил к дверям горенки, слышал, как Лятьевский крикнул: «Да ведь это же означает наше поражение, поймите!» В ответ что-то сурово забасил Половцев, и Яков Лукич, томимый предчувствием какой-то беды, тихо постучался.

Половцев вынес седло. Вышли. Взяли лошадей. Тронули рысью. Речку переехали за хутором вброд. Всю дорогу Половцев молчал, курить воспретил и ехать велел не по дороге, а сбочь, саженях в пяти-десяти.

В Войсковом их ждали. В курене у знакомого Якову Лукичу казака сидело человек двадцать хуторян. Преобладали старики. Половцев со всеми здоровался за руку, потом отошел с одним к окну, шепотом в течение пяти минут говорил. Остальные молча поглядывали то на Половцева, то на Якова Лукича. А тот, присев около порога, чувствовал себя среди чужих, мало знакомых казаков потерянно, неловко...

Окна изнутри были плотно занавешены дерюжками, ставни закрыты, на базу караулил зять хозяина, но, несмотря на это, Половцев заговорил вполголоса:

— Ну, господа казаки, час близок! Кончается время вашего рабства, надо выступать. Наша боевая организация наготове. Выступаем послезавтра ночью. К вам в Войсковой придет конная полусотня, и по первому же выстрелу вы должны кинуться и перебрать на квартирах этих... агитколонщиков. Чтобы ни один живым не ушел! Командование над вашей группой возлагаю на подхорунжего Марьина. Перед выступлением советую нашить на шапки белые ленты, чтобы в темноте своих не путать с чужими. У каждого должен быть наготове конь, имеющееся вооружение — шашки, винтовка или даже охотничье ружье — и трехдневный запас харчей. После того как управитесь с агитколонной и вашими местными коммунистами, ваша группа

вливается в ту полусотню, которая придет вам на помощь. Командование переходит к командиру полусотни. По его приказу тронетесь туда, куда он вас поведет.— Половцев глубоко вздохнул, вынул из-за пояса толстовки пальцы левой руки, вытер тылом ладони пот на лбу и громче продолжал: — Со мною приехал из Гремячего Лога всем вам известный казак Яков Лукич Островнов, мой полчанин. Он вам подтвердит готовность большинства гремяченцев идти вместе с нами к великой цели освобождения Дона от ига коммунистов. Говори, Островнов!

Тяжелый взгляд Половцева приподнял Якова Лукича с табурета. Яков Лукич проворно встал, ощущая тяжесть во всем теле, жар в своей пересохшей гортани, но говорить ему не пришлось: его опередил один из присутствовавших на собрании, самый старый на вид казак, член церковного совета, до войны бывший в Войсковом бессменным попечителем церковноприходской школы. Он встал вместе с Яковом Лукичом и, не дав ему слова вымолвить, спросил:

— А вы, ваше благородие, господин есаул, наслышанные об том, что... Тут вот до вашего прибытия совет промежду нас шел... Тут газетка дюже антиресная проявилась...

— Что-о-о? Что ты говоришь, дед? — хрипловато спросил Половцев.

— Газетка, говорю, из Москвы, пришла, и в ней пропечатанное письмо председателя всей партии...

— Секретаря! — поправил кто-то из толпившихся возле печи.

— ...То бишь секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она, эта самая газетка от второго числа сего месяца,— не спеша, старческим тенорком говорил старик, а сам уже доставал из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенную вчетверо газету.— Читали мы вслух ее промеж себя трошки загодя до вашего прибытия, и... выходит так, что разлучает эта газетка нас с вами! Другая линия жизни нам, то есть хлеборобам, выходит... Мы вчера прослыхали про эту газету, а ноне утром сел я верхи и, на старость свою не глядя, мотнулся в станицу. Через Левшову балку вплынь шел, со слезами, а перебрался через нее. У одного знакомца в станице за-ради Христа выпросил — купил я эту газету, заплатил за нее. Пятнадцать рубликов заплатил! А после уже доглядели, а на ней обозначенная цена — пять копеек! Ну, да деньги мне с обчества соберут, с база по гривеннику, так мы порешили. Но газета денег этих стоит, ажник кубыть даже превышает...

— Ты о чем говоришь, дед? Ты что это несешь и с Дона и с моря? На старости лет умом помешался? Кто тебе давал полномочия говорить от имени всех тут присутствующих? — с гневной дрожью в голосе спросил Половцев.

Тогда выступил малого роста казачок, годов сорока на вид, с куцыми золотистыми усами и расплюснутым носом; выступил из стоявшей возле стены толпы и заговорил вызывающе, зло:

— Вы, товарищ бывший офицер, на наших стариков не пошумливайте, вы на них и так предостаточно нашумелись в старую время. Попановали — и хватит, а зараз надо без грубиянства гутарить. Мы при Советской власти стали непривычные к таким обращениям, понятно вам? И старик наш правильно гутарил, что был промеж нас совет, и порешили мы все через эту статью в газете «Правде» не восставать. Разошлись поврозь наши с вашими стежки-дорожки! Власть наша хуторская надурила, кое-кого дуриком в колхоз вогнала, много середняков занапрасно окулачила, а того не поняла наша власть, что дуриком одну девку можно, а со всем народом нельзя управиться. Ить наш председатель Совета так нас зануздал было, что на собрании и слова супротив него не скажи. Подтягивал нам подпруги неплохо, дыхнуть нечем было, а ить хороший хозяин по песку, по чижолой дороге лошади чересседельню отпущает, норовит легше сделать... Ну, мы раньше, конешно, думали, что это из центру такой приказ идет, масло из нас выжимать; так и кумекали, что из ЦК коммунистов эта пропаганда пущенная, гутарили промеж себя, что, мол, «без ветру и ветряк не будет крыльями махать». Через это решили восставать и вступили в ваш «союз». Понятно вам? А зараз получается так, что Сталин этих местных коммунистов, какие народ силком загоняли в колхоз и церква без спросу закрывали, кроет почем зря, с должностев смещает. И получается хлеборобу легкая дыхания, чересседельня ему отпущенная — хочешь, иди в колхоз, а хочешь, сиди в своей единоличности. Вот мы и порешили — с вами добром... Отдайте нам расписки, какие мы вам по нашей дурости подписали, и ступайте, куда хотите, мы вам вреда чинить не будем через то, что сами мазаные...

Половцев отошел к окну, прислонился к косяку спиной, побледнел, так что всем стало заметно, но голос его прозвучал твердо, с сухим накалом, когда он, оглядывая всех, спросил:

— Это что же, казачки? Измена?

— Уж это как хотите,— ответил ему еще один старик,— как хотите прозывайте, но нам с вами зараз не по дороге. Раз сам хозяин стал нам в защиту, то чего же нам на сторону лезть? Вот меня лишили зазря голосу, выселять хотели, а у меня сын в Красной Армии, и, значится, я своих правов голоса достигну. Мы не супротив Советской власти, а супротив своих хуторских беспорядков, а вы нас хотели завернуть против всей Советской власти. Нет, это не гоже нам! Возверните нам расписки, покедова добром просим.

И еще один пожилой казак говорил, неспешно поглаживая левой рукой кучерявую бородку:

— Промахнулись мы, товарищ Половцев... Видит бог, промахнулись! Не путем мы с вами связались. Ну, да ить от спыток — не убыток, теперича будем ходить без вилюжечков... Прошедший раз слухали мы вас, как вы нам золотые горы сулили, и диву давались: уж дюже ваши посулы чижолые! Вы говорили, что, мол, союзники нам — на случай восстания — в один момент оружию примчат и всю военную справу. Наше, мол, дело только пострелить коммунистов. А после раздумались мы, и что же оно получается? Оружию-то они привезут, это добро дешевое, но, гляди, они и сами на нашу землю слезут? А слезут, так потом с ними и не расцобекаешься! Как бы тоже не пришлось их железякой с русской землицы спихивать. Коммунисты — они нашего рода, сказать, свои, природные, а энти черт-те по-каковски гутарют, ходют гордые все, а середь зимы снегу не выпросишь, и попадешься им, так уж милости не жди! Я побывал в двадцатом году за границей, покушал французского хлеба на Галиполях и не чаял оттедова ноги притянуть! Дюже уж хлеб их горьковатый! И много нациев я перевидал, а скажу так, что, окромя русского народу, нету желанней, сердцем мягше. В Константинополе и в Афинах работал в портах, на англичан, французов насмотрелся. Ходит такая разутюженная гадюка мимо тебя и косоротится оттого, что я, видишь ты, небритый, грязный, как прах, по́том воняю, а ему на меня глядеть — душу воротит. У него ить, как у офицерской кобылы, все до самой подхвостницы подмыто и выскоблено, и вот он этим гордится, а нами гребует. Ихние матросы в кабаках, бывало, нас затрагивают и чуть чего — боксом бьют. Но наши донские и кубанские трошки приобыкли в чужих краях и начали им подвешивать! — Казак улыбнулся, в бороде синеватым лезвием сверкнули зубы.— По-русски даст наш биток какому-нибудь англичанину, а он с ног — копырь, и лежит за голову держится, тяжело взды-

хает. Нежные они на русский кулак, хоть сытно едят, а квёлые. Мы этих союзников раскусили и поотведали! Нет уж, мы тут с своей властью как-нибудь сами помиримся, а сор из куреня нечего таскать... Расписочки-то вы нам ублаговолите назад!

«Махнет он зараз в окно, а я останусь, как рак на меле! Вот так влез!.. Ох, мамушка родимая, в лихой час ты меня зародила! Связался с распроклятым! Попутал нечистый дух!» — думал Яков Лукич, ерзая по скамейке, глаз не сводя с Половцева. А тот спокойно стоял у окна, и теперь уже не бледность заливала его щеки, а темная просинь гнева, решимости. На лбу вздулись две толстые поперечные жилы, руки неотрывно сжимали подоконник.

— Ну, что же, господа казаки, воля ваша: не хотите идти с нами — не просим, челом не бьем. Расписок я не верну, они не со мною, а в штабе. Да вы напрасно и опасаетесь, я же не пойду в ГПУ заявлять на вас...

— Оно-то так,— согласился один из стариков.

— ...И не ГПУ вам надо бояться...— Половцев, говоривший до этого замедленно, тихо, вдруг крикнул во весь голос: — Нас надо бояться! Мы вас будем расстреливать, как предателей!.. А ну, прочь с дороги! Сторонись! К стенкам!..— и, выхватив наган, держа его в вытянутой руке, направился к двери.

Казаки ошалело расступились, а Яков Лукич, опередив Половцева, плечом распахнул дверь, вылетел в сенцы, как камень, кинутый пращой.

В темноте они отвязали лошадей, рысью выехали со двора. Из куреня доносился гул взволнованных голосов, но никто не вышел, ни один из казаков не попытался их задержать...

* * *

После того как вернулись в Гремячий Лог и Яков Лукич отвел на колхозную конюшню запаренных быстрой скачкой лошадей, Половцев позвал его к себе в горенку. Он не снимал с себя ни полушубка, ни папахи; как только вошел, приказал Лятьевскому собираться, прочитал письмо, присланное перед их приездом с коннонарочным, сжег его в печке и начал увязывать в переметные сумы свои пожитки.

Яков Лукич, войдя в горенку, застал его сидящим за столом. Лятьевский, посверкивая глазом, чистил маузер,

собирал точными, быстрыми движениями смазанные ружейным маслом части, а Половцев на скрип двери отнял ото лба ладонь, повернулся к Якову Лукичу лицом, и тот впервые увидел, как бегут из глубоко запавших, покрасневших глаз есаула слезы, блестит смоченная слезами широкая переносица...

— О том плачу, что не удалось наше дело... на этот раз...— звучно сказал Половцев и размашистым жестом снял белую курпяйчатую папаху, осушил ею глаза.— Обеднял Дон истинными казаками, разбогател сволочью: предателями и лиходеями... Сейчас уезжаем, Лукич, но мы вернемся! Получил вот пакет... В Тубянском и в моей станице казаки тоже отказались восставать. Переманил их Сталин своей статьей. Вот бы кого я сейчас... вот бы кого я...— В горле Половцева что-то заклокотало, захлюпало, под скулами взыграли желваки, а пальцы на ядреных руках скрючились, сжались в кулаки до отеков в суставах. Глубоко, с хрипом вздохнув, он медленно разнял пальцы, улыбнулся одной стороной рта.— Ккка-ккой народ! Подлецы!.. Дураки, богом проклятые!.. Они не понимают того, что эта статья — гнусный обман, маневр! И они верят... как дети. О! Гнусь земляная! Их, дураков, большой политики ради водят, как сомка на удочке, подпруги им отпускают, чтобы до смерти не задушить, а они все это за чистую монету принимают... Ну, да ладно! Поймут и пожалеют, да поздно будет. Мы уезжаем, Яков Лукич. Спаси Христос тебя за хлеб-соль, за все. Вот тебе мой наказ: из колхоза не выходи, вреди им всячески, а тем, кто был в нашем «союзе», скажи моим крепким словом: мы пока отступаем, но мы не разбиты. Мы еще вернемся, и тогда горе будет тем, кто отойдет от нас, предаст нас и дело... великое дело спасения родины и Дона от власти международных жидов! Смерть от казачьей шашки будет им расплатой, так и скажи!

— Скажу,— прошептал Яков Лукич.

Речь и слезы Половцева его растрогали, но в душе он был страшно рад тому, что избавляется от опасных постояльцев, что все это закончилось так благополучно, что отныне не придется рисковать имуществом и собственной шкурой.

— Скажу,— повторил он и осмелился спросить: — А куда вы отбываете, Александр Анисимыч?

—А зачем это тебе? — настороженно спросил Половцев.

— Так, может статься, понадобитесь вы или человек какой к вам прибудет.

Половцев покачал головою, встал.

— Нет, этого я тебе сказать не могу. Но так недели через три ожидай меня. Прощай,— и подал холодную руку.

Коня он оседлал сам, тщательно разгладил потник, подтянул подпруги. Лятьевский уже на базу простился с Яковом Лукичом, сунул ему в руку две бумажки.

— Вы пеши? — спросил его Яков Лукич.

— Это я только с твоего двора, а там на улице меня ожидает собственный автомобиль,— пошутил духа не сронивший подпоручик и, дождавшись, пока Половцев сел в седло, взялся за стремянной ремень.— Ну, скачи, князь, до вражьего стану, авось я пешой не отстану!

Яков Лукич проводил гостей за калитку, с чувством огромного облегчения запер ворота на засов, перекрестился и, озабоченно вынув из кармана полученные от Лятьевского деньги, долго в предрассветном сумеречье пытался разглядеть, какого они достоинства, и на ощупь, по хрусту определить, не фальшивые ли.

ГЛАВА XXVIII

Двадцатого марта кольцевик привез в Гремячий Лог запоздавшие по случаю половодья газеты со статьей Сталина «Головокружение от успехов». Три экземпляра «Молота» за день обошли все дворы, к вечеру превратились в засаленные, влажные, лохматые лоскутки. Никогда за время существования Гремячего Лога газета не собирала вокруг себя такого множества слушателей, как в этот день. Читали, собираясь группами, в куренях, на проулках, по забазьям, на приклетках амбаров... Один читал вслух, остальные слушали, боясь проронить слово, всячески соблюдая тишину. По поводу статьи всюду возникали великие спорища. Всяк толковал по-своему, в большинстве так, кому как хотелось. И почти везде при появлении Нагульнова или Давыдова почему-то торопливо передавали газету из рук в руки, пока она, белой птицей облетев толпу, не исчезала в чьем-нибудь широченном кармане.

— Ну, теперь полезут колхозы по швам, как прелая одежина! — первым высказал догадку торжествующий Банник.

— Навоз уплывет, а что потяжельше — останется,— возражал ему Демка Ушаков.

— Гляди, как бы навыворот, наоборот не получилось,— ехидствовал Банник и спешил уйти, чтобы в другом месте шепнуть людям, которые понадежнее: «Бузуй, выписывайся из колхозу, покеда свободу крепостным объявили!»

— Раскорячился середняк! Одной ногой в колхозе стоит, а другую поднял, отрясает и уже норовит зараз, как бы из колхоза переступить обратно в свое хозяйство,— говорил Павло Любишкин Менку, указывая на оживленно разговаривавших колхозников-середняков.

Бабы, много недопонимавшие, по своему бабьему обыкновению занялись догадками и выгадками. И пошло по хутору:

— Распущаются колхозы!

— Коров — приказано из Москвы — вернуть.

— Кулаков возвертают и записывают по колхозам.

— Голоса отдают энтим, у каких поотняли.

— Церкву на Тубянском открывают, а семенной хлеб, какой в ней был ссыпанный, раздают колхозникам на прокорм.

Надвигались большие события. Это чувствовалось всеми. Вечером на закрытом собрании партячейки Давыдов, нервничая, говорил:

— Очень даже своевременно написана статья товарища Сталина! Макару, например, она не в бровь, а в глаз колет! Закружилась Макарова голова от успехов, а заодно и наши головы малость закружились... Давайте, товарищи, предложения, что́ будем исправлять. Ну, птицу мы распустили, вовремя догадались, а вот как с овцами, с коровами как быть? Как с этим быть, я вас спрашиваю? Если это не политически сделать, то тут, факт, получится... получится, что это — вроде сигнала: «Спасайся, кто может!», «Бежи из колхоза!» И побегут, скот весь растянут, и останемся мы с разбитым корытом, очень даже просто!

Нагульнов, пришедший на собрание последним, встал, в упор глядя на Давыдова слезящимися, налитыми кровью глазами, заговорил, и Давыдов почувствовал, как от Макара резко нанесло запахом водочного перегара:

— Говоришь, в глаз мне эта статья попала? Нет, не в глаз, а в самое сердце! И наскрозь, навылет! И голова моя закружилась не тогда, когда мы колхоз создавали, а вот сейчас, после этой статьи...

— После бутылки водки она у тебя закружилась,— тихо вставил Ванюшка Найденов.

Размётнов улыбнулся, сочувственно подмигнув, Давы-

дов нагнул над столом голову, а Макар раздул побелевшие ноздри, в мутных глазах его плеснулось бешенство:

— Ты, кужёнок, молодой меня учить и заметки мне делать! У тебя ишо пупок не просох, а я уже бился в то время за Советскую власть и в партии состоял... Так-то! А что я выпил ноне, так это — факт, как Давыдов наш говорит. И не бутылку выпил, а две!

— Нашел чем хвалиться! То-то из тебя дурь и прет...— хмуро кинул Размётнов.

Макар только покосился в его сторону, но заговорил тише и рукой перестал бестолково размахивать, а накрепко прижал ее к груди, да так и остался стоять до конца своей бессвязной, горячей речи.

— Дурь из меня зараз не прет, брешешь, Андрюшка! Выпил же я через то, что меня эта статья Сталина, как пуля, пронизала навылет, и во мне закипела горючая кровь...— Голос Макара дрогнул, стал еще тише.— Я тут — секретарь ячейки, так? Я приступал к народу и к вам, чертям, чтобы курей-гусей в колхоз согнать, так? Я за колхоз как агитировал? А вот как: кое-кому из наших злодеев, хотя они и середняки числются, прямо говорил: «Не идешь в колхоз? Ты, значится, против Советской власти? В девятнадцатом году с нами бился, супротивничал, и зараз против? Ну, тогда и от меня миру не жди. Я тебя, гада, так гробану, что всем чертям муторно станет!» Говорил я так? Говорил! И даже наганом по столу постукивал. Не отрицаюсь! Правда, не всем, но иным говорил, какие в душе против нас особенно напряженные. И я зараз не пьяный, пожалуйста, без глупостев! Я этой статьи не мог стерпеть, через нее и выпил за полгода первый раз. Какая это есть статья? А это статья такая, что товарищ наш Сталин написал, а я, то есть Макар Нагульнов, брык! — и лежу в грязе ниц лицом, столченный, сбитый с ног долой... Это как? Товарищи! Я же согласен с тем, что я влево загибал с курями и с прочей живностью... Но, братцы, братцы, отчего я загибал? И зачем вы мне Троцкого на шею вешаете, взналыгиваете меня с ним, что я с ним в цобах ходил? Ты, Давыдов, мне все время в глаза ширял, что я — левый троцкист. Но я такой грамоты, как Троцкий, не знаю, и я не так, как он... к партии я не ученым хрящиком прирастал, а сердцем и своей пролитой за партию кровью!

— Ты по существу говори, Макар! Что ты в такое дорогое время разводишь волынку? Время не терпит. Давай предложения, как нам наши общие ошибки поправлять,

а этак что же ты, как Троцкий: — «Я в партии, я да партия...»

— Дай сказать! — зарычал Макар, вспыхнув и еще крепче прижав к груди правую руку.— От Троцкого я отпихиваюсь! Мне с ним зараз зазорно на одной уровне стоять! Я не изменник и наперед вас упреждаю: кто меня троцкистом назовет — побью морду! До мослов побью! И я влево с курями ушел не за-ради Троцкого, а я поспешал к мировой революции! Через это мне и хотелось все поскорее сделать, покруче собственника — мелкого буржуя — завернуть. Всё на шаг ближе бы к расправе над мировой капитализмой! Ну? Чего же вы молчите? Теперича так: кто же я есть такой, по статье товарища Сталина? Вот что середь этой статьи пропечатано.— Макар достал из кармана полушубка «Правду», развернул ее, медленно стал читать: — «Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов! К чему они могут привести, эти искривления? К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения. Не ясно ли, что авторы этих искривлений, мнящие себя «левыми», на самом деле льют воду на мельницу правого оппортунизма?» Вот и выходит, что я первонаперво — декретный чиновник и автор, что я развенчал колхозников и что я воды налил на правых оппортунистов, пустил в ход ихнюю мельницу. И все это из-за каких-то овец, курей, пропади они пропадом! Да из-за того, что пристращал несколько штук бывших белых, какие на тормозах в колхоз спущались. Неправильно это! Создавали, создавали колхоз, а статья отбой бьет. Я эскадрон водил и на поляков и на Врангеля и знаю: раз пошел в атаку — с полдороги не поворачивай назад!

— Ты от эскадрона-то выскакал вперед как раз на сотенник...— хмурясь, сказал Размётнов, последнее время упорно поддерживавший Давыдова.— И ты, пожалуйста, кончай, Макар, об деле надо гутарить! Вот когда выберут тебя секретарем ЦК, тогда уж ты будешь опрометь головы в атаку кидаться, а зараз — ты рядовой боец и ты строй соблюдай, а то мы тебе прикорот сделаем!

— Ты не перебивай, Андрей! Я любому приказу партии подчиняюсь, а зараз хочу говорить не потому, что я своей родимой партии намереваюсь супротивничать, а потому, что я ей добра хочу! Товарищ Сталин прописал, что надо было работать с учетом местности, так? А почему ты, Давыдов, говоришь, что статья именно мне в глаз встромилась?

В ней же не прописано прямо, что Макар Нагульнов — автор и чиновник? Может, эти слова вовсе даже меня и не касаемые? А вот, кабы товарищ Сталин приехал в Гремячий Лог, я бы ему так и сказал: «Дорогой наш Осип Виссарионыч! Ты, значится, супротив того, чтобы нашим середнякам острастку задавать? Ты их прижеливаешь и норовишь с нежностями уговаривать? А ежели он, этот середняк, в прошедших временах был в белых казаках и до́се до невозможности приверженный к собственности, тогда в какое место мне его лизать, чтобы он в колхоз вошел и терпеливо приближался к мировой революции? Ить он, середняк этот, в колхоз войдет, и то не может отрешиться от собственности, а все прицеляется, как бы свою худобу дюжей подкармывать, вот он какой!» Ну, а уж ежели товарищ Сталин, поглядев на такой народ, опять настаивал бы, что я искривления производил и колхозников развенчивал, то тут бы я прямо сказал ему: «Пущай их черт венчает, товарищ Сталин, а я больше не могу через состояние своего раскиданного по фронтам здоровья. Отпустите меня на китайскую границу, там я дюжей партии спонадоблюсь, а Гремячий пущай Андрюшка Размётнов коллективизирует. Он и хребтиной жидковат, кланяться бывшим белым может преотлично, и слезу пущает... Это он тоже может!»

— Ты меня не трожь, а то я тоже могу тронуть...

— А ну, довольно! Хватит на сегодня! — Давыдов встал, подошел к Макару вплотную, с не присущим ему холодком в голосе спросил: — Письмо Сталина, товарищ Нагульнов, это — линия ЦК. Ты, что же, не согласен с письмом?

— Нет.

— А ошибки свои признаешь? Я, например, свои признаю. Против факта не попрешь и выше кое-чего не прыгнешь. Я не только признаю, что мы пересолили, обобществив мелкий скот, телят, но и буду исправлять свои ошибки. Мы чересчур увлеклись процентом коллективизации, хотя в этом и райкомовская вина есть, и слишком мало поработали над фактическим укреплением колхоза. Ты признаешь это, товарищ Нагульнов?

— Признаю.

— Так в чем же дело?

— Статья неправильная.

Давыдов с минуту разглаживал ладонями грязную клеенку на столе, неизвестно для чего подкрутил фитиль умеренно горевшей лампы, видимо, пытался унять волнение и не смог.

— Ты! Дубина, дьявол!.. Тебя за эти разговорчики в другом месте из партии вышибли бы! Ну, факт! Ты с ума свихнулся, что ли? Или ты сейчас же прекратишь этот... свое это... свою оппозицию, или мы на тебя... Факт! Мы терпели достаточно твоих высказываний, а если уж ты ставишь это по-серьезному,— пожалуйста! Мы официально сообщим райкому о твоем выступлении против линии партии!

— Сообщай. Я сам заявлю в райком. За Банника и за все разом отвечу...

Давыдов несколько приутих, вслушавшись в потерянный голос Макара, но со все еще не остывшим озлоблением, пожимая плечами, сказал:

— Знаешь что, Макар? Поди-ка ты проспись, а уж потом мы будем с тобой говорить фактически. А то у нас с тобой получается, как в сказке про белого бычка: «Мы с тобой шли?» — «Шли».— «Тулуп нашли?» — «Нашли».— «Ну, давай по уговору делить тулуп».— «Какой тулуп?» — «Так мы же с тобой шли?» — «Шли...» И так без конца. То ты говоришь, что ошибки свои признаешь, а следом за этим заявляешь, что статья неправильная. Тогда какие же ты ошибки признаешь, если статья, по-твоему, неправильная? Запутался ты, факт! И потом,— с каких это пор у нас секретари ячеек стали приходить на ячейковые собрания в выпитом виде? Что это такое, Нагульнов? Это — партийный проступок! Ты — старый член партии, красный партизан, краснознаменец, и вдруг такое явление... Вот Найденов — комсомолец, что он о твоем образе может подумать? И потом, если до районной контрольной комиссии дойдет, что ты пьянствуешь, да еще в такой ответственный момент, что ты не только середняков запугивал с ружьем в руках, но и не по-большевицки относишься к своим искривлениям и даже выступаешь против линии партии, то это, Нагульнов, получится для тебя печальный факт. Ты не только секретарем ячейки не будешь, но и членом партии, так и знай! Это я тебе фактически говорю.— Давыдов взъерошил волосы, помолчал, чувствуя, что тронул Макара за живое; продолжал: — Дискуссию вокруг статьи нечего устраивать. Партию ты по-своему не свернешь, она не таким, как ты, рога обламывала и заставляла подчиняться. Как ты этого не поймешь!

— Да брось ты с ним воловодиться! Он битый час бузу тер, а слушать было нечего. Нехай идет и спит. Ступай, Макар! Совестно тебе! Глянь на себя в зеркалу — и ужах-

нешься: морда пухлая, глаза как у бешеной собаки, ну, чего ты в таком виде явился? Иди! — Размётнов вскочил, свирепо потряс Макара за плечо, но тот вялым, безжизненным движением снял с плеча его руку, больше ссутулился...

В тягостном молчании Давыдов побарабанил по столу пальцами. Найденов Ванюшка, все время с недоумевающей улыбкой посматривавший на Макара, попросил:

— Товарищ Давыдов, давайте кончать.

- Так вот, товарищи,— оживился Давыдов,— я предлагаю следующее: вернуть колхозникам мелкий скот и коров, но у кого было сдано по две коровы — тех сагитировать, чтобы по одной оставили в колхозном обобществленном стаде. Завтра прямо с утра надо созвать собрание и повести разъяснительную работу. Весь упор надо сделать сейчас на разъяснение! Я боюсь, что начнутся выходы из колхоза, а ведь нам не сегодня-завтра выезжать в поле... Вот где, Макар, покажи-ка свою закалку! Уговори, да без нагана, чтобы из колхоза не выходили, это будет факт! Так что же, будем голосовать? Будем голосовать мое предложение? Кто за? Ты воздерживаешься, Макар? Так и запишем: «при одном воздержавшемся...»

Размётнов предложил с завтрашнего же дня повести борьбу с сусликами. Решили мобилизовать на уничтожение сусликов часть колхозников, из числа тех, которые не будут заняты на полевых работах, прикрепить к ним несколько пар быков для доставки воды и просить заведующего школой учителя Шпыня выйти в поле с учениками, помочь в выловке грызунов.

Все время Давыдов внутренне колебался: прижимать ли Макара? Ставить ли вопрос о нем в порядке привлечения его к партийной ответственности за его выступление против статьи Сталина, за нежелание ликвидировать последствия «левых» ошибок, наделанных в практике создания колхоза? Но к концу собрания, глянув на мертвенно-бледное лицо Макара, потное, со вздувшимися на висках венами, решил: «Нет, не надо! Сам поймет. Пусть-ка он без нажима осознает. Путаник, но ведь страшно свой же! И еще это его болезнь... Припадки. Нет, замнем это дело!»

А Макар до конца собрания просидел молча, внешне ничем не проявляя своего волнения. Давыдов, поглядывая на него, лишь единственный раз заметил, как по рукам Макара, обессиленно кинутым на колени, бугристой волною прошла крупная дрожь...

— Возьми Нагульнова к себе ночевать, проследи, чтобы он не пил,— шепнул Давыдов Размётнову, и тот согласно кивнул головой.

Домой Давыдов возвращался один. Возле база Лукашки Чебакова на поваленном плетне сидели казаки, оттуда доносился оживленный говор. Давыдов шел по противоположной стороне улицы; поравнявшись, слышал, как из темноты кто-то незнакомый уверенно, с улыбкой в басовитом голосе говорил:

— «...сколько ни давай, сколько ни плати,— все им мало!» А другой и говорит: «Зараз проявились у Советской власти два крыла: правая и левая. Когда же она сымется и улетит от нас к ядрене-фене?»

Покатился разноголосый смех и неожиданно быстро смолк.

— Тссс!.. Давыдов! — послышался тревожный шепот.

И тотчас же прежний басовитый голос, уже без малейшего намека на игривость, с притворной деловитостью, врастяжку заговорил:

— Да-а-а... Кабы не было дождей, с посевом скоро управились бы... Земля подсыхает прямо-таки невидя... Ну что же, братцы, на спокой, что ли? Прощевайте покедова!

Кашель. Шаги...

ГЛАВА XXIX

На другой день было подано двадцать три заявления о выходе из колхоза. Вышли преимущественно середняки, вступившие в колхоз в числе последних, на собраниях обычно отмалчивавшиеся, постоянно спорившие с нарядчиками, неохотно выходившие на работу. Это про них Нагульнов говорил: «Да разве ж это колхозники? Это так, ни рыба ни мясо!» Вышли те, которые, по сути, были мертвым балластом в бригадах, которые и колхозниками-то стали то ли из-за опасений, как бы не попасть в немилость у власти, то ли просто увлеченные общим могущественным приливом, тягой в колхоз, начавшейся еще в январе.

Давыдов, принимая заявления, пробовал и этих уговаривать, советовал подумать, повременить, но выходцы уперлись на своем, и Давыдов в конце концов махнул рукой.

— Идите, граждане, но помните: будете обратно проситься в колхоз — мы тогда еще подумаем, принимать вас или нет!

— Навряд мы будем обратно проситься! Надеемся сызнова без колхоза прожить... Да оно, видишь ли, Давыдов, и раньше без колхоза мы как-то жили, с голоду не пухли, свому добру сами были хозяева, чужие дяди нам не указывали, как пахать, как сеять, на попи́хачах ни у кого не были... Так что думаем и зараз без колхоза жить, не скучать! — улыбаясь в закрученные каштановые усы, за всех отвечал вчерашний колхозник Батальщиков Иван.

— Мы-то тоже без вас как-нибудь проживем! Уж плакать и убиваться не будем, факт! Баба с телеги — кобыле легче,— отрезал Давыдов.

— Оно и лучше, когда полюбовно разойдемся. Горшок об горшок и — без обиды врозь. Дозвольте скотинку нашу из бригад забрать?

— Нет, этот вопрос мы будем ставить на правлении. Подождите до завтра.

— Годить нам некогда. Вы колхозом, может, после троицы начнете сеять, а нам надо в поле ехать. До завтра погодим, а уж ежели вы зачнете и завтра нашу ху́до́бу держать, тогда возьмем сами!

В голосе Батальщикова была прямая угроза, и Давыдов слегка покраснел от злости, когда отвечал ему:

— Я посмотрю, как ты сумеешь взять что-либо из колхозной конюшни без ведома правления! Во-первых, не дадим, а во-вторых, если и возьмешь — будешь отвечать по суду.

— За свою скотиняку-то?

— Пока она — колхозная.

С этими бывшими колхозниками Давыдов расстался без малейшего чувства сожаления, но заявление о выходе Демида Молчуна его неприятно поразило. Демид пришел уже перед вечером, сильно пьяный и все такой же неразговорчивый. Не поздоровавшись, сунул клочок газетной бумажки с нацарапанными поперек текста словами: «Выпущайте из колхоза».

Давыдов повертел в руках немногословное молчуновское заявление, с некоторым недоумением, с недовольством в голосе спросил:

— Что же это ты, а?

— Удаляюсь,— зарокотал Молчун.

— Куда? Почему?

— Из колхозу, стало быть.

— Да почему выходишь-то? Куда пойдешь?

Демид промолчал, широко повел рукою.

— На все четыре стороны хочешь пыхнуть? — перевел его жест Размётнов.

— Во-во!

— Так почему ты все-таки выходишь? — допытывался Давыдов, пораженный выходом бедняка — молчаливого активиста.

— Люди выходят... Ну, и я следом.

— А ежели люди с яру головами вниз будут сигать, и ты будешь? — спросил тихо улыбавшийся Размётнов.

— Ну, уж это, брат, едва ли! — Молчун гулко захохотал. Смех его разительно был похож на грохот порожней бочки.

— Ну что же, выходи,— вздохнул Давыдов,— корову свою можешь взять. Тебе как бедняку отдадим без разговора, факт. Отдадим, Размётнов?

— Надо возвернуть,— согласился Размётнов, но Демид снова пространно и раскатисто засмеялся, бухнул:

— А она, корова-то, мне и без надобностев! Колхозу ее дарю. Я в зятья, должно, выйду. Это вам как? На удивленье небось? — и вышел, не попрощавшись.

Давыдов выглянул в окно: Молчун неподвижно стоял около крыльца. Закатное багряное солнце щедротно освещало его медвежковатую спину, могучую бурую шею, до самого воротника заросшую золотистой курчавейшей шерстью. Колхозный двор был залит талой водой. Огромнейшая лужа простиралась от крыльца до амбара. Со сходцев мимо плетня лежала протоптанная по рыхлому снегу, по грязи стежка. Люди, обходя лужу, обычно шли по-над самым плетнем, придерживаясь руками за колышки. Демид стоял в тупой, тяжкой задумчивости. Потом качнулся и вдруг с пьяным безразличием шагнул прямо в воду, побрел к амбару, медлительно и валко покачиваясь.

С интересом наблюдая за ним, Давыдов увидел, как Молчун взял стоявший на приклетке лом, подошел к воротам.

— Это он, чертило, не громить ли нас задумал? — проговорил подошедший к окну Размётнов и засмеялся. Он всегда относился к Молчуну тепло, приязненно, питая непреоборимое уважение к его физическому могуществу.

Молчун приоткрыл ворота и с такой силой ахнул ломом по обледенелому сугробу, что разом отколол огромный кус льда, пуда в три весом. В ворота градом застучали ледяные комочки, и вскоре в проделанное ломом русло молчаливо ринулась со двора вода.

— Ну, этот опять в колхозе будет! — заговорил Размётнов, хватая Давыдова за плечо, указывая на Молчуна.— Приметил непорядок, исправил и пошел. Значит, у него душа в нашем хозяйстве осталася! Верно я говорю?

* * *

После появления в районе газет со статьей Сталина райком прислал гремяченской ячейке обширную директиву, невнятно и невразумительно толковавшую о ликвидации последствий перегибов. По всему чувствовалось, что в районе господствовала полная растерянность, никто из районного начальства в колхозах не показывался, на запросы мест о том, как быть с имуществом выходцев, ни райком партии, ни райполеводсоюз не отвечали. И только после того, как было получено постановление ЦК «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», райком засуетился: в Гремячий Лог посыпались распоряжения о срочном представлении списков раскулаченных, о возвращении колхозникам обобществленного мелкого скота и птицы, о пересмотре списков лишенных избирательных прав. Одновременно с этим было получено официальное извещение, вызывавшее Нагульнова на объединенное заседание бюро райкома партии и районный контрольный комитет к десяти часам утра 28 марта.

ГЛАВА XXX

За неделю в Гремячем Логу вышло из колхоза около ста хозяйств. Особенно сильный отлив был из второй бригады, в которой осталось всего-навсего двадцать девять хозяйств, да и из этого числа несколько человек были «на ваканции к бегству», как говорил бригадир Любишкин.

Хутор потрясали события. Каждый день приносил Давыдову новые неприятности. На его вторичный запрос о том, возвращать ли выходцам тягло и сельскохозяйственный инвентарь сейчас или же после сева, райполе-

водсоюз и райпартком ответили громовым приказом, смысл которого сводился к тому, чтобы гремяченцы всеми силами и средствами предотвратили развал колхоза, удержали от выхода возможно большее число колхозников, а все расчеты с выходцами, а также и возвращение им имущества перенесли на осень.

Вскоре как-то в Гремячий приехал заврайзо, член бюро райкома, Беглых. Он наскоро ознакомился с положением (в этот день ему надо было объехать несколько сельсоветов), сообщил:

— Сейчас скот и инвентарь выходцам ни в коем случае не отдавай. До осени, а там посмотрим.

— На горло ведь люди наступают! — попробовал возразить Давыдов.

Беглых, человек решительный и твердый, только улыбнулся:

— А ты, в свою очередь, наступи. По существу мы, конечно, должны бы возвратить, но есть такая установка окружкома: отдавать только в исключительных случаях, придерживаясь классового принципа.

— То есть?

— Ну, это тебе должно быть понятно и без «то есть»! Бедняку отдать, а середняку пообещать на осень. Понятно?

— А не получится, Беглых, как со стопроцентной коллективизацией? Ведь была в райкоме такая установка: «Гони до ста во что бы то ни стало, и как можно скорее». И вышло головокружение... Не отдать скот середняку — это значит фактически прижать его, а? На чем он пахать, сеять будет?

— Это не твоя старость-печаль. Ты не о единоличнике думай, а о своем колхозе. Вот ты на чем будешь работать, если отдашь скот? И потом это не наша установка, а окружкома, и мы как солдаты революции обязаны ей беспрекословно подчиниться. Так вот, как же ты думаешь выполнять план, если у тебя пятьдесят процентов скота перейдет к единоличнику? Никаких разговоров и дискуссий! Скот держи зубами и руками. Не выполнишь посевной план — голову оторвем!

Уже садясь в тачанку, вскользь кинул:

— В общем и целом тя-же-ле-хонь-ко! За перегибы придется, братишечка, расплачиваться, принести кое-кого в жертву... Таков уж порядок. Наш районный народ зверски настроен против Нагульнова. Что это он тут вытворял? Бил какого-то середняка, арестовывал, грозил нага-

ном. Мне говорил Самохин. Он имеет на него целое дело. Да-а, оказался Нагульнов «леваком» большого масштаба. А сейчас, знаешь, какая установка! Карать вплоть до исключения из партии! Ну, будь здоров. Скот, скот береги!

Беглых укатил в Войсковой. Не успел еще ветер высушить проследков от колес его тачанки, как прибежал взволнованный Агафон Дубцов, бригадир третьей:

— Товарищ Давыдов! Быков и коней у меня забрали, энти, какие повыписались. Силком взяли!

— Как это так взяли?! — крикнул, побагровев, Давыдов.

— Очень просто взяли! Воловника заперли на сеновале, а быков поотвязали и погнали в степь. Восемнадцать пар быков и семь штук лошадей. Что будем делать?

— А ты?! А ты что же, раззява?! Где ты был? Почему позволил? Где тебя черт... Ну!

У Агафона по изрубленному оспою лицу пошли бледные матежины [1], он тоже повысил голос:

— Я на конюшне или в воловне ночевать вам не обязан! Нечего на меня шуметь. А коли вы уж дюже чересчур храбрый — подите верните быков! Может, кольев вам в загорбок навстромляют!

Только перед вечером быков отбили в степи, на выпасе, куда хозяева отправили их под усиленной охраной. Любишкин, Агафон Дубцов, с ними шестеро колхозников третьей бригады посадились на лошадей, поскакали в степь. Завидя на противоположном скате балки пасшихся быков, Любишкин разделил свой немногочисленный отряд надвое:

— Агафон, бери троих и шибкой рысью через балку заходи с правого фланга, а я обойду их слева.— Любишкин разгладил вороные усы, скомандовал: — Дай повод! Рысью за мной — арррш!

Дело не обошлось без драки: двоюродный брат Любишкина, Захар Любишкин, стерегший вместе с тремя другими выходцами быков, изловчился ухватить подскакавшего к быкам Мишку Игнатенка за ногу, стянул с лошади и, в короткий срок жестоко извозив его по земле, во многих местах наставил синяков и начисто спустил с плеч рубаху. Пока подскакавший Павло Любишкин, не слезая с лошади, порол брата толстенным и длинным арап-

[1] Матежины — пятна.

ником, остальные оттеснили пастухов, захватили быков, на рысях погнали к хутору.

Давыдов распорядился на ночь запереть на замки воловни и конюшни, выставить пикеты из колхозников.

Но, несмотря на все принятые меры по охране скота, в течение двух дней выходцы сумели угнать семь пар быков и трех лошадей. Скот угнали в степь, к дальним логам, а чтобы отсутствие взрослых не бросалось в глаза, пастухами послали подростков.

С утра до ночи в правлении колхоза и в сельсовете кучился народ. Уже вставала во весь рост угроза захвата выходцами колхозных земель.

— Либо зараз же нарезайте нам землю, либо начнем свои старые наделы пахать! — приступали к Давыдову выходцы.

— Землю вам выделим, не волнуйтесь, граждане единоличники! Завтра начнем нарезать. Обращайтесь к Островнову, он этим делом будет заправлять, фактически вам говорю, — успокаивал Давыдов.

— А где нам отведете землицу? И какую?

— Где будет свободная.

— Может, она свободная-то будет в конце хуторского надела, тогда как?

— Ты, товарищ Давыдов, не дуракуй! Ближние земли все колхозу отошли, — выходит, что нам будет земля в далях? Скотину не даете, мы, может, на себе, на коровенках будем сеять, и нам же дальняя земля подлежит? Эх, вот она, какая власть справедливая!

Давыдов уговаривал, объяснял, что он не может наделять землей там, кому где захотелось, так как не может дробить колхозный массив, резать его на клинья и нарушать проведенное осенью землеустройство. Выходцы, пошумев, уходили, а через несколько минут вваливалась новая толпа, и — с порога:

— Земли давайте! Да что ж это такое? Какое вы имеете право держать нашу землю? Ить вы же нам сеять не даете! А товарищ Сталин как про нас писал? Мы ему тоже могем описать, что не токмо скотину не дают, но и земли, всех правов-состояния полишили. Он вас тоже за это дело не похвалит!

— Яков Лукич, отводи им завтра с утра землю за Рачьим прудом.

— Это целину? — орали выходцы.

— Залежь, какая ж это целина? Ее пахали, по давешь лет пятнадцать назад, — объяснял Яков Лукич.

И сразу поднимался кипучий, бурный крик:

— Не желаем крепь!

— Чем мы ее будем пахать?

— Давайте мягкой земли!..

— Скотину отдайте, тогда будем крепкую обрабатывать!

— Ходатаев отправим в самую Москву, к Сталину!

— Что же вы нас жизни решаете?

Бабы свирепствовали. Их охотно и дружно поддерживали казаки. Требовалось много усилий, чтобы унять шум. Давыдов обычно под конец терял выдержку, кричал:

— А вы хочете, чтобы вам лучшую землю отдали? Не будет этого, факт! Советская власть все преимущества оказывает колхозам, а не тому, кто идет против колхоза. Катитесь отсюда к чертовой матери!..

Кое-где единоличники уже начали было пахать и дорабатывать земли, некогда принадлежавшие им, а потом отошедшие в колхозный массив. Любишкин согнал их с колхозного поля, а Яков Лукич отправился с деревянным сажнем в степь и за Рачьим прудом в два дня отвел единоличные наделы.

Бригада Демки Ушакова 25-го выехала пахать серопески. Давыдов выделил наиболее работоспособных колхозников в распоряжение полеводов, расставил силы. Большинство стариков охотой пошли в бригады садильщиками, плугатарями, бороновальщиками. Вручную сева решили не проводить. Даже ветхий старик — бывший «курощуп» Аким Бесхлебнов — изъявил желание идти работать садильщиком. Щукаря Давыдов назначил конюхом при правлении колхоза. Все было готово. Сев задержали обложные дожди, в течение двух суток щедро мочившие гремяченские бугры, зябь, задернутую по утрам белесым пологом пара.

Выходы из колхоза прекратились. Осталось надежное, крепкое ядро. Последней в Гремячем Логу вышла из колхоза милушка Андрея Размётнова — Марина Пояркова. Что-то не клеилась у них совместная жизнь. Марина потянулась к богу, стала богомольной, говела весь великий пост, на третьей неделе ходила каждодневно молиться в тубянскую церковь, исповедалась и причастилась. Она смиренно и молчаливо встречала упреки Андрея, на его ругню не отвечала, все больше помалкивала, не хотела «осквернять причастие». Андрей, придя как-то поздно ночью, увидел, что в горенке горит лампадка. Недолго думая, он прошел в горницу, снял лампадку, вылил деревянное масло на

ладонь и тщательно смазал им свои задубевшие сапоги, а лампадку разбил о каблук.

— Ить сказано было дуракам неоднократно, что все это есть опиум и затмение мозгов. Так нет же! Всё молются деревяшкам, масло жгут, воск на свечки переводят... Эх, кнут по тебе, Маришка, плачет! Неспроста ты что-то в церкву зачала ударяться...

Оказалось, что на самом деле неспроста: Марина 26-го подала заявление о выходе из колхоза, ссылаясь на то, что быть в колхозе — «идти против бога».

— А с Андрюшкой спать на одной кровати — это не супротив бога? Или это — сладкий грех? — улыбаясь, спросил Любишкин.

Марина на этот раз смолчала, видимо ничуть не подозревая, что через несколько минут вихрем схватится ее смиренность, что своими устами «осквернит» она «святое причастие».

Из сельсовета прибежал бледный и злой Андрей. Рукавом вытирая пот со шрамистого лба, он просил при Давыдове и Якове Лукиче:

— Мариша! Родимушка! Не губи ты меня, не страми! Ну, зачем ты удаляешься от колхоза? Я ли тебя, чертяку, не жалел, не любил? Корову тебе возвернули... Ишо чего надо? И как я с тобой могу после этого любовь напополам разделять, ежели ты стремишься в единоличную жизню? Птицу, курей твоих обратно отдали, кочет голошеий... и опять же голландский гусак, о каком ты дорогие слезки лила, обратно у тебя на базу проживают... Какого же тебе клёпа надо? Бери назад заявление!

— Нет и нет! — гневно сузив косо поставленные глаза, кричала Марина.— Не хочу, хучь и не проси! Не хочу быть в колхозе! Не хочу в вашем грехе быть! Отдайте назад мою повозку и запашник с бороной.

— Марина, опамятуйся! Иначе, выходит дело, брошу я тебя.

— И черт с тобой, чертяка белесый! Потаскун, кобелина проклятый! Моргаешь, разнечистый ду-уух? Вылупил свои бешеные гляделки? А кто с Малашкой Игнатенковой вчера на проулке ночью стоял? Не ты? Ах ты, враженяка, ссссукин ты сын! И бросай, без тебя проживу! Ты уж давно намеряешься, я вижу!

— Мариша, ягодка моя, да с чего ты это берешь? С какой Малашкой? Сроду я с ней не стоял! И при чем тут колхоз? — Андрей взялся руками за голову, притих, как видно, исчерпав все доводы...

— Да не кланяйся ты ей, подлюке! — вступился возмутившийся Любишкин.— Не проси ты ее, гордость свою пожалей! Ты ить — красный партизан, чего ты ее просишь, в зубы ей заглядаешь? По морде ее! Выбей ей бубну — сразу посмирнеет!

Марина, осыпанная пятнами густого вишневого румянца, прыгнула, как от укола, и, наступая на Любишкина могучей грудью, шевеля разгонистыми плечами, начала по-мужски, по-бойцовски подсучивать рукава.

— Ты чего влипаешь в чужие дела, гадючий выползень? Ах ты недоделок цыганский, идол черный, страшный! Я тебе скорее морду поковыряю! Я не побоюсь, что ты бригадир! Таковских-то я видала да через себя кидала!

— Я б тебя кинул! Я бы из тебя жиру поспустил...— отодвигаясь в угол, угрюмо басил Любишкин, приготовившийся ко всяким неприятным неожиданностям.

Он чудесно помнил, как однажды на мельнице в Тубянском Марина взялась бороться с одним здоровым на вид казаком, задонцем, и, к вящему удовольствию присутствовавших, повалила его, да еще и окончательно прибила, прямо-таки изничтожила острым словом. «Сверху бабы тебе делать нечего, дядя! — переводя дух, сказала тогда она.— С твоей силенкой да с ухваткой только под исподом и лежать, посапливать». И пошла к весовой, поправляя на ходу волосы, сбившийся во время борьбы платок. Любишкин помнил, каким багрянцем полыхали щеки поваленного Мариной казака, когда он поднимался на ноги, измазанный просыпанной на земле мукой и навозом,— а потому выставил вперед согнутую в локте левую руку, предупредил:

— Ты не наскакивай, ей-богу, я из тебя пороховню выбью! Удались отсюда!

— А вот этого ты не нюхал?..— Марина на секунду высоко подняла подол, махнула им перед носом Любишкина, сверкнула матовой округлостью розоватых колен и сливочной желтизной своего мощного и плотного, как сбитень, тела.

Она дошла до предела в своей ключом вскипевшей ярости. Даже видавший виды Любишкин, ослепленный мощью и белизной Марининого тела, попятился, пораженно бормоча:

— Осатанела! Тю, чертяка! Прямо жеребец, а не баба! Отступись, будь ты трижды проклята!..— и боком, боком, проскользнул мимо лютовавшей в выкриках Марины, вышел в сенцы, отплевываясь и ругаясь.

Давыдов хохотал до упаду, уронив голову на стол, зажмурив глаза. Размётнов выбежал вслед за Любишкиным, оглушительно хлопнул дверью, один Яков Лукич попробовал было урезонить расходившуюся вахмистершу:

— Ну, чего ты орешь? Эка бессовестная баба! Мысленное дело — подол подымать? Ты хучь меня, старика, посовестилась бы!

— Цыц! — прикрикнула на него Марина, направляясь к двери.— Знаю этого старика! Прошлым летом на троицу, когда сено возили, ты чего мне предлагал? Замстило? Туда же! Куда конь с копытой...

По двору она понеслась подобно буревой туче. Яков Лукич провожал ее взглядом, смущенно покашливая, укоризненно качая головой...

А полчаса спустя он был свидетелем тому, как Марина, сама впрягшись в оглобли своей повозки, легко везла борону и запашник со двора первой бригады. По случаю дождя приехавший с поля Демка Ушаков шел за нею поодаль и, вероятно не рискуя приближаться на более короткую и опасную дистанцию, просил:

— Марина! Эй ты, гражданка Пояркова! Слышишь? Марина Терентьевна! Не могу же я отдать тебе имущество, раз оно у меня по описи числится!

— Небось сможешь!

— Пойми, дурья голова, что это — обобществленный инвентарь! Вези, пожалуйста, назад, не дури. Ты человек или кто ты есть такой? Что же это ты грабежом берешь? Под суд за такую подлость пойдешь! Без записки Давыдова ничего не могу отдать.

— Небось сможешь! — коротко отвечала Марина.

Демкины глаза растерянно косили, руки просительно прижимались к груди, а Марина — вся в поту и в жарком румянце — неумолимо влекла повозенку, и жалобно вызванивала привалившаяся к грядушке борона...

«Надо было отобрать у ней повозку, чтобы знала, как языком трепать. Да как отберешь-то? С ней только свяжись, а тогда и свету белому не обрадуешься!» — подумал Яков Лукич, предусмотрительно сворачивая в проулок.

* * *

Размётнов на другой день забрал от Марины свои вещи, ружье, патронташ, бумаги; отнес домой. Он жестоко мучился разрывом с Мариной, страдал и избегал одиночества.

С этой целью пошел к Нагульнову поговорить, «разогнать тоску».

В Гремячий Лог сходила ночь. Омытый дождями молодой месяц светлой прорезью покоился на западной окраине неба. Черная мартовская тишина, нарушаемая умолкающим шепотом взломных ручьев, полонила хутор. С чавканьем вытаскивал ноги Андрей из закрутевшей к ночи грязи, шел тихо, думал о своем. В сыром воздухе уже чувствовались волнующие запахи весны: горьковатой пресниной дышала земля, прелым душком встречали гумна, винно-терпким ароматом полнились сады, и резко, хмельно, молодо пахла выметавшаяся возле плетней свежая поросль травы.

Андрей жадно вдыхал разнородные запахи ночи, смотрел, как под ногами в лужах дробятся и рассыпаются искрами отраженные водою звезды, думал о Марине и чувствовал, что на глазах его закипают горчайшие слезы тоски и обиды.

ГЛАВА XXXI

Дед Щукарь с восторгом принял назначение его в постоянные кучера при правлении колхоза. Поручая ему двух бывших кулацких жеребцов, оставленных при правлении для служебных разъездов, Яков Лукич говорил:

— Блюди их, как порох в глазу! Чтоб они у тебя были в теле, гляди — шибко не ездий, не перегони. Вот этот серый Титков жеребец — племенной, да и рыжий хороших донских кровей. Езда у нас не дюже большая, скоро будем их к маткам припущать. Ты за них — ответчик!

— Скажи на милость! — отвечал дед Щукарь.— Да разве ж я с коньми не знаю, как обойтись? Уж я-то их перевидал на своем веку. Волос на иной голове столько нету, сколько их через мои руки перешло.

А на самом деле за всю Щукареву жизнь «перешло через его руки» всего-навсего две лошаденки. Причем одну из них он променял на корову, а со второй произошла следующая история. Лет двадцать назад Щукарь, будучи сильно навеселе и возвращаясь из хутора Войскового, купил ее у проезжих цыган за тридцать целковых. Кобылка, когда при покупке он осматривал ее, на вид была кругла, масти мышастой, вислоуха, с бельмом на глазу, но очень расторопна. Дед Щукарь торговался с цыганом до

полудня. Раз сорок били они по рукам, расходились, опять сходились.

— Золото, а не кобылка! Скачет так, что — закрой глаза, и земли не видно будет. Мысля! Птица! — уверял и божился цыган, брызжа слюной, хватая сомлевшего от устали Щукаря за полу куртки.

— Кутних зубов [1] почти не осталось, на глаз кривая, копыта все порепанные, вислопузая... Какое уж там золото, горючие слезы, а не золото! — корил дед Щукарь лошадь, страстно желая, чтобы цыган сбавил последний рубль, из-за которого и расходились они в цене.

— Да на что тебе ее зубы? Меньше корму сожрет. А кобылка молодая, разрази бог. Дитё, а не кобылка, зубов же лишилась от нечаянной болезни. И при чем ее бельмо тебе? Да это и не бельмо, раковинка! И копыта срастутся, почистятся... Кобылка сива, не очень красива, да ведь тебе же с ней не спать, а на ней пахать, верно говорю! Ты приглядись, отчего она пузатая — от силы! Бежит — земля дрожит, упадет — три дня лежит... Эх, папаша! Ты, видно, за тридцать монет рысака хочешь купить? Живого не купишь, а сдохнет — тебе и даром махан отдадут...

Спасибо, цыган оказался человеком доброй души: поторговавшись, он сбавил и последний рубль, из полы в полу передал Щукарю повод недоуздка, даже притворно всхлипнул, вытирая рукавом ярко-синего длиннополого сюртука коричневый лоб.

Кобылка утратила недавнюю живость, едва лишь повод перешел в руки Щукаря. Она пошла за ним, нехотя повинуясь его чрезвычайным усилиям, трудно переставляя клешнятые ноги. Только тут цыган засмеялся: оголив сплошные и белые, как мел, зубы, крикнул вслед Щукарю:

— Эй, папаша! Донской казак! Помни мою доброту! Эта лошадка мне сорок лет служила и тебе еще столько же прослужит, только корми ее раз в неделю, а то сбесится!.. Мой отец на ней из Румынии приехал, а ему она досталась от французов, когда они из Москвы бежали. Дорогая лошадь!

Он еще что-то кричал вслед Щукарю, влачившему за собой покупку; около шатра и между ног цыгана, шумливые и черные, как галки, орали цыганята; взвизгивали и хохотали цыганки. А дед Щукарь шел, ни на что не обра-

---

[1] Кутний зуб — последний коренной зуб.

щая внимания, добродушно думал: «Сам вижу, какого живота купил. Кабы деньги были, я бы не такую отхватил. А цыган — шутливый человек, веселый, как я... Ну вот и лошадка есть. В воскресенье с бабой на базар в станицу примчимся».

Но не успел он добраться до Тубянского, как с лошадью стали вершиться чудеса... Случайно оглянувшись, Щукарь оторопел: за ним шла не купленная им пузатая и сытая кобылка, а худющая кляча с подтянутым брюхом и глубокими яминами возле кострецов. За каких-нибудь полчаса она похудела наполовину. Сотворив крестное знамение и шепча: «Свят, свят, свят!», Щукарь выронил из рук повод, остановился, чувствуя, как хмель с него словно рукой снимает. Только обойдя вокруг кобылки, он обнаружил причину столь невероятного по быстроте исхудания: из-под мочалистого кобыльего хвоста, откинутого черт знает как бессовестно — на сторону и вверх,— со свистом, с шипеньем вырывались спертый воздух и жидкие брызги помета. «Ну, вот это — да!» — ахнул Щукарь, схватившись за голову. А потом с удесятеренной силой повлек кобылку, уцепившись за недоуздок. Вулканическое извержение ее желудка не прекращалось до самого Тубянского, по дороге оставались позорные следы. Может быть, Щукарь и добрался бы до Гремячего Лога благополучно, если б вел лошадь в поводу, но он, едва лишь поравнялся с первым двором хутора Тубянского, в котором жил его кум и было много знакомых казаков, решил сесть верхом на купленную лошадь и хоть шагом, но ехать, а не тянуть ее в поводу. В нем внезапно проснулись небывалая гордость и обычно всегда свойственное ему желание прихвастнуть, показать, что и он, Щукарь, теперь выбился из бедноты и едет хоть на плохой, но зато на собственной лошади. «Тррр, проклятая! Все играла бы ты!» — свирепо вскричал Щукарь, краем глаза видя, что из хаты, против которой он остановился, выходит знакомый казак. И с этими словами он дернул недоуздок, приосанился. Лошадь его, игравшая и взбрыкивавшая, вероятно, еще в своем далеком детстве, на самом деле вовсе и не думала играть. Она остановилась, понуро опустив голову, поджав задние ноги. «Мимо кума надо бы проехать. Пущай поглядит!» — подумал Щукарь и с тем, подпрыгнув, навалился брюхом на острую кобаржину лошадиной спины. Тут-то и случилось с ним то, о чем впоследствии долго говорили казаки в Тубянском: именно на этом месте и претерпел Щукарь неслыханное позорище, предание о котором сохранилось до наших дней и уж на-

верное перейдет к следующему потомству... Едва лишь Щукаревы ноги оттолкнулись от земли, а сам он повис на кобыле, лежа поперек ее спины и пытаясь усесться верхом, как кобыла закачалась, в нутре ее что-то заурчало, и она, как стояла, так и рухнула на дорогу, откинув хвост. Щукарь, вытянув руки, перелетел через дорогу, распластался на запыленном придорожнике. Вгорячах он вскочил и, усмотрев, что казак видел его срам, поправил дело криком: «Все бы ты взбррррыкивала! Шо-о-орт!» — орал он, пиная лошадь ногами. Та встала и, как ни в чем не бывало, потянулась мордой к увядшему придорожнику.

Казак, наблюдавший за Щукарем, был большой шутник и весельчак, он перепрыгнул через плетень, подошел к Щукарю. «Доброго здоровья, Щукарь! Никак, лошадку купил?» — «Купил, да вот трошки кубыть промахнулся, норовистая, чертяка, попалась: ты на нее садиться, а она — хлоп и наземь. Видать, под верхом ишо не ходила, необъезженная». Казак, сощурив глаза, обошел вокруг кобылки раза два, мимоходом заглянул ей в зубы, совершенно серьезно сказал: «Ну, конечно она — не́ука! А лошадь, видать, благородных кровей. По зубам ей годов пятьдесят, никак не меньше, а вот через то, что она благородная, и совладать с ней никто не мог». Щукарь, видя сочувственное к нему отношение, осмелился спросить: «А скажи, Игнатий Порфирич, через чего это она так уж дюже скоро похудела? Я ее веду, а она прямо на глазах тает; дух чижолый из нее рвется и помет выскакивает, как из пропасти. Всю дорогу прислéдила!» — «А ты ее где купил? Не у цыганов?» — «У них, зараз за вашим хутором табором стояли».— «Ну, так она через то стала худая,— пояснил казак, знающий и в лошадях и в цыганах,— что они ее перед тем, как продать тебе, надули. Какая лошадка от старости превзойдет в тощесть, ей перед продажей встромляют в задний проход продырявленную камышину и дуют по очереди всем кагалом до тех пор, покеда бока ей разнесет и станет она видом круглая и пузатая. А потом, как надуют ее наподобие бычиного пузыря,— зараз же камышину выдернут и на место ее встромляют обмазанную смолой тряпку, либо кусок початки, чтоб дух не выходил. Вот и ты такую надутую купил. Затычка-то, должно, дорогой выпала, и начала кобылка твоя худеть... Ты вернись, поищи затычку-то... Мы заново в момент надуем...» — «Черти бы их дули!..» — в отчаянии вскричал Щукарь и кинулся к цыганскому табору, но, выскочив на пригорок, обнаружил, что ни шатров, ни кибиток возле речки уже нет. Там, где был стан, полз синий

дымок непотухшего костра, а вдали по летнему шляху вилась и таяла на ветру седая пыль. Цыгане исчезли, как в сказке. Заплакал Щукарь, вернулся. Любезный Игнат Порфирьевич опять вышел из хаты. «Я под нее подляжу, чтобы она сызнова не упала... от лихости, а ты садись»,— предложил он. Мокрый от стыда, горя и пота, Щукарь принял его услугу, кое-как сел. Но его бедствиям еще не суждено было кончиться: кобыла на этот раз не упала, зато у нее оказался совершенно невероятный скок. Она, как в галопе, выбрасывала вперед передние ноги, а задними взбрыкивала, поднимая их выше спины. Таким манером пронесла она Щукаря до первого проулка. За время этого бешеного скока у него свалилась с головы шапка и раза четыре от страшных сотрясений внутри что-то ёкало и словно обрывалось. «Бож-же мой! немысленно так ехать!..» — решил Щукарь, спешиваясь на скаку. Он вернулся за шапкой, но, видя, что по проулку спешит к нему народ, сам поспешил назад, вывел злосчастную, проявившую столь неожиданную прыть кобылу за хутор. До ветряка ему сопутствовали ребятишки, потом отстали. А Щукарь уже не осмелился снова сесть на цыганскую «мыслю», он далеко околесил хутор по бугру, но на бугре уморился тянуть за недоуздок и решил гнать кобылу впереди себя. И тут-то оказалось, что с таким трудом купленная им лошадь слепа на оба глаза. Она шла, направляясь прямо на ярки и канавки, и не перепрыгивала их, а падала, потом, опираясь на дрожащие передние ноги, вставала, трудно вздыхая, снова шла, причем и шла-то не обычно, а все время описывая круги... Щукарь, потрясенный новым открытием, предоставил ей полную свободу и увидел: кобылка его, завершив круг, начинала новый — и так безостановочно, по невидимой спирали. Тут уж Щукарь без посторонней помощи догадался, что купленная им лошадь всю свою долгую и трудную жизнь проходила в чигире, ослепнув там и состарившись.

До сумерек он пас кобылу на бугре, стыдясь днем являться в хутор, и только ночью пригнал он ее домой. Как его встретила жена, баба дородная и лютая на расправу, что претерпел щупленький Щукарь за свою неудачную покупку,— «покрыто неизвестным мраком», как говорил друживший в ту пору с Щукарем сапожник Локатеев. Известно лишь то, что кобыла вскоре заболела чесоткой, облезла и в таком неприглядном виде тихо почила на базу однажды в полночь. А кожу Щукарь с дружком Локатеевым пропили.

Уверяя Якова Лукича, что он, дед Щукарь, немало перевидал на своем веку лошадей, заведомо знал дед Щукарь, что Яков Лукич ему не может поверить, так как вся Щукарева жизнь прошла на глазах Якова Лукича. Но уж такой был дед Щукарь от природы: не мог не прихвастнуть и не соврать. Неподвластная сила заставляла его говорить такое, от чего он через несколько минут с удовольствием бы отрекся...

Словом, стал дед Щукарь кучером и конюхом одновременно. И надо сказать, что несложные обязанности свои выполнял он неплохо. Единственно, чем не нравился он Нагульному, любившему быструю езду, это частыми остановками. Не успеет выехать из двора и уже натягивает вожжи: «Тпрууу, милые!» — «Чего стал?» — спросит Нагульнов. «По лошадиной надобности»,— ответит дед Щукарь и до тех пор позывно посвистывает, пока Нагульнов не выдернет у него из-под сиденья кнут и не потянет жеребца по спине.

«Ноне не царские времена, чтобы кучер на облучке, а седок сзади на мягкой подушке выкачивался. Ноне я вот кучер, а с товарищем Давыдовым рядом сижу на дрожках. Иной раз захочу покурить и прошу его: «А ну, подержи вожжи, я цигарку заделаю».— «С нашим удовольствием,— говорит. Берет вожжи и иной раз час правит, а я сижу важно и на природу интересуюсь»,— хвалился дед Щукарь казакам. Он стал важен с виду и даже менее разговорчив. Спать, несмотря на весенние заморозки, перешел было в конюшню, поближе к жеребцам, но старуха через неделю водворила его домой, жестоко избив и изругав всенародно за то, что будто бы ходили к деду Щукарю по ночам молодые бабы. Над старухой подшутили парни, возведя на деда этот гнусный поклеп, но перечить он ей не стал, перешел домой и раза два за ночь ходил проведывать жеребцов, конвоируемый своей ревнивой супругой.

Запрягать он научился столь быстро, что соперничал в быстроте с гремяченской пожарной командой, и, выводя запрягать, усмиряя застоявшихся игогокавших жеребцов, неизменно зычно покрикивал: «Но-но-о-о! Заиржал, шорт!.. Он и этот не кобыла, а такой же цветок, как ты!» А кончая запряжку и садясь на дроги, самодовольно говорил: «Ну, вот съездим, и палочку [1] заработаю. Жизня эта мне, братцы, начала дюже нравиться!»

---

[1] В 1930 году трудовой день отмечался обычно «палочкой» в записях бригадира.

* * *

Двадцать седьмого Давыдов решил съездить на поле первой бригады, чтобы проверить, действительно ли бригада — вопреки его указаниям — боронует вдоль борозды. Об этом сообщил ему кузнец Ипполит Шалый, который ездил в поле чинить садилку и видел, как бороны шли не поперек борозды, а вдоль. Он тотчас по возвращении в хутор явился в правление; пожимая руку Давыдова, сурово сказал:

— Первая бригада вдоль борозды бороны гоняет. Такая волочба ни к черту не годится. Езжай-ка сам туда да прикажи им делать как следует. Я им указал на это, а Ушаков — раскосый черт — говорит: «Твое дело по ковадлу стукать да мех дуть, сюда не суй носяку, а то мы его зараз плугом оттяпаем!» Я ему на это отвечаю: «Допрежь, чем ехать мех дуть, я бы тебя, косого, вздул!» Ну и за малым не подрались.

Давыдов послал деда Щукаря:

— Запрягай!

Не вытерпел, сам выскочил помочь поскорее запрячь. Выехали. Пасмурный день и влажный ветерок с юго-запада сулили дождь. Первая бригада работала на самом дальнем участке серопесчаной земли. От хутора был он километрах в десяти за перевалом, возле Лютого пруда. Бригада пахала, готовя землю для сева колосовых, пахоту крайне необходимо было тщательно проборонить, чтобы дождевая влага задержалась на ровно разработанном участке, а не сошла по бороздам в низину.

— Торопи, торопи, дед! — просил Давыдов, поглядывая на густую гряду кучевых облаков.

— И то тороплю. Вон с Серого уж мыло наружу просится.

На бугре, неподалеку от летней дороги, цепью шли школьники, предводительствуемые своим старым учителем Шпынем. За ними двигались четыре подводы, везшие бочки с водой.

— Мелкота на сусликов вышла.— Щукарь указал кнутом.

Давыдов смотрел на ребят со сдержанной улыбкой. Когда дрожки поравнялись с ребятами, он попросил Щукаря: «Останови»,— и, прицелившись взглядом, выбрал парнишку лет семи, босого, белоголового:

— Подойди-ка сюда.

— А чего идтить-то? — независимо спросил тот, сдвигая на затылок отцовскую фуражку с красным околышем, с выцветшим следом кокарды над козырьком.

— Сколько сусликов ты убил?

— Четырнадцать.

— Ты чей мальчик?

— Федот Демидыч Ушаков.

— Ну, садись со мной, Федот Демидыч, прокачу. И ты садись.— Давыдов указал пальцем на покрытую платком девочку. Усадив малышей, приказал: — Трогай! — И к мальчику: — Ты в какой группе?

— В первой.

— В первой? Так надо сопли выбивать, факт.

— Их не выбьешь. Я простуженный.

— Ну, как это не выбьешь? Давай сюда нос! — Давыдов тщательно вытер пальцы о штаны, вздохнул.— Как-нибудь зайди в правление колхоза, я тебе конфету дам, шоколадную. Едал ты когда-нибудь шоколад?

— Не-е-ет...

— Вот приходи в правление, в гости ко мне, угощу.

— А я в ней, в конфетке-то, и не нуждаюсь!

— Вот как! Это почему же, Федот Демидыч?

— Зубы у меня крошатся, а нижние выпали, вот погляди-ка! — Парнишка открыл румяный рот: двух нижних зубов действительно не было.

— Так ты, Федотка Демидыч, выходит дело, щербатый?

— Ты сам щербатый!

— Гм... Ишь ты... Доглядел!

— У меня-то вырастут, а у тебя, небось, нет? Ага!..

— Ну, это шалишь, брат! И у меня вырастут, факт.

— Ловко брешешь! У больших они не вырастают. А я и верхними могу укусить, ей-богу!

— Куда уж тебе там!

— Дай-кося палец! Не веришь?

Давыдов, улыбаясь, протянул указательный палец и, охнув, отдернул его: на верхнем суставе вылегли синие пятнышки укуса.

— Ну, теперь, Федотка, давай я твой палец укушу,— предложил он, но Федотка, помедлив, вдруг прыгнул на ходу с дрожек, как большой серый кузнечик; чикиляя на одной ноге, прокричал:

— Любил ба ты кусаться! Нет, зараз не укусишь!..

Давыдов захохотал, ссадил девочку с дрожек и еще долго оглядывался на красневший над дорогой околыш Федоткиной фуражки; улыбался, ощущая редкостную теплоту на сердце и влагу на глазах. «Хорошую жизнь им построим, факт! Бегает сейчас Федотка в отцовском картузе казачьего фасона, а лет через двадцать будет электроплугом наворачивать вот эту землю... Ему-то уж, наверно, не придется так, как мне пришлось после смерти матери: и белье сестренкам стирать, и штопать, и обед готовить, и на завод бегать... Счастливые будут Федотки, факт!» — думал Давыдов, обводя глазами бескрайнюю, нежно зазеленевшую степь. На минуту он прислушался к певучим высвистам жаворонков, посмотрел, как вдали, согбенный над плугом, ходит плугатарь, а рядом с быками, спотыкаясь, идет по борозде погоныч,— и вздохнул полной грудью: «Машина будет все тяжелое работать за человека... Тогдашние люди позабудут, наверное, запах пота... Дожить бы, черт его подери!.. Хоть посмотреть бы! А то издохнешь, и никакой Федотка о тебе не вспомнит. А издохнешь ты, братишечка Давыдов, как пить дать! И вместо потомства от тебя останется гремяченский колхоз. Из колхоза станет коммуна и — смотри еще — назовут ее впоследствии имени путиловского слесарька Семки Давыдова...» — Давыдов улыбнулся шутливому обороту своих мыслей, спросил у Щукаря:

— Скоро доедем?

— Через два огляда на третий.

— Сколько, папаша, у вас тут земли без пользы гибнет — один фактический ужас! Через две пятилетки мы уж тут заводов настроим. Все — принадлежащее нам, все в наших руках, факт! Надуйся да проживи-ка еще лет десять, и вместо вожжей возьмешь в руки руль машины. Будешь газовать — спасу нет!

Дед Щукарь вздохнул:

— Поздновато трошки! Кабы лет сорок назад меня рабочим исделать, я бы, может, другим человеком был... Мне в крестьянской бытности не было удачи. С мальства моя жизнь пошла наперекосяк, да и так до последних времен. Меня кубыть ветром несло всю жизнь, и то скособочит, то вдарит об какой предмет, а то и вовсе к ядрене матери ушибет...

— Почему же это? — поинтересовался Давыдов.

— Зараз расскажу все до нитки. Жеребцы нехай бегут трюпком, а я пожалуюсь тебе. Хучь ты и пасмурный человек, а должон понять и восчувствие поиметь... Со мной до сколь-

ких разов сурьезные случаи происходили. Перво-наперво: родился я, и бабка-повитуха моей покойной мамаше доразу сказала: «Твой сын, как в лета войдет, генералом будет. Всеми статьями шибается на генерала: и лобик у него, мол, узенький, и головка тыквой, и пузцо сытенькое, и голосок басовитый. Радуйся, Матрена!» А через две недели пошло навыворот супротив бабкиных слов... Родился я на «Евдокию», но в этот день не то что курочке негде было напиться, но даже, говорила мамаша, воробьи на лету замерзали к ядреной матери! Понесли меня крестить в Тубянской. Ну, сам подумай: мысленное дело дитя в купелю окунать по такому холоду? Зачали воду греть, дьячок с попом были пьяные, как сукины дети. Один налил в купелю вару, а другой не попробовал и — «Господи-сусе, крещается раб божий» — да как ширнет меня в кипяток, с головой затопил... Так на мне шкурка и полезла! Принесли домой, а я — весь в волдырях. Ну, конечно, через это и грызь в пупке нажил, от боли кричал дюже, надувался через силу. С этой поры и пошло мне, как больному, на́ лихо! А все через то, что в хлеборобской бытности произведенный я на свет. До девяти годов меня и собаки рвали, и гусак шшипал до невозможности, и жеребенок раз так задком накинул, что я замертво копырнулся. А с девяти годов со мной все сурьезнее зачали случаи вершиться. Десятый год мне шел, и тут я был натурально пойматый на крючок...

— На какой крючок? — удивился Давыдов, слушавший Щукарев рассказ не без внимания.

— На обыкновенный, каким рыбу ловят. Был у нас в Гремячем в энту пору глухой и ветхий дед по прозвищу Купырь. Зимой он куропаток ловил вентёрками и крыл шатериком, а летом так и пропадал на речке, удочками рыбалил. У нас речка тогда была глубже, и даже лапшиновская мельничушка об один постав на ней тогда стояла. Под плотиной сазаники водились и щуки огромадные; вот дед, бывалоча, и сидит возля талового кустика с удочками. Разложит их штук семь, — на какую за червя ловит, на какую за тесто, а то и за живца щуку поджидает. Вот мы, ребятишки, и приладились у него крючки откусывать. Дед-то глухой, как камень, ему хучь в ухо мочись, все одно не услышит. Соберемся мы на речке, растелешимся вблизу деда за кустиком, и один из нас потихонечку в воду слезет, чтобы волны не пустить, поднырнет под дедовы удочки, крайнюю леску схватит — жик ее зубами, перекусит и обратно под кустом вынырнет. А дед выдернет удилищу, ажник задрожит весь, шамчит: «Опять откусила трекля-

тая? Ах ты, мати божия!» — это он про щуку думает и, натурально, злобствует, что крючка лишился. У него-то крючки лавошные, а нам, бывало, покупать не за что их, вот мы вокруг деда и промышляем. В один такой момент добыл я крючок и поинтересовался другой откусить. Вижу, дед занялся насадкой, я и нырнул. Только что потихонечку нашшупал леску и рот к ней приложил, а дед ка-ак смыканет удилищу вверх! Леска-то осмыгнулась у меня в руке, крючок и промзил верхнюю губу. Тут я кричать, а вода в рот льется. Дед же тянет удилищу, норовит меня вываживать. Я, конечно, от великой боли ногами болтаю, волокусь на крючке и уж чую, как дед под меня черпачок в воде подсовывает... Ну, тут я, натурально, вынырнул и реванул дурным голосом. Дед обмер, хочет крестное знамение сотворить и не могет, у самого морда стала от страха чернее чугуна. Да и как ему было не перепугаться? Тянул щуку, а вытянул парнишку. Стоял, стоял он да, эх, как вдарится бечь!.. Чирики с ног ажник у него соскакивают! Я с этим крючком в губе домой прибыл. Отец крючок-то вырезал, а потом меня же и высек до потери сознательности. А спрашивается, что толку-то? Губа обратно срослась, но с той поры и кличут меня Щукарем. Присохла на мне глупая эта кличка... На другой год весной выгоняю гусят к ветряку стеречь. Ветряк работает, гусятки мои поблизу пасутся, а над ними коршун кружит. Гусятки желтые, завлекательные, и хочется коршуну ухватить какого-нибудь, но я их, натурально, остерегаю и на коршуна кшикаю и шумлю: «Шу-гууу!» Прибегают тут мои друзья ребятишки, и начинаем мы на крыльях ветряка кататься: хватаемся по одному за крыло, оно подымает от земли аршина на два, тут руки разжимаешь и падаешь на землю, лежишь, а то другое крыло зацепит. А ребятишки, это — чистые враженята! Придумали ж игру: кто выше всех подымется, энтот будет «царем», и ездить ему на других верхом от ветряка до гумна. Ну, каждому интересно «царем» побывать. И я думаю: «зараз выше всех подымусь!», а про гусят-то и позабыл. Подымает меня крыло, да только глядь я, а над гусятами коршун, вот-вот ухватит. Испужался я — слов нет, порка мне будет за гусенка... «Ребяты! — шумлю.— Коршун! Коршуна отгоните!..» А сам тем секундом и запамятовал, что я на крыле нахожуся... Когда опомнился, а меня от земли-то черт-те куда уперло! И вниз сигать страшно, и вверх лететь ишо страшнее. А куда же денешься? Пока я мечтал, как мне быть, крыло сторчмя встало, и я на нем кверх ногами встромленный. А как начало крыло

к земле опущаться, я и оторвался. Неизвестно, сколько моментов до земли летел, сдавалось мне, что дюже долго, но только долетел и, натурально, вдарился. Вгорячах вскочил, гляжу, из рук возля кистей мослы наружу повыпнулись. И больно мне тут стало неподобно, ко всему интерес пропал: коршун гусенка таки спер, а мне это ничуть не интересно. Костоправка мослы мне обратно по местам водворила, а что толку-то? Все одно мне их на другой год сызнова повыворачивало и самого изрезало косогоном. После петрова дня поехали со старшим братом житу косить. Я коньми правлю, а брат мечет с косилки. Гоню я коней, над ними овода кружутся, белое солнце в небе и такая жара, что я начисто сомлел, падаю в дремоте со стульца. Только, промежду прочего — луп глазами, и вижу, на борозде сбочь меня протянулся, как кнут, лежит огромаднейший дудак-усач. Приостановил я коней, брат говорит: «Я его вилами!» А я говорю: «Дай, братушка, я сигну на него и живого его схвачу?» — «Сигай!» — говорит. Ну я и сигнул, ухватил этого дудака поперек, а он как пырхнет бечь! Крылья-то выпростал, бьет меня ими по голове, подсигивает и волокет меня следом за собой, а сам от страху (значит, напужался дюже!) жидким пометом меня всего обливает и волокет за собой, как норовистая лошадюка борону. Неизвестно с чего вздумалось ему назад повернуть. Как он кинется коням под ноги да в сторону, а кони были пужливые: сигнули через меня, всхрапнули и понесли. А я под косогоном очутился. Брат разом даванул спуск, поднял косогон. Меня под полку забило и тянет под косилкой, а она — и так и сяк. Одному коню ногу до самого мосла отхватило, сухожилки порезало, а меня суродовало — и не узнать. Брат кое-как остановил коней, отпрег одного, меня поперек положил и — верхи в хутор, а я без памяти, весь дудачиным пометом и землей обмазанный, а дудак, подлюка, натурально, улетел. Выхворался я... Через полгода иду от соседей, и перерезает мне дорогу хуторской бугай. Я его обходить, а он хвостом, как лютая тигра, крутит и с рогами ко мне приступается. Мне-то, думаешь, дюже любопытно на рогах у него дух спущать? Кинулся я бечь, а он догнал да под нижнее ребро рогом подцепил, кинул через плетень. Ребро к ядреной матери так и хрупнуло. Кабы у меня их, ребров-то сто было, а то ить жалко ни с того ни с сего ребра лишаться... Через это и вышел я на призыве бракованным. И что потом мне от разных животин попадало — счету нет! Скажи, как я чертом меченный: какая собака с цепи ни сорвется, где б она, трижды клятая, ни летала, а уж ко мне прибежит, либо я на

нее невзначай налечу. Ну, и порвет, гачи[1] покусает, а от этого мне какой же прок? И хори за мной гнали от Ужачиной балки до самой дороги, и обдичалые свиньи нападали в степе. Через бугая был один раз избитый и сапог лишился. Иду как-то ночью по хутору, и вот встречь мне супротив Донецковых куреня опять бугай. «Буууу!..» — и хвостом работает. Нет, думаю, под разэтакую голень, ученый я с вашим братом связываться! Держусь к куреню ближе, бугай за мной, я — бежка, он вот-вот за спиной сопит. В курене окно на улицу раскрытое. Я в него влетел, чисто летучая мышь,— оглядел — никого в комнатушке нету, думаю: не буду людей булгачить, выйду опять в окно. Бугай побунел чудок, ковырнул завалинку рогом, пошел. Только я собрался из окна сигать на улицу, а меня за руки цоп, да по затылку какой-то твердостью. А это хозяин — дед Донецковых — услышал шум и словил меня. «Ты зачем сюда зашел, паренек?» — «От бугая, мол, спасаюсь».— «Нет, говорит, знаем мы вас, бугаев! Это ты к снохе нашей, к Олютке залез?» Да с тем и начал меня стукать, сначала будто шутейно, а потом все дюжей да дюжей. Старик он был при силе, к снохе сам прилабунивался, ну, и со зла, значит, выбил мне кутний зуб. А потом и говорит: «Будешь к Олютке ишо ходить?» — «Нет, говорю, не буду, в рот тебе клёп! Повесь ты свою Олютку на гайтан заместо креста».— «Ну сымай сапоги, говорит, а то ишо вложу!» Так и снял я сапоги, отдал за здорово живешь. Тоже страх как интересно последних сапогов было лишаться! Я на этую Олютку годов пять после злился, да что толку-то? И так дале, и так дале случалося... Да хучь бы взять этот предмет: когда мы с вами Титка раскулачивали, через чего это, спрашивается, его кобель, собственно, мне шубу исшматовал? Ему бы вся статья на Макара кинуться либо на Любишкина, а его черт кругом двора обнес и на меня пихнул. Да ить хорошо, что он мне до глотки не добрался, а то давнул бы раза два за хрип — вот тебе и записывай Щукаря в поминание. Не-е-ет, знаем мы эти предметы. Оно, конешно, так кончилось через то, что у меня ливольверта не было. А не дай бог, у меня ливольверт, что бы там получилось? Одно смертоубивство! Я отчаянный, когда разгорюсь. В этот момент и кобеля мог жизни решить, и Титкову бабу, да и Титку бы прямо в зевало все пули так и покидал бы! Вот тебе и убивство, и обратно могли бы посадить Щукаря в тюрьму... А мне в тюрьме вовсе без надобности, у меня свой интерес

[1] **Гачи** — штаны.

есть. Да... Так вот и вышел из меня генерал. Кабы эта повитуха зараз живая была, я бы ее прямо сырую съел!.. Не торочь, чего не надо! Не смущай младенцев! Ну вот он, бригадный стан, приехали!

ГЛАВА XXXII

Еще в сенцах, счищая мокрым сибирьковым веником липкую комкастую грязь с сапог, Размётнов увидел косую полосу света, сочившуюся сквозь дверную щель из комнаты Нагульнова: «Не спит Макар. А чего ему-то не спится?» — подумал Андрей, бесшумно открывая дверь.

Пятилинейная лампочка, покрытая обгорелым абажуром из газеты, тускловато освещала стол в углу, раскрытую книжку. Вихрастая голова Макара была сосредоточенно угнута над столом, правая рука подпирала щеку, пальцы левой ожесточенно вцепились в чуб.

— Здорово, Макар! С чего это от тебя сон стремится?

Нагульнов поднял голову, недовольно оглядел Андрея.

— Ты чего пришел?

— Зашел погутарить. Помешал?

— Помешал — не помешал, а садись, не выгонять же тебя.

— Чего это ты читаешь?

— Занятие одно нашел,— Макар покрыл ладонью книжку, выжидающе посматривая на Размётнова.

— Ушел я от Маришки. Навовсе...— вздохнул Андрей и тяжело опустился на табурет.

— Давно бы надо.

— Это почему же?

— Помеха она тебе была, а зараз такая жизня, что все лишнее надо удалять от себя. Не время зараз нам, коммунистам, завлекаться разными посторонними делами!

— Какое же это постороннее дело, ежели это любовь промеж нас была?

— Ну какая это любовь? Это — колодка на шее, а не любовь. Ты собранию проводишь, а она глаз с тебя не спущает, сидит, ревнуется. Это, браток, не любовь, а наказание.

— Стало быть, по-твоему, коммунистам к бабам и подходить нельзя? Завяжи ниткой и ходи по свету, как подрезанный бычок, или как?

— Да и нельзя, а что же ты думаешь? Какие исстари одурели, поженились, энти пущай доживали бы с женами,

а молодым вьюношам я бы по декрету запрет сделал жениться. Какой из него будет революционер, ежели он за женин подол приобыкнет держаться? Баба для нас, как мед для жадной мухи. Дòразу влипнешь. Я на себе это испытал, категорически знаю! Бывало, садишься вечером почитать, развитие себе сделать, а жена спать ложится. Ты почитаешь трошки, ляжешь, а она задом к тебе. И вот становится обидно за такое ее положение, и либо зачнешь ругаться с ней, либо молчаком куришь и злобствуешь, а сну нету. Недоспишь, а утром с тяжелой головой какое-нибудь политически неправильное дело сделаешь. Это — спытанное дело! А у кого ишо дети пойдут, энтот для партии вовзят погибший человек. Он тебе в момент научится дитёнка пестовать, к запаху его молочному приобыкнет и — готов, спекся! Из него и боец плохой и работник чоховый. В царское время я молодых казаков обучал и нагляделся: как парень, так он с лица веселый, понятливый, а как от молодой жены в полк пришел, так он в момент от тоски одеревенеет и становится пенек пеньком. Бестолочь из него лезет, ничего ему не втолкуешь. Ты ему про устав службы, а у него глаза как пуговицы. Он, сволочуга, кубыть и на тебя глядит, а на самом деле зрачок у него повернутый самому себе в нутро, и он, гад, женушку свою видит. И это — дело? Нет, дорогой товарищ, допрежь ты мог как желательно жить, а зараз, уж ежели ты в партии состоишь, то ты глупости всякие оставь. После мировой революции — по мне — ты хучь издохни на бабе, тогда мне наплевать, а зараз ты весь должен быть устремленный на эту революцию.— Макар встал, потянулся, с хрустом расправил свои широкие, ладные плечи, хлопнул Размётнова по плечу, чуть приметно улыбнулся.— Ты ко мне пришел, небось, пожаловаться, чтобы я с тобой на паях погоревал: «Да, мол, жалкое твое положение, Андрей, трудно тебе будет без бабы. Как ты, сердяга, будешь переносить, переживать эту трудность?..» Так, что ли? Нет, Андрюха, уж чего-чего, а этого ты от меня не поджившешься! Я даже радуюсь, что ты со своей вахмистершей растолкался. Ее давно бы стоило наладить по толстому заду мешалкой! Вот я, к примеру, развелся с Лушкой и распрекрасно себя сознаю. Никто мне не мешает, я зараз как вострый штык, самым жальцем направленный на борьбу с кулаком и прочим врагом коммунизма. И вот даже могу сам себя обучать, образоваться.

— Чему же это обучаешься? Каким таким наукам? — язвительно и холодно спросил Размётнов.

Он в душе был обижен словами Макара, тем, что тот не только не посочувствовал его горю, но даже выказал прямую радость и нес, по мнению Андрея, несусветную чушь относительно женитьбы. Одно время Андрей, слушая серьезную, убежденную речь Макара, не без страха подумал: «Хорошо, что брухливой корове бог рог не дает, а то если б Макару дать власть, что бы он мог наделать? Он бы со своей ухваткой всю жизню кверх тормашками поставил! Он бы, чего доброго, додумался весь мужской класс выхолостить, чтобы от социализма не отвлекались!»

— Чему обучаюсь? — переспросил Макар и захлопнул книжку.— Английскому языку.

— Че-му-у-у?

— Английскому языку. Эта книжка и есть самоучитель.

Нагульнов настороженно вглядывался в Андрея, страшась увидеть в лице его издевку, но Андрей был настолько ошарашен неожиданностью, что, кроме изумления, Нагульнов ничего не прочитал в его злобноватых, широко раскрытых глазах.

— Что же ты... Уже могешь читать или гутарить по этому, по-ихнему?

И Нагульнов с чувством затаенной горделивости отвечал:

— Нет, гутарить ишо не могу, это не сразу дается, а так, ну, одним словом, по-печатному начинаю понимать. Я ить четвертый месяц учусь.

— Трудная штука? — проглотив слюну, с невольным уважением поглядывая на Макара и на книжку, спросил Размётнов.

Макар, видя со стороны Размётнова проявление живейшего интереса к его учебе, откинул настороженность, уже охотно заговорил:

— Трудная до невозможностев! Я за эти месяца толечко... восемь слов выучил наизусть. Но сам собою язык даже несколько похожий на наш. Много у них слов, взятых от нас, но только они концы свои к ним поприделали. По-нашему, к примеру, «пролетариат» — и по-ихнему так же, окромя конца, и то же самое слово «революция» и «коммунизм». Они в концах какое-то шипенье произносют, вроде злобствуют на эти слова, но куда же от них денешься? Эти слова по всему миру коренья пустили, хошь не хошь, а приходится их говорить.

— Та-а-ак... Вот оно что, учишься, значит. А к чему,

Макар, тебе этот язык спонадобился? — спросил наконец Размётнов.

С улыбкой снисхожденья Нагульнов отвечал:

— Чудно̀ ты спрашиваешь, Андрюха! Диву можно даться о твоей непонятливости... Я коммунист, так? В Англии тоже будет Советская власть? Ты головой киваешь, значит, будет? А у нас много русских коммунистов, какие по-а́нглийски гутарют? То-то и есть, что мало. А а́нглийские буржуи завладали Индией, почти половиной мира, и угнетают всяких чернокожих и темнокожих. Что это за порядки, спрашивается? Произойдет там Советская власть, но многие а́нглийские коммунисты не будут знать, что такое есть классовая вражина в голом виде, и с непривычки не сумеют с ней как следовает обойтиться. Вот тогда я напрошусь к ним поехать, поучить их, и как я ихний язык буду знать, то приеду и сразу в точку: «Революшьен у вас? Коммунистишьен? Бери, ребята, капиталистов и генералов к ногтю! Мы в России их, гадов, в семнадцатом году по своей невинности на волю пущали, а они потом нам начали жилы резать. Бери их к ногтю, чтобы ошибки не понесть, чтоб олрайт вышло!» — Макар раздул ноздри, подмигнул Размётнову.— Вот к чему мне ихний язык понадобился. Понятно? Я ночи насквозь спать не буду, последнего здоровья лишуся, но...— и, скрипнув густыми мелкими зубами, докончил:— Язык этот выучу! На а́нглийском языке буду без нежностев гутарить с мировой контрой! Пущай гады трепещут заране! От Макара Нагульнова им, кгм... Это им не кто-нибудь другой! От него помилова́ния не будет. «Пил кровя из своих а́нглийских рабочих классов, из индейцев и из разных других угнетенных нациев? Ксплуатировал чужим трудом? Становися, кровяная гадюка, к стенке!» Вот и весь разговор! Эти слова я перво-наперво разучу. Чтобы мне их без заминки говорить.

Они еще с полчаса толковали о разном, потом Андрей ушел, а Нагульнов уткнулся в самоучитель. Медленно шевеля губами, потея и хмуря от напряжения разлатые брови, просидел до половины третьего.

На другой день проснулся рано, выпил два стакана молока, пошел на колхозную конюшню.

— Выведи мне какого-нибудь конишку порезвее,— попросил дежурного по конюшне.

Тот вывел буланого вислозадого маштака, славившегося редкой неистомчивостью и резвостью, поинтересовался:

— Далеко путь будете держать?

— В район. Давыдову перекажи, что я нынче же к ночи возвернусь.

— Ве́рхи поедете?

— Ага. Вынеси седло.

Макар оседлал коня, снял с него недоуздок, накинув нарядную уздечку, некогда принадлежавшую Титку, привычно поставил ногу в зазубренное стремя. Маштак с места пошел плясовой рысью, но на выезде из ворот вдруг споткнулся, достал коленками земли, едва не упал и, кое-как выправившись, проворно вскочил на ноги.

— Воротись, плохая примета, товарищ Нагульнов! — сторонясь, крикнул подходивший к воротам дед Щукарь.

Не отвечая, Макар зарысил по хутору, выбрался на главную улицу. Около сельсовета десятка два баб о чем-то взволнованно, шумливо стрекотали.

— Посторонитесь, сороки, а то конем стопчу! — шутливо крикнул Макар.

Бабы промолчали, сошли с дороги, и когда он уже миновал их, услышал сиповатый от злости голос вослед:

— Как бы тебя, растреклятого, самого не стоптали! Гляди, доскачешься...

* * *

Заседание бюро ячейки райкома началось в одиннадцать. На повестке дня стоял доклад заврайзо Беглых о ходе сева в первой пятидневке. Помимо членов бюро, присутствовали председатель районной контрольной комиссии Самохин и районный прокурор.

— В разных будет стоять вопрос о тебе, не уходи,— предупредил Нагульнова заворг Хомутов.

Получасовой доклад Беглых был прослушан в напряженной, тяжеловатой тишине. Местами по району еще не начинали сеять, несмотря на то что почва была уже готова; в некоторых сельсоветах семенной фонд не был собран целиком, в Войсковом сельсовете бывшие колхозники разобрали почти весь семенной хлеб, в Ольховатском правление колхоза само роздало выходцам семена. Докладчик подробно остановился на причинах неудовлетворительного хода сева, под конец сказал:

— Безусловно, товарищи, наше отставание в севе, я бы сказал, даже не отставание, а нахождение на одном месте,

на той же самой точке замерзания, происходит оттого, что в ряде сельсоветов колхозы возникли под нажимом местных работников, которые погнались за дутыми цифрами коллективизации и кое-где, как вам известно, даже из-под нагана заставляли вступать в колхоз. Эти непрочные колхозы в настоящий момент разваливаются, как подмытая саманная стена, в них-то и происходят волынки, когда колхозники не едут в поле, а если едут, то работают спустя рукава.

Секретарь райкома предупреждающе постучал карандашом о стеклянную покрышку графина:

— Время истекло!

— Я сейчас кончаю, товарищи! Разрешите остановиться на выводах: как я уже долаживал вам, по данным райзо, в районе за первую пятидневку засеяно всего триста восемьдесят три га. Считаю необходимым немедленно мобилизовать весь районный актив и бросить его по колхозам. По моему мнению, всеми средствами надо удерживать колхозников от выхода и обязать правление колхозов и секретарей ячеек повседневно вести среди колхозников разъяснительную работу и главный упор сделать на широкое осведомление колхозников... на широкий рассказ о том, какие льготы дает государство колхозам, так как это в ряде мест ничуть даже не разъяснено. Очень многие колхозники до сих пор не знают, какие отпущены колхозам кредиты и все такое прочее. Кроме этого, вношу предложение: срочно рассмотреть дела о виновниках тех перегибов, через которые мы не можем приступить к севу и которые на основании постановления ЦК от четырнадцатого марта должны сниматься с работы. Я предлагаю срочно рассмотреть и привлечь всех их к суровой партийной ответственности. Я кончил.

— По докладу Беглых будет кто говорить? — спросил секретарь райкома, обводя присутствующих взглядом, умышленно избегая глаз Нагульнова.

— Да что же говорить, картина ясная,— вздохнул один из членов бюро, начальник районной милиции, плотный, постоянно потеющий крепыш с военной выправкой, с многочисленными шрамами на лоснящейся бритой голове.

— Примем за основу нашего решения выводы Беглых, так, что ли? — спросил секретарь.

— Конечно.

— Теперь вот о Нагульнове.— Секретарь впервые за время заседания взглянул на Макара, на несколько секунд

задержал на нем блуждающий, отчужденный взгляд.— Вам известно, что он, будучи секретарем гремяченской партячейки, совершил ряд тяжких преступлений против партии. Вопреки указаниям райкома вел левацкую линию во время коллективизации и сбора семфонда. Он избил наганом одного середняка-единоличника, запирал в холодную колхозников. Товарищ Самохин сам ездил в Гремячий, расследовал это дело и открыл вопиющие нарушения Нагульновым революционной законности, вредительское искажение линии партии. Дадим слово Самохину. Сообщи бюро, товарищ Самохин, что ты установил относительно преступной деятельности Нагульнова.— Секретарь прикрыл глаза пухлыми веками, тяжело облокотился.

Нагульнов еще с момента прихода в райком понял, что дело его плохо, что снисхождения ему не ждать. Секретарь райкома с небывалой сдержанностью поздоровался с ним и, как видно, уклоняясь от разговора, тотчас же обратился с каким-то вопросом к председателю РИКа.

— Как мое дело, Корчжинский? — не без робости спросил у него Макар.

— Бюро решит,— неохотно отвечал тот.

Да и все остальные избегали вопрошающих глаз Макара, сторонились его. Вопрос о нем между ними, вероятно, был уже решен заранее; лишь один начальник милиции Балабин сочувственно улыбнулся Макару, крепко пожимая его руку:

— Нагульнов, не робей! Ну, проштрафился, ну, запутался и наломал дров, так ведь мы же политически не очень-то подкованы. Не такие мозговитые, как ты, и то ошибались! — Он вертел своей круглой головой, крепкой, обточенной, как речной камень-голыш, вытирал пот с короткой, красной шеи, сожалеюще причмокивал толстыми губами. Макар, приободрясь, смотрел в налитое полнокровным румянцем лицо Балабина, благодарно улыбался, сознавая, что этот парень насквозь его видит, понимает и сочувствует. «Строгий выговор мне влепят, снимут с секретарей»,— думал Макар и с тревогой поглядывал на Самохина. Этот маленький большелобый человек, не терпевший разводов, беспокоил его больше всех. И когда Самохин достал из портфеля увесистую папку, Нагульнов больно ощутил острый укол тревоги. С надсадным звоном у него застучало сердце, кровь кинулась в голову, загорелись виски, легкая пьянящая тошнота подкатила к горлу. Такое состояние было у него всегда незадолго

перед припадком. «Только бы не зараз!» — внутренне содрогнулся он, вслушиваясь в замедленную речь Самохина.

— По поручению райкома и райКК я расследовал это дело. Путем опроса самого Нагульнова, потерпевших от его действий колхозников и единоличников Гремячего Лога, а также на основании свидетельских показаний мною установлено следующее: товарищ Нагульнов безусловно не оправдал доверия партии и своими поступками принес ей огромный вред. Так, он в момент коллективизации, в феврале месяце, ходил по дворам и, угрожая наганом, понуждал к вступлению в колхоз. Таким образом он, что называется, «вовлек» в колхоз семь середняков. Это не отрицает и сам Нагульнов...

— Они — закореневшие белые! — хрипло сказал Нагульнов, вставая со стула.

— Я тебе не давал слова. К порядку! — строго прервал его секретарь.

— ...Затем во время засыпки семенного фонда он избил наганом до потери сознания одного середняка-единоличника, и это на глазах у присутствовавших колхозников и сидельцев сельсовета. Избил за то, что тот отказался немедленно вывезти семенной фонд...

— Позор! — громко сказал прокурор.

Нагульнов потер ладонью горло, побледнел, но промолчал.

— В эту же ночь он, как какой-нибудь, товарищи, становой пристав, посадил в холодную комнату трех колхозников и продержал их там всю ночь, причем угрожал им наганом за отказ немедленно вывезти семзерно.

— Им я не угрожал...

— Я это говорю с их слов, товарищ Нагульнов, и прошу меня не перебивать! По его же настоянию был раскулачен и сослан середняк Гаев, который совершенно раскулачиванию не подлежит, так как он по имущественному положению ни в коем случае не может быть причислен к кулакам, а раскулачили его по воздействию Нагульнова за то, что он имел в тысяча девятьсот двадцать восьмом году батрака. Но что это был за батрак? А это, товарищи, была нанята на месяц во время уборки хлеба девушка с того же Гремячего Лога, и Гаев нанял ее только потому, что сын его в тысяча девятьсот двадцать седьмом году осенью был призван в Красную Армию и многодетный Гаев не мог управиться. Советским законодательством такое использование наем-

ной рабочей силы не возбранялось. Гаев имел эту батрачку на основании договора с батрачкомом, расплату произвел сполна, я проверил этот факт. Кроме того, Нагульнов ведет беспорядочную половую жизнь, а это тоже немаловажно для характеристики члена партии. Нагульнов развелся с женой, даже не развелся, а выгнал ее из дому, выгнал, как собаку, и только на том основании, что она якобы принимала ухаживания какого-то гремяченского парня. Словом, воспользовался сплетнями и выгнал, для того чтобы развязать себе руки. Какую жизнь в половом отношении ведет он сейчас, я не знаю, но все данные за то, товарищи, что он попросту распутничает. Иначе к чему же ему выгонять из дому жену? Хозяйка квартиры Нагульнова мне сказала, что он ежедневно очень поздно приходит домой, где он бывает — ей неизвестно, но нам-то, товарищи, известно, где он может бывать! Мы не маленькие и знаем, где обычно бывает человек, выгнавший жену, ищущий развлечений в смене женщин... Мы знаем! Вот, товарищи, краткий перечень тех геройских поступков (в этом месте своей обвинительной речи Самохин язвительно улыбнулся), которые за короткий срок сумел совершить горе-секретарь ячейки Нагульнов. К чему это привело? И каковы корни этих поступков? Тут надо прямо сказать, что это — не головокружение от успехов, как гениально выразился наш вождь товарищ Сталин, а это — прямой левацкий заскок, наступление на генеральную линию партии. Нагульнов, например, ухитрился не только середняков раскулачивать и из-под нагана загонять в колхоз, но провел решение обобществить домашнюю птицу и весь мелкий и молочный скот. Он же пытался, по словам некоторых колхозников, установить такую дисциплину в колхозе, какой не было даже при Николае Кровавом!

— Про птицу и скотину не было директив райкома,— тихо сказал Нагульнов.

Он уже стоял, вытянувшись во весь рост, судорожно прижимая к груди левую руку.

— Нет уж это ты извини! — вспыхнул секретарь.— Райком указывал. Нечего с больной головы на здоровую валить! Есть устав артели, и ты не грудной ребеночек, чтобы не суметь разобраться в нем!

— ...В гремяченском колхозе царит зажим самокритики,— продолжал Самохин.— Нагульнов террор устроил, никому не дает слова сказать. Вместо того чтобы вести разъяснительную работу, он орет на хлеборобов, стучит ногами, грозит оружием. Поэтому-то в гремяченском колхозе

и идет буза. Там сейчас — массовые выходы из колхоза, к севу только что приступили и, определенно, с ним не справятся. Районная контрольная комиссия, призванная очищать партию от всяких разложившихся элементов, от оппортунистов всех мастей, мешающих нам в нашем великом строительстве, несомненно сделает свои выводы относительно Нагульнова.

— Все? — спросил секретарь.

— Да.

— Предоставим слово Нагульнову. Пусть он расскажет, как дошел до жизни такой. Говори, Нагульнов.

Страшный гнев, полымем охвативший Макара под конец самохинской речи, вдруг бесследно исчез, его сменили неуверенность и испуг. «Что же они со мной делают? Как можно так? Угробить хотят!» — на миг растерянно подумал он, подходя к столу. От приготовленных во время выступления Самохина злых возражений ничего не осталось. Пустота заполнила голову, и даже ни одного подходящего слова не было на уме. С Макаром творилось что-то необычайное...

— Я, товарищи, со времени революции — в партии... Был в Красной Армии...

— Все это нам известно. Ближе к делу! — нетерпеливо прервал его секретарь.

— Я на всех фронтах бился с белыми... И в Первой Конной армии... Мне дали орден...

— Да ты о деле говори!

— А это не дело?

— Ты не виляй, Нагульнов! На заслуги нечего теперь ссылаться! — перебил председатель РИКа.

— Так дайте же товарищу сказать! Что вы на язык ему становитесь? — возмущенно крикнул Балабин, и глянцевая макушка его круглой голышковатой головы вмиг покрылась малиновой апоплексической просинью.

— Пусть конкретно говорит!

Нагульнов все так же стоял, не отнимая от груди левой руки, а правая медленно тянулась к горлу, закостеневшему в колючей суши. Он бледнел и с трудом продолжал:

— Дайте мне сказать. Я же не враг, зачем со мною так? Я был в армии израненный... Под Касторной получил контузию... Тяжелым снарядом с площадки...— и умолк, почерневшие губы его с хлюпом всасывали воздух.

Балабин торопливо плеснул из графина воды, протянул стакан Макару, не глядя на него.

Корчжинский взглянул на Нагульнова, проворно отвел взгляд: рука Нагульнова, сжимавшая боковины стакана, неудержимо дрожала.

В тишине было отчетливо слышно, как дробно звенело стекло, выстукивая о зубы Макара.

— Да ты не волнуйся, говори! — досадливо сказал Балабин.

Корчжинский поморщился. К сердцу его, непрошеная, подкатилась жалость, но он взял себя в руки. Он был твердо убежден, что Нагульнов — зло для партии и что его надо не только снять с работы, но и исключить из партии. Мнение его разделяли все, за исключением Балабина.

Макар залпом глотнул стакан воды; отдышавшись, начал говорить:

— Я признаю то, что говорил Самохин. Верно, это я сотворял. Но не потому, что хотел на партию наступать. Это Самохин брешет. Брешет он, как кобель, и насчет моего распутства. Выдумки! Я от баб сторонюсь, и мне не до них...

— Через это ты и жену прогнал? — ехидно спросил заворг Хомутов.

— Да, через это самое,— серьезно отвечал Макар.— Но все это я делал... Я хотел для блага революции. Может, я ошибался... Не знаю. Вы ученее меня. Вы курсы проходили, вам виднее. Своей вины я не умаляю. Судите как хочете. Одно прошу понять...— Ему опять не хватило дыхания, осекся на полуслове и с минуту молчал.— Поймите, братцы, что это у меня без злого умысла супротив партии. А Банника бил через то, что он над партией надсмехался и хотел семенной свиньям стравить...

— Говори! — насмешливо вставил Самохин.

— Говорю, что было. До̀ се жалею, что этого Банника не убил. Больше сказать нечего.

Корчжинский выпрямился, креслице застонало под ним. Ему хотелось кончить это тяжелое дело поскорее. Торопливо заговорил:

— Ну, что же, товарищи, все ясно. Сам Нагульнов сознается. Хотя по мелочи он и пытается увильнуть, оправдаться, но оправдания эти звучат неубедительно. Всякий, кого приходится ущемлять, пытается свалить с себя часть вины или переложить ответственность на других... Я считаю, что Нагульнова — как злостно нарушившего линию партии в колхозном движении, как коммуниста, переродившегося в бытовом отношении,— следует из рядов партии исклю-чить! Мы не будем смотреть на бывшие заслуги

Нагульнова, это — прошедший этап. Мы должны, в назидание другим, наказать его. Всех, кто пытается порочить партию и тянуть ее влево или вправо, мы будем беспощадно бить. Полумерами в отношении Нагульнова и таких, как он, ограничиваться нельзя. Мы с ним и так долго пестовались. Еще в прошлом году во время организации ТОЗов он левшил, я предупреждал его еще тогда. А раз не послушался — пусть пеняет на себя! Давайте голоснем? Кто за то, чтобы Нагульнова из партии исключить? Голосуют, разумеется, одни члены бюро. Так, четыре, стало быть? Ты против, товарищ Балабин?

Балабин хлопнул по столу. На висках его вздулись путаные сетчатки вен.

— Я не только против, но и категорически возражаю! Это в корне неправильное решение.

— Ты можешь оставаться при особом мнении,— холодно сказал Корчжинский.

— Нет, ты мне разреши сказать!

— Поздно говорить, Балабин. Решение об исключении Нагульнова принято большинством голосов.

— Это чиновничий подход к человеку! Из-ви-ните, этого я так не оставлю! Я в окружком буду писать! Исключить старого члена партии, краснознаменца... Вы опупели, товарищи? Как будто нет других мер взыскания!

— Нечего об этом дискутировать. Ведь проголосовали же!

— Морду бить за такое голосование! — Голос Балабина перешел на тонкий фальцет, тугая шея так набрякла, что казалось, тронь ее слегка, и из-под пальца свистнет освобожденная кровь.

— Ну, насчет морды, это ты потише,— вкрадчиво и недобро сказал заворг Хомутов.— К порядку мы можем призвать и тебя. Здесь не РУМ, а райком.

— Без тебя знаю! А почему вы мне говорить не даете?

— Потому что я считаю это излишним! — вспылил Корчжинский и тоже, как Балабин, побагровел, вцепился в ручки кресла.— Я здесь секретарь райкома. Я тебя лишаю слова, а угодно говорить — ступай вон на крыльцо!

— Балабин, не кипятись! Чего ты горишь! Пожалуйста, пиши свое мнение в окружком, а этак что же, проголосовали, и ты начал после драки кулаками махать,— урезонивал начальника милиции председатель РИКа.

Он взял Балабина за рукав форменной рубашки, отвел в угол, что-то вполголоса говоря.

Тем временем Корчжинский, обозленный стычкой с Балабиным, поднял на Макара сердито посверкивающие из-под припухлых век глазки и уже с нескрываемой враждебностью сказал:

— Кончен разговор, Нагульнов! Решением бюро ты исключен из наших рядов. Такие вы партии не нужны. Клади сюда партбилет! — и постучал по столу ладонью рыжеволосой руки.

Нагульнов мертвенно побледнел. Крупная дрожь сотрясала его, а голос был почти не слышен, когда он говорил:

— Партбилет я не отдам.

— Заставим отдать.

— Езжай в окружком, Нагульнов! — крикнул из угла Балабин и, на полуслове оборвав разговор с председателем РИКа, вышел, оглушительно хлопнув дверью.

— Партбилет я тебе не отдам!..— повторил Макар. Голос его окреп, со лба и скуластых щек медленно сходила голубоватая бледность.— И партии я буду ишо нужен... И мне без партии не жить! А тебе не подчинюсь!.. Вон он, билет, в грудном кармане... Попробуй возьми его! Глотку перерву!..

— Трагическое действие начинается! — прокурор пожал плечами.— Ты только без истерик...

Не обращая внимания на его слова, Макар смотрел на Корчжинского, говорил медленно и словно бы с раздумьем:

— Куда же я без партии? И зачем? Нет, партбилет я не отдам! Я всю жизню свою вложил... всю жизню...— и вдруг старчески жалко и бестолково засуетился, зашарил по столу руками, путаясь в словах, торопливо и невнятно забормотал: — Так ты уж лучше меня... прикажи ребятам... Меня тогда на распыл надо... Ничего не остается... Мне жизня теперь без надобностев, исключите и из нее... Стало быть, брехал Серко — нужен был... Старый стал — с базу долой...

Лицо Макара было неподвижно, как гипсовая маска, одни лишь губы вздрагивали и шевелились, но при последних словах из остановившихся глаз, впервые за всю взрослую жизнь, ручьями хлынули слезы. Они текли, обильно омывая щеки, задерживаясь в жесткой поросли давно не бритой бороды, черными крапинами узоря рубаху на груди.

— Довольно тебе! Этим ведь не поможешь, товарищ! — Секретарь болезненно сморщился.

— Ты мне не товарищ! — закричал Нагульнов.— Ты — бирюк! И все вы тут — ядовитые гады! Засилье взяли! Гладко гутарить выучились! Ты чего, Хомутов, оскаляешься, как б...? Над слезьми моими смеешься? Ты!.. В двадцать первом году, когда Фомин с бандой мотал по округу, ты пришел в окружком, помнишь? Помнишь, сучий хвост?.. Пришел и отдал партбилет, сказал, что сельским хозяйством будешь заниматься... Ты Фомина боялся! Через это и бросил билет... а потом опять в партию пролез, как склизкая мокрушка скрозь каменьев!.. И зараз голосуешь против меня? И смеешься моему смертному горю?

— Хватит, Нагульнов, не ори, пожалуйста. У нас же еще вопросы есть,— не смущаясь и все так же тая улыбочку под темными усами, примиряюще сказал смуглолицый, красивый Хомутов.

— С вами хватит, но я свою правду найду! В ЦК поеду!

— Во-во! Поезжай! Там всё в момент разрешат! Там тебя давно дожидаются...— улыбался Хомутов.

Макар тихо пошел к двери, стукнулся виском о дверной косяк, застонал. Последняя вспышка гнева его окончательно обессилила. Без мысли, без чувств дошел до ворот, отвязал от изгороди маштака, почему-то повел его в поводу. На выезде из станицы хотел сесть верхом, но не смог: четыре раза поднимал ногу к стремени и, пьяно качнувшись, отрывался от луки.

Возле крайней хатенки на завалинке сидел старый, но молодцеватый дед. Из-под облупленного козырька казачьей фуражки он внимательно наблюдал, как Макар пытался сесть на маштака, потом поощрительно улыбнулся.

— Хорош орёлик! Солнце в дуб, а он уж и ноги поднять не могет. Через какой-такой случай спозаранку упился? Али ноне праздник?

— Праздник, дедушка Федот! — откликнулся ему сосед, выглядывая из-за плетня.— Ноне Симоны-гулимоны, крестный ход по кабакам.

— То-то я вижу,— улыбался старик,— стало быть, нет молодца сильнее винца? Ишь как оно его шибает от седла! Держися, казачок!

Макар скрипнул зубами и, чуть коснувшись стремени носком сапога, птицей взлетел на седло.

ГЛАВА XXXIII

В этот день с утра в Гремячий Лог прибыли из хутора Ярского двадцать три колхозные подводы. Около ветряка их встретил Банник. Повесив на плечо обротъ, он шел в степь искать кобылу. Передняя подвода поравнялась с ним.

— Здорово живете, гражданы казачки!

— Слава богу,— ответил чернобородый казачина, правивший куцехвостыми лошадьми.

— Откель это подводы?

— С Ярского.

— Чего же это у ваших коней хвостов нету? К чему это вы их пострамотили?

— Тррр, стой! Добрая чертяка! И хвост отрубили, а она все сепетит... Чего хвостов нету, говоришь? Поотрезали на ко̀зну. Городские бабы будут хвостами мух отгонять... Покурить не найдется, добрый человек? Угости, а то мы табаком бедствуем.— Казак соскочил с брички.

Задние подводы остановились. Банник уж и пожалел, что ввязался в разговор. Он с неохотой доставал кисет, глядя, как еще человек пять идут от подвод, на ходу полосуя газету на закрутки.

— Раскурите вы меня...— крякнул скуповатый Банник.

— Теперь — колхоз, знаешь? Все должно быть обчее,— строго сказал бородач и, словно из своего кисета, потянул добрую жменю [1] табаку-самосаду.

Закурили. Банник торопливо засовывал кисет в карман шаровар, улыбался, с брезгливой жалостью поглядывая на обрезанные чуть не по самые репицы лошадиные хвосты. Падкая на кровь весенняя муха секла лошадей, садилась на потные стегна, на потертые хомутами зашеины. Лошади по привычке мотали хвостами, пытаясь отогнать мух, но куцые, лишенные волоса, срамотные отрезки не действовали.

— Куда же это она хвостом указывает? — язвительно выспрашивал Банник.

— Все туда же, в колхоз. А у вас аль не резали?

— Резали, но толечко на два вершка.

— Это наш председатель Совета распорядился, премию получал, а нуда̀ зачнется — пропадут кони! Ну, поедемте.

---

[1] Жменя — горсть.

Спасибо за табачок. Покурил — и сердце помягшело, а то всю дорогу ехал, лютовал без курева.

— Вы куда же едете?

— В Гремячий.

— К нам, значится. А по каким делам?

— За семенами.

— Это... Это как же?

— Из района приказали у вас семфонды взять, четыреста тридцать пудов. Но, иди!

— Я ж так и знал! — вскричал Банник. Махая обротью, он побежал в хутор.

Не успели ярские подводы доехать до правления колхоза, как уж половине хутора стало известно о том, что ярские приехали забирать семенной хлеб. Не пожалел Банник ног, шныряя с база на баз.

Сначала на проулках собрались бабы, заторочили, всшумелись, как табунки встревоженных куропаток.

— Хлеб наш увозят, милушки!

— Сеять-то нечем будет!

— Головушка моя горькая!

— Люди добрые говорили, что не надо засыпать было в обчественный анбар...

— Кабы казаки нас слухали!

— Надо идтить, говорить казакам, чтобы хлеба не давали!

— Да мы и сами не дадим! Пойдемте, бабочки, к анбарам! Заберем колья и не подпустим их к замкам!

Потом появились казаки. И промеж них такие же пошли разговоры. Переходя от проулка к проулку, с улицы на улицу, собрались в немалую толпу, двинулись к амбарам.

Тем временем Давыдов прочитал привезенную ярцами от председателя правления райполеводсоюза служебную записку.

«Тов. Давыдов, — писал Лупетов, — у тебя на глубинке есть 73 центнера оставшейся невывезенной по хлебозаготовке пшеницы. Предлагаю тебе выдать эту пшеницу (все 73 центнера) Ярскому колхозу. У них не хватает семенного материала. С конторой Союзхлеба я согласовал вопрос».

Давыдов прочитал, распорядился выдать хлеб. Ярцы со двора правления колхоза поехали к амбарам, но возле амбаров улицу запрудил народ. Сотни две баб и казаков окружили подводы.

— Куда едете?

— За нашим хлебом? Черти вас принесли!
— Поворачивай!
— Не дадим!
Демка Ушаков кинулся за Давыдовым. Тот рысью прибежал к амбарам.
— В чем дело, граждане? Чего вы собрались?
— Ты почему наш хлеб отдаешь ярцам? Мы для них его засыпа̀ли?
— Тебе, Давыдов, кто это такие права давал?
— А мы чем сеять будем?
Давыдов взлез на приклеток ближайшего амбара, спокойно объяснил, что выдает он по распоряжению райполеводсоюза не семенной хлеб, а оставшийся по хлебозаготовке.
— Вы, граждане, не беспокойтесь, наш хлеб будет целый. А вам вместо того, чтобы без дела слоняться да семечки лущить, в поле надо ехать. Имейте в виду, бригадиры ведут учет не вышедших на работу. Кто не пойдет, будем штрафовать.
Часть казаков покинула улицу. Многие, успокоенные заявлением Давыдова, отправились в поле. Кладовщик начал отпускать ярцам хлеб. Давыдов ушел в правление. Но через полчаса в настроении баб, все еще дежуривших возле амбаров, произошла резкая перемена. Яков Лукич поспособствовал этому, шепнул нескольким казакам:
— Брешет Давыдов! Семенной увозят! Колхоз посеет, а что единоличники засыпали, отдадут Ярскому колхозу.
Бабы заволновались. Банник, Демид Молчун, дед Донецков и еще человек тридцать казаков, посовещавшись, подошли к весам.
— Не даем хлеб! — от имени всех заявил Донецков.
— У тебя не спрашиваются! — огрызнулся Демка Ушаков.
Между ними началась перепалка. Ярцы вступились за Демку. Тот самый чернобородый казачина, которого на выгоне угощал Банник табаком, стал на бричке во весь рост, минут пять яростно матерился, а уж потом начал выкрикивать:
— Вы чего это власть нарушаете? Что вы мордуете нас? Мы в горячую пору забились за сорок верст, а вы государственный хлеб держите? Гепева по вас горько плачет! Вас, сукиных сынов, в Соловки надо сажать! Как собаки на сене, лежите, сами не жрете и другим не даете! Чего вы на̀ поля не едете? Праздник вам?..

— А тебе чего надо? Борода у тебя свербит? Расчешем!.. Это мы — в минуту! — заорал Бесхлебнов, Аким Младший, подсучивая рукава и пробиваясь к бричке.

Бородатый ярской казачина прыгнул с брички. Он не подсучивал рукавов своей вылинявшей коричневой рубахи, но встретил Акима Младшего таким умелым, лихим ударом в челюсть, что Аким сажени две летел, расталкивая спиной народ, махая руками, как ветряная мельница крыльями.

Завязалась драка, каких давным-давно не видывал Гремячий Лог. Ярцам изрядно натолкали, и они, избитые в кровь, бросили мешки с хлебом, попадали в брички и, ударив по лошадям, прорвались сквозь толпу взвизжавшихся баб, ускакали.

С этого часа и пошло кружало волнений по Гремячему Логу. У Демки Ушакова хотели отобрать ключи от амбаров с семенным зерном, но догадливый Демка во время драки улизнул из толпы, прибежал в правление.

— Куда ключи девать, товарищ Давыдов? Ярских наши бьют, а зараз, видно, и до нас зачнут добираться!

— Давай мне ключи,— спокойно сказал Давыдов.

Он взял ключи, положил их в карман, пошел к амбарам. А в это время бабы уже успели вытащить из сельсовета Андрея Размётнова, надсадно крича:

— Открывай мити́нг!

— Бабочки! Тетушки! Мамаши! Лапушки мои! Нету зараз митингов! Сеять надо, а не митинговать! На что вам митинг спонадобился? Это — слово солдатское. Допрежь, чем его говорить, надо в окопах три года высидеть! На войне надо побывать, вшов попродовольствовать, а потом уж и про митингу гутарить,— пробовал вразумить баб Размётнов.

Но они его не слушали; уцепившись за шаровары, за рукава и подол рубахи, волоком тянули нахмуренного Андрея в школу, орали:

— Не желаем в окопах высиживаться!

— Не желаем на войну!

— Открывай митинг, а то сами откроем!

— Брешешь, сукин сын, что нельзя! Ты председатель! Тебе можно!

Андрей отпихивал баб, затыкал уши, стараясь перекричать их, вопил:

— Замолчите, анафены! Отслонитесь трошки! По какому случаю вам митинг нужен?

— По хлебу! По хлебу будем с вами гутарить!

...В конце концов Размётнов вынужден был сказать:

— Считаю собрание открытым.

— Слово дозвольте,— потребовала вдовая Екатерина Гулящая.

— Да говори, черт тебя нюхай!..

— Ты не чертякай, председатель! А то я тебя черкану, должно быть... С чьего соизволеньица вы дозволили наш хлеб растаскивать? Кто это распорядился ярцам отпущать и на раскакую нужду? — Гулящая — руки в бока — изогнулась, ожидая ответа.

Андрей отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи.

— Было вам авторитетно объяснено товарищем Давыдовым. И я собрание не за этими глупостями открывал, а затем...— Андрей вздохнул,— что надо, любезные граждany, на сусликов идтить всей нашей силой...

Маневр Андрею не удался.

— Какой там суслик!

— Не до сусликов!

— Хлеб давайте!..

— Краснобай, ёж тебя наколи! На суслика съехал! А про хлеб кто будет гутарить?

— Про него и гутарить нечего!

— А-а-а, нечего? Отдавайте назад хлеб!

Бабы во главе с Гулящей начали подступать к сцене. Андрей стоял около жестяной суфлерской будки. Он с усмешкой посматривал на баб, но в душе испытывал некоторую тревогу: уж больно суровы на вид были казаки, толпившиеся позади, за белым ромашковым полем сплошных бабьих платков.

— В сапогах зиму и лето ходишь, а нам и на чирики товару нету!

— Комиссаром стал!

— А давно ли с Маришкиного мужа шаровары трепал?

— Наел мурло.

— Разуйте его, бабы!

Выкрики загрохотали, как беспорядочная пачечная стрельба. Несколько десятков баб столпилось около самой сцены. Андрей тщетно старался водворить тишину: голоса его не было слышно.

— Сымайте с него сапоги! Бабочки, а ну, дòразу!

Вмиг к сцене протянулось множество рук. Андрея схватили за левую ногу. Он вцепился в будку, побледнел от злости, но с ноги уже стянули сапог, кинули куда-то назад.

Многочисленные руки подхватывали сапог, перебрасывали дальше, покатился недружный, недобрый смех. Издали, из задних рядов, зазвучали одобрительные мужские голоса:

— Разувай его!

— Пущай без галихве походит!..

— Тяни другой!..

— Бабы, действуйте! Валяй его, борова!..

И другой сапог сорвали с Андрея. Он стряхнул с ног портянки, оранул:

— И портянки нужны? Берите! Может, кому на утирки пойдут!

К сцене быстро подходило несколько парней. Один из них — единоличник Ефим Трубачев, губатый детина, сын атаманца и сам саженного роста,— растолкал баб, шагнул на сцену.

— Нам портянки твои не нужны,— говорил он, улыбаясь и тяжело дыша,— а вот шаровары мы с тебя, председатель, сымем...

— Штаны нам позарез нужны! Беднота без штанов ходит, а кулацкого не хватило,— развязно пояснил другой, помоложе и помельче ростом, но бедовей, коноводистей на вид.

Парень этот, по прозвищу Дымок, был на редкость кучеряв. Каракулевых дымчато-белесых волос его словно никогда в жизни не касалась расческа,— такими беспорядочными завитушками взмывали они из-под околыша старенькой казачьей фуражки. Отец Дымка был убит на германской войне, мать умерла от тифа; малолетний Дымок возрастал на попечении тетки. Сызмальства он воровал на чужих огородах огурцы и редиску, в садах — вишню и яблоки, с бахчей мешками носил арбузы, а по возмужании пристрастился портить хуторских девок и на этом поприще стяжал себе столь худую и громкую славу, что ни одна гремяченская мамаша, имевшая взрослую дочь, не могла равнодушно глядеть на Дымка, на его небольшую, но складную, как у ястребка, фигуру. Глянет, непременно сплюнет на сторону, зашипит:

— Идет, чертяка белоглазый! Так и ходит, кобелина поблудный, по хутору, так и ходит...— И к дочери: — Ну, а ты чего гляделки вылупила? Чего у окна торчишь? Вот принеси мне в подоле, только принеси — своими руками задушу! Тяни, сукина дочь, кизяк на затоп да ступай корову встревай!

А Дымок, зверино-мягко ступая обутыми в рваные чи-

рики ногами, тихонько посвистывая сквозь зубы, идет себе мимо плетней и заборов, из-под загнутых, лучистых ресниц посматривает на окна, на базы, и лишь только мелькнет где-нибудь девичий платок,— мгновенно преображается ленивый с виду, неповоротливый Дымок: он коротким, точным движением, по-ястребиному быстро поворачивает голову, выпрямляется. Но не хищность высматривает из его белесоватых глаз, а ласка и величайшая нежность; даже глаза Дымковы в этот момент как будто меняют окраску и становятся такими бездонно-синими, как июльское небо. «Фектюшка! Светок мой лазоревый! Ноне, как смеркнется, я приду на забазье. Ты где ноне спать будешь?» — «Ах, оставьте ваши глупости!» — на бегу неприступно-строго отвечает девка.

Дымок с понимающей улыбкой смотрит ей вслед, уходит. На закате солнца играет возле общественного амбара на гармошке своего сосланного дружка, Тимофея Рваного, но как только синяя тень ляжет в садах и левадах, едва утихнет людской гомон и скотиний мык, он не спеша шагает по проулку к Фектиному базу, а над грустно перешептывающимися верхушками тополей, над безмолвным хутором идет такой же одинокий, такой же круглолицый, как и Дымок, месяц.

Не одни девки были утехой в жизни Дымка: любил он и водку, а еще больше — драки. Где драка, там и Дымок. Вначале он смотрит, с силой сцепив за спиной руки, угнув голову, потом у него начинают часто подрагивать ноги в коленях, дрожь становится неудержной, и Дымок, не в силах совладать с борющей его страстью, вступает в бой. К двадцати годам он уже успел растерять полдюжины зубов. Неоднократно был избиваем так, что кровь шла у него горлом. Били его и за девичьи грехи и за вмешательство в чужие споры, разрешаемые при помощи кулаков. Покашляет Дымок, похаркает кровью, с месяц вылежит на печи у вечно плачущей тетки, а потом опять появится на игрищах, и еще неутолимей блистают голубоватые Дымковы глаза, еще проворней бегают пальцы по клапанам двухрядки, только голос после болезни становится глуше и хрипатей, словно вздох изношенных мехов старенькой гармошки.

Из Дымка трудно было вышибить жизнь,— живуч был, как кошка. Его исключили из комсомола, судили за хулиганство и за поджог. Андрей Размётнов не раз арестовывал его за буйство, отводил ночевать в сельсоветский сарай. Дымок издавна питал к нему великую злобу и вот теперь-

то, считая момент подходящим для расплаты, и полез на сцену, чтобы поквитаться...

Он подходил к Андрею все ближе. Колени его тряслись, и от этого казалось, что он словно бы пританцовывает.

— Шаровары нам...— Дымок громко вздохнул: — А ну, сымай!..

Сцена текуче наполнялась бабами, многорукая толпа снова окружила Андрея, жарко дыша ему в лицо и в затылок, окружая неразрывным кольцом.

— Я — председатель! — крикнул Размётнов.— Надо мной смеяться — над Советской властью смеяться! Отойди! Хлеба я вам не дозволю брать! Собрание считаю закрытым!..

— Сами возьмем!

— Хо-хо! Закрыл!

— Откроем!

— К Давыдову пойдем, ишо его потрясем!

— А ну, ходу в правление!

— Размётнова придержать надо!

— Бей его, ребятки!..

— Чего ему в зубы глядеть?!

— Он против Сталина!

— Посадить его!

Одна из баб стащила со стола президиума красную сатиновую покрышку, сзади укутала ею голову Размётнова. А пока он пытался сорвать пахнущую чернилами и пылью скатерть, Дымок, не размахиваясь, ударил его под ложечку.

Освободив голову, задыхаясь от безрассудной ярости и боли, Андрей выхватил из кармана наган. Бабы с криком шарахнулись в стороны, но Дымок, Ефим Трубачев и еще двое проникших на сцену казаков схватили его за руки, обезоружили.

— Стрелять в народ хотел! Вот сукин-то сын! — радостно заорал Трубачев, поднимая над головой размётновский наган с порожним, без единого патрона барабаном...

Давыдов невольно замедлил шаг, услышав доносившийся от амбаров сплошной и грозный рев. «Ая-я-я-я-я-я!» — высоко взлетая, звенел над мужскими басовитыми голосами пронзительный бабий крик. Он резко выделялся из слитной массы голосов, как выделяется из общего гона осенью в лесу, тронутом первыми заморозками, страстный, захлебывающийся, яростно плачущий лай гончей

суки, идущей вместе со стаей по горячему следу красного зверя.

«Надо бы послать за второй бригадой, а то разберут хлеб»,— подумал Давыдов. Он решил вернуться в правление, чтобы спрятать где-нибудь ключи от амбаров с семенным зерном. Демка Ушаков растерянно стоял у ворот.

— Я схоронюсь, товарищ Давыдов. А то меня за ключи дерзать будут.

— Это твое дело. Найденова нет?

— Он во второй бригаде.

— А из второй бригады здесь никого нет?

— Кондрат Майданников.

— Где он? Что он тут делает?

— За семенами приехал. Да вот он метется!

К ним, поспешая, подходил Майданников. Еще издали махнул кнутом, крикнул:

— Андрея Размётнова арестовало общество! Посадили его в подвал и зараз направляются к амбарам. Ты прихоронись, товарищ Давыдов, а то как бы греха не вышло... Народ прямо-таки осатанел!

— Не буду я прятаться! С ума ты сошел?! На̀ тебе ключи и мотай в бригаду, скажи Любишкину, чтобы посадил человек пятнадцать на коней и сейчас же скакал сюда. Видишь, у нас здесь... буза начинается. Район я не хочу тревожить, сами управимся. Ты на чем приехал?

— На бричке.

— Отцепи одну лошадь, садись верхом и дуй!

— Это я в два счета! — Майданников сунул в карман ключи, побежал по проулку.

Давыдов не спеша подходил к амбарам. Толпа несколько приутихла, поджидая его. «Идет, вражина!» — истерично крикнула какая-то бабенка, указывая на Давыдова. Но он не спешил, на виду у всех остановился закурить, повернулся спиной на ветер, зажег спичку.

— Иди, иди! Ус-пе-ешь покурить-то!

— Ишо на том свете накуришься!

— Ключи несешь, ай нет?

— Не-се-от, небось! Чует кошка, чью мясу съела.

Попыхивая дымком, сунув руки в карманы, Давыдов подошел к передним рядам. Его самоуверенный, спокойный вид подействовал на толпу двояко: некоторые почувствовали в этой самоуверенности сознание силы и превосходства, бывших на стороне Давыдова, других внешняя спокойность его взбесила. Как град по железной крыше, застукотели выкрики:

— Ключи давай!
— Распущай колхоз!
— Катися отседова! Кой тебя... просил?!
— Давай семено̀в!
— Почему не даешь нам сеять?

Тихий ветерок поигрывал концами бабьих платков, шуршал метелками камыша на амбарных крышах, нес из степи пресный запах сохнущей земли и невыбродивший виноградный дух молодых трав. Медвяный аромат набухающих почек тополей был так приторно-сладок, что у Давыдова, когда он начал говорить, было такое ощущение, как будто губы его слипаются, и даже вкус меда ощущал он, касаясь языком нёба.

— Вы что же это, граждане, перестали подчиняться распоряжениям Советской власти? Почему это вы не дали Ярскому колхозу хлеба? А вы не думаете, что за это прийдется вам отвечать перед судом как за срыв весенней посевной кампании? Факт, что прийдется! Советская власть вам этого не простит!

— Советская власть твоя сидит у нас зараз заарестованная! Сидит, как любушка, в подвале! — ответил единоличник Добродеев Мирон, низенький хромой казачишка, намекая на арест Размётнова.

Кое-кто засмеялся, но Банник выступил вперед, гневно крикнул:

— Советская власть не так диктует, как вы тут выдумляете! Мы такой Советской власти, какую вы с Нагульновым Макаркой выдумали, не подчиняемся! Разве ж это мода, чтобы хлеборобам не давать сеять! Это что есть такое? Это есть искажение партии!

— Тебе, что ли, не даем сеять?
— А то даете?
— Ты ссыпал в общественный амбар семена?
— Ну, ссыпал.
— Получил их обратно?
— Ну, получил. Далее что?
— Кто же тебе не дает сеять? Чего ты тут возле амбаров околачиваешься?

Банник был несколько смущен неожиданным для него оборотом разговора, но он попытался вывернуться:

— Я не о себе душою болею, а об народе, какой вышел из колхоза и какому вы хлеб обратно не возвертаете и имущество не даете. Вот что! Да и мне какую вы землю отвели! Почему вдалях?

— Ступай отсюда! — не выдержал Давыдов.— С тобой

мы потом будем говорить, факт! А в колхозные дела ты не суй носа, а не то мы его тебе живо оттяпаем! Ты подстрекательством занимаешься! Ступай, говорят тебе!

Банник, бормоча угрозы, отступил, а на смену ему дружно выдвинулись бабы. Они зашумели все сразу, в один голос, не давая Давыдову и слова молвить. Он старался выиграть время, чтобы дать возможность подоспеть Любишкину с бригадой, но бабы окружили его, оглушительно крича, поддерживаемые сочувственным молчанием казаков.

Оглядываясь по сторонам, Давыдов увидел Марину Пояркову. Она стояла поодаль, скрестив на груди обнаженные по локоть могучие руки, о чем-то оживленно разговаривая с бабами, хмуря почти сомкнувшиеся над переносицей иссиня-черные брови. Давыдов уловил ее враждебный взгляд и почти тотчас же увидел около нее Якова Лукича, взволнованно, выжидательно улыбавшегося, шептавшего что-то Демиду Молчуну.

— Давай ключи! Отдай добром, слышишь?

Одна из баб схватила Давыдова за плечо, сунула руку в карман его штанов.

Давыдов с силой толкнул ее. Баба попятилась, упала на спину, притворно заголосила:

— Ой, убил, убил! Родненькие, не дайте пропасть!..

— Что же это такое? — дрожащим тенорком сказал кто-то из задних рядов толпы.— Драться, значится, начинает? А ну, толканите-ка его, чтобы у него юшка из носу брызнула!..

Давыдов шагнул было, чтобы поднять упавшую бабу, но с головы его сбили кепку, несколько раз ударили его по лицу и по спине, схватили за руки. Ворохнув плечами, он сбросил насевших на него баб, но они снова с криком вцепились в него, разорвали ворот рубахи, в несколько секунд обшарили и вывернули карманы.

— Нету у него ключей!

— Где ключи?..

— От-да-а-ай! Все одно замки пособьем!

Величественная старуха — мать Мишки Игнатенка,— сопя, пробилась к Давыдову, матерно выругалась, плюнула ему в лицо.

— Вот тебе, сатанюка, безбо-ож-ник!

Побледнел Давыдов, напряг всю силу, пытаясь освободить руки, и не смог: как видно, кто-то из казаков поспешил на помощь бабам. Ядреные заскорузлые пальцы взяли, стиснули сзади его локти, стиснули как плоскогубцы.

Тогда Давыдов перестал вырываться. Он понял, что дело зашло уж слишком далеко, что на помощь ему никто из присутствующих не выступит, а поэтому и действовать решил иначе.

— Ключей от амбаров у меня нет, граждане. Ключи хранятся...— Давыдов запнулся: он хотел сказать, что ключи не у него хранятся, но мгновенно сообразил, что, если он откажется, толпа бросится искать Демку Ушакова, наверняка найдет, и тогда Демке несдобровать,— убьют. «Скажу, что у меня на квартире, а там поищу и скажу, что потерял. Тем временем Любишкин подоспеет, а меня они убить едва ли решатся. Э, да черт их бери!» Он помолчал, вытирая плечом кровь с оцарапанной щеки, потом сказал: — Ключи у меня на квартире хранятся, но я вам их не дам, а за взлом замков вы будете отвечать по всей строгости! Так и знайте, факт!

— Веди нас на фатеру! Сами твои ключи возьмем,— наседала Игнатенкова мать.

У нее дрожали от волнения брюзглые щеки и крупная бородавка на носу, по морщинистому лицу непрестанно сыпался пот. Она первая толкнула Давыдова, и тот охотно, но медленно зашагал по направлению к своей квартире.

— Да там ли ключи-то? Может, ты запамятовал? — допытывалась Авдотья, жена Банника.

— Там, там, тетушка! — уверял Давыдов, наклоняя голову, пряча улыбку.

Четыре бабы держали его за руки, пятая шла позади с здоровенным колом в руках; с правой стороны, вся сотрясаясь, шагала крупным мужским шагом Игнатенкова старуха, а по левую сторону, разбившись на группки, валили бабы. Казаки остались дожидаться ключей около амбаров.

— Руку пустите, тетушка. Я не убегу,— просил Давыдов.

— А чума тебя знает, как раз ишо и убежишь.

— Да нет же!

— Иди при нас, так нам спокойнее.

Дошли до квартиры; повалив хворостяные воротца и плетень, вломились во двор.

— Иди, неси ключи. А не принесешь — зараз кликнем казаков, они тебе враз вязы набок своротют!

— Ох, тетушки, скоро вы Советскую власть позабыли. А она вам за это не спустит!

— Семь бед — один ответ! Что нам, не сеямши, к осени

с голоду пухнуть, что зараз отвечать,— все едино! А ты иди-кася, иди!

Давыдов вошел в свою комнату; зная, что за ним подсматривают, сделал вид, будто старательно ищет. Он перерыл все в чемодане и на столе, перетряс все бумаги, слазил под койку и под кривоногий стол...

— Нету ключей,— заявил он, появляясь на крыльце.

— А где же они?

— Наверное, у Нагульнова.

— Да ить он же уехал!

— Мало ли что! Сам уехал, а ключи мог оставить. Даже наверное оставил. Мы сегодня должны были хлеб отпускать на вторую бригаду.

Его повели на квартиру Нагульнова. Дорогою стали бить. Сначала лишь слегка подталкивали и ругали, а потом, ожесточившись оттого, что он все время посмеивается и шутит, начали бить уже как следует.

— Гражданочки! Дорогие мои ухажерочки! Вы хоть палками-то не бейте,— упрашивал он, пощипывая ближайших баб, а сам нагибал голову и через силу улыбался.

Его нещадно колотили по согнутой широкой и гулкой спине, но он только покрякивал, плечами шевелил и, несмотря на боль, все еще пробовал шутить:

— Бабушка! Тебе помирать пора, а ты дерешься. Дай я тебя хоть разок ударю, а?

— Идол бесчувственный! Каменюка холодная! — чуть не со слезами взголосила молоденькая Настёнка Донецкова, усердно молотившая по спине Давыдова своими маленькими, но крепкими кулачками.— Все руки об него прибила, а ему хучь бы что!..

— Палками не бить! — единственный раз сурово, сквозь стиснутые зубы, бормотнул Давыдов и выхватил из рук какой-то бабенки сухой вербовый колышек, хряпнул его об колено.

Ему до крови рассекли ухо, разбили губы и нос, но он все еще улыбался вспухшими губами, выказывая нехваток переднего зуба, неторопливо и несильно отталкивал особенно свирепо наседавших баб. Страшно досаждала ему Игнатенкова старуха с гневно дрожавшей бородавкой на носу. Она била больно, норовила попасть либо в переносицу, либо в висок и била не так, как остальные, а тыльной стороной кулака, костяшками сжатых пальцев. Давыдов на ходу тщетно поворачивался к ней спиной. Она, сопя, расталкивала баб, забегала ему наперед, хрипела:

— Дай-кася, я его по сусалу! По сусалу!

«Н-н-ну, подожди, чертова жаба,— с холодным бешенством думал Давыдов, уворачиваясь от удара,— как только покажется Любишкин, я тебя так садану, что ты у меня винтом пойдешь!»

Любишкина с верховыми все не было. Подошли к квартире Нагульнова. На этот раз вместе с Давыдовым вошли в комнату и бабы. Они все перерыли, пораскидали бумаги, книги, белье, даже у хозяев и то искали ключи. Разумеется, не нашли, вытолкали Давыдова на крыльцо.

— Где ключи? Убьем!

— У Островнова,— отвечал Давыдов, вспомнив стоявшего в толпе у амбаров, злорадно улыбавшегося завхоза.

— Брешешь! Мы у него уж пытали! Он сказал, что у тебя должны быть ключи!..

— Гражданочки! — Давыдов потрогал пальцами чудовищно распухший нос, тихо улыбнулся: — Гражданочки! Совершенно напрасно вы меня били... Ключи лежат в правлении, в моем столе, факт. Теперь я точно припоминаю.

— Да ты смеешься над нами! — взвизгнула подоспевшая от амбаров Екатерина Гулящая.

— Ведите туда. Какой может быть смех? Только, пожалуйста, без драки!

Давыдов сошел с крыльца. Его мучила жажда, одолевала бессильная ярость. Били его не раз, но женщины били впервые, и от этого было ему как-то не по себе. «Только бы не свалиться, а то озвереют и — чего доброго — заклюют до смерти. Вот глупая смерть-то будет, факт!» — думал он, с надеждой устремляя глаза на бугор. Но не схватывалась на шляху пыльца, взвихренная конскими копытами, не показывались рассыпанные лавой всадники. В безлюдье пустовал бугор, простираясь до дальнего кургана на горизонте... Так же пустынны были улицы. Все собрались возле амбаров, оттуда доносилось тугое громыхание множества голосов.

Пока дошли до правления, Давыдова избили столь изрядно, что он еле держался на ногах. Он уже не шутил, а все чаще спотыкался на ровном, все чаще хватался за голову и, бледнея, глухо просил:

— Хватит! Убьете ведь. По голове не надо... Нету у меня ключей! До ночи буду водить, а ключей нету... Не отдам!

— А-а-а-а, до ночи?! — стонали разъяренные бабы и снова пиявками присасывались к обессилевшему Давыдову, царапали, били и даже кусали.

Возле самого двора колхозного правления Давыдов сел на дорогу. Парусиновая рубаха его была в крови, короткие городские штаны (с бахромой внизу от ветхости) разорваны на коленях, из распахнутого ворота высматривала смуглая татуированная грудь. Он тяжело, с сапом дышал и выглядел жалко.

— Иди, су-ки-и-ин ты сын!.. — Игнатенкова старуха топала ногами.

— За вас же, сволочей!..— неожиданно звонко сказал Давыдов и повел по сторонам странно посветлевшими глазами.— Для вас же делаем!.. И вы меня же убиваете... Ах, сво-ло-чи! Не дам ключей. Понятно? Факт, не дам! Ну?

— Бросьте вы его!..— закричала подбежавшая девка.— Казаки уже замки посбили и хлеб делют!

Бабы кинули Давыдова около правленческих ворот, побежали к амбарам.

Встал он с огромнейшим усилием, зашел во двор, вынес на крыльцо цибарку со степлившейся водой, долго пил, а потом стал лить воду на голову. Кряхтя, смыл кровь с лица и шеи, вытерся висевшей на перильце попонкой и присел на порожек.

Во дворе не было ни души. Где-то потревоженно кудахтала курица. На крыше скворешни выщелкивал, запрокинув голову, вороной жаворонок. Со степи слышно было, как посвистывали суслики. Негустая ступенчатая грядина лиловых облачков застилала солнце, но, несмотря на это, в воздухе висела такая томящая духота, что даже воробьи, купавшиеся посреди двора в куче золы, лежали недвижно, вытянув шейки, изредка трепыхая крохотными веерками распущенных крылышек.

Заслышав глухой, мягкий грохот копыт, Давыдов поднял голову: в ворота на полном карьере влетел оседланный вислозадый буланый конишка. Он круто повернулся, взрыл задними ногами землю, с храпом околесил двор, роняя со стёгнов на жаркую землю белые, пышные шмотья мыла. Возле конюшенных дверей остановился, обнюхал помост.

Нарядная, отделанная серебром уздечка на нем была оборвана, концы поводов болтались, седло сбилось на самую холку, а лопнувшие ремни нагрудника свисали до земли, касаясь исчерна-лиловых раковин копыт. Он тяжело

носил боками, раздувал розоватые ноздри; в золотистой челке его и в спутанных космах гривы понастряли комья бурых прошлогодних репьев.

Давыдов с удивлением смотрел на коня. В это время тягуче скрипнула дверь сеновала и наружу просунулась голова деда Щукаря. Немного погодя и сам он вышел, с величайшими предосторожностями отворив дверь, пугливо озираясь по сторонам.

Сенная труха густо крыла мокрую от пота рубаху Щукаря, в клочкастой бороденке торчали обзерненные головки пырея, пересохшие травяные былки и листья, желтая осыпь донника. Лицо деда Щукаря было вишнево-красно, печать безмерного испуга лежала на нем, по вискам на бороду и щеки стремился пот...

— Товарищ Давыдов! — просящим шепотом заговорил он, на цыпочках подойдя к крыльцу.— Схоронитесь вы, заради господа бога! Уж раз зачали нас громить, значится дело вот-вот подходит к смертоубийству. До чего вас разможжили — лица не призначишь! Я в сене спасался... Духотища там — мочи нету, весь я пòтом изошел, но зато спокойнее для души, ей-богу! Давайте перегодим трошки эту смуту, вместе схоронимся, а? Одному как-то ужасно пребывать... Ну, какой нам интерес смерть принимать, за-ради чего — неизвестно. Вы послухайте, как бабы гудут, как шершеня, в рот им клёп! Вот и Нагульнова, как видно, ухандокали. Ить это его конь прибег... На этом маштачке он в станицу ноне бегал. Он утром под ним спотыкнулся в воротах, а я ишо тогда ему сказал: «Вернись, Макар, примета дюже плохая!» Но ить он разве ж когда послухает знающего человека? Сроду нет! Все на свой хряп норовит, вот и убили. А коли воротился бы, то мог бы за мое почтение прихорониться.

— Так, может быть, он теперь дома? — нерешительно спросил Давыдов.

— До-о-ма? А почему конь порожнем прибег и храпит, как мертвежину чует? Мне эти приметы довольно даже известные! Ясное дело: возвернулся он из района, видит, что возле амбаров хлеб громят, ну, сказал суперечь, не стерпело его горячее сердце, ну и убили человека...

Давыдов молчал. Около амбаров по-прежнему стон стоял от многоголосого говора, слышался скрип арб и татакающий перестук бричечных колес.

«Хлеб увозят...— подумал Давыдов.— А действительно, что же с Макаром? Неужели убили? Пойду!» Он поднялся.

Дед Щукарь, думая, что Давыдов решил схорониться вместе с ним на сеновале, засуетился:

— Пойдемте, пойдемте от греха! А то ишо кого-нибудь черт занесет сюда, узрят нас с вами и наведут нам трубу. Это они в один секунд сработают. А на сеновале очень даже прекрасно. Дух от сена легкий, веселый, я бы там месяц пролежал, кабы харчишки водилися. Только вот козел меня искоренил... Убил бы вредителя, до смерти! Прослыхал я, что бабы колхоз громят и вас за хлеб дерзают: «Ну, говорю сам себе, пропадешь ты, Щукарь, ни за понюшку табаку!» Ить бабы все до одной знают, что только мы с вами, товарищ Давыдов, со дня революции на платформе и что мы и сочинили в Гремячем колхоз и Титка раскулачили. Кого им перво-наперво надо убивать? Ясное дело — меня и вас! «Плохие наши дела, думаю, надо хорониться, а то Давыдова убьют и до меня доберутся, а кто же тогда про смерть товарища Давыдова следователю будет показывать?» В один секунд пыхнул я в сено, зарылся с головой, лежу, дыхать резко и то опасаюсь. И вот слышу, кто-то лезет по сену, посверх меня... Лезет и, натурально, чихает от пыли. «Мать родимая, думаю. Не иначе, меня ищут, не иначе, за моей душой лезут». А оно все лезет себе и лезет, и вот уже на живот мне наступает... Лежу! Душа с телом от страха расстается, а я лежу, как проклятый, затем, что мне, ну, раз уже некуда податься! И вот оно наступает мне прямо на морду. Я рукой цап — копыто, и все в шерсте! Волосья на мне все наежинились, и ажник кожа начала от тела отставать... Никак не воздохну от страху! Я что подумал, ущупамши шерстяное копыто? «Черт!» — думаю. На сеновале — страшенная темень, а всякая нечисть темноту уважает. «Значится, думаю, зараз он меня зачнет кузюкать и защелыкчет до смерти... Уж лучше пущай бы бабы исказнили». Да-а-а-а, страху принял — нет числа! Будь на моем месте другой, трусого десятка парень, энтот в один секунд мог бы окочуриться от разрыва сердца и внутренностей. От скорого страха это завсегда разрывается. А я толечко похолодал трошки, а сам лежу. И вот чую, что уж дюже козлиным духом воняет... Замстило мне, что раскулаченный Титков козел на сеновале проживает, вовзят забыл про него, проклятущего! Выглянул, а это так и есть он, Титков козел, по сену лазит, шалфей ищет, полынок грызет... Ну уж тут я, конешно, привстал и зачал его утюжить. Извозил его как миленького, и за бороду и по-всякому! «Не лезь, бородатый черт, по сену, когда в хуторе бунт идет! Не топчися без толку, вонючий дьявол!» Так осерчал, что

хотел его там же смерти предать за то, что он хучь и животина, но должен разуметь, что и к чему и когда можно без толку по сену командироваться, а когда надо тихочко притаиться и сидеть... Вы куда же это, товарищ Давыдов?..

Давыдов, не отвечая, прошел мимо сеновала, направился к воротам.

— Куда вы?..— испуганно зашептал дед Щукарь.

Выглянув в полуотворенную калитку, он увидел, как Давыдов, словно подталкиваемый в спину порывистым ветром, идет по направлению к общественным амбарам неверным, но быстрым шагом.

ГЛАВА XXXIV

Сбочь дороги — могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника, угрюмо никнут к земле бурые космы татарника, по скатам, от самой вершины до подошвы, стелются пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно тусклые, выцветшие от солнца и непогоди, они простирают над древней, выветрившейся почвой свои волокнистые былки, даже весною, среди ликующего цветения разнотравья, выглядят старчески уныло, отжившие, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь, весь одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу.

Летом, вечерними зорями, на вершину его слетает из подоблачья степной беркут. Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить изогнутым клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. Как камень-самородок, недвижный и изжелта-бурый, беркут отдохнет перед вечерней ловитвой и снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь.

Куда унесут его знобящие осенние ветры? В голубые предгорья Кавказа? В Муганскую степь ли? В Персию ли? В Афганистан?

Зимою же, когда могильный курган — в горностаевой мантии снега, каждый день в голубино-сизых предрассвет-

ных сумерках выходит на вершину его старый сиводуший лисовин. Он стоит долго, мертво, словно изваянный из желто-пламенного каррарского мрамора; стоит, опустив на лиловый снег рыжее ворсистое пра́вило, вытянув навстречу ветру заостренную, с дымной черниной у пасти, морду. В этот момент только агатовый влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов, ловя жадно разверстыми, трепещущими ноздрями и пресный, все обволакивающий запах снега, и неугасимую горечь убитой морозами полыни, и сенной веселый душок конского помета с ближнего шляха, и несказанно волнующий, еле ощутимый аромат куропатиного выводка, залегшего на дальней бурьянистой меже.

В запахе куропаток так много плотно ссученных оттенков, что лисовину, для того чтобы насытить нюх, надо сойти с кургана и проплыть, не вынимая из звездно искрящегося снега ног, волоча покрытое сосульками, почти невесомое брюшко по верхушкам бурьяна, саженей пятьдесят. И только тогда в крылатые черные ноздри его хлынет обжигающая нюх пахучая струя: терпкая кислота свежего птичьего помета и сдвоенный запах пера. Влажное от снега, соприкасающееся с травой перо лучит воспринятую от травы горечь полынка и прогорклый душок чернобыла, это — сверху, а от синего пенька, до половины вонзающегося в мясо, исходит запах теплой и солонцеватой крови...

...Точат заклёклую насыпную землю кургана суховеи, накаляет полуденное солнце, размывают ливни, рвут крещенские морозы, но курган все так же нерушимо властвует над степью, как и много сотен лет назад, когда возник он над прахом убитого и с бранными почестями похороненного половецкого князя, насыпанный одетыми в запястья смуглыми руками жен, руками воинов, родичей и невольников...

Стоит курган на гребне в восьми верстах от Гремячего Лога, издавна зовут его казаки Смертным, а предание поясняет, что под курганом когда-то, в старину, умер раненый казак, быть может тот самый, о котором в старинной песне поется:

...Сам огонь крысал шашкой вострою,
Разводил, раздувал полынь-травушкой.
Он грел, согревал ключеву воду,
Обливал, обмывал раны смертные:
«Уж вы, раны мои, раны, кровью изошли,
Тяжелым-тяжело к ретиву сердцу пришли!..»

...Верст двадцать от станицы Нагульнов проскакал наметом и остановил своего буланого маштака лишь около Смертного кургана. Спешился, ладонью сгреб с конской шеи пенное мыло.

Необычная для начала весны раскохалась теплынь. Солнце калило землю, как в мае. Над волнистым окружием горизонта, дымное, струилось марево. С дальнего степного пруда ветер нес гусиный гогот, разноголосое кряканье уток, стенящий крик куликов.

Макар разнуздал коня, привязал повод уздечки к его передней ноге, ослабил подпруги. Конь жадно потянулся к молодой траве, попутно обрывая выгоревшие метелки прошлогоднего пырея.

Над курганом с тугим и дробным свистом пронеслась стайка свиязей. Они снизились над прудом. Макар бездумно следил за их полетом, видел, как свиязи камнями попадали в пруд, как вскипела распахнутая ими вода возле камышистого островка. От плотины тотчас же поднялась станица потревоженных казарок.

Степь мертвела в безлюдье. Макар долго лежал у подножия кургана. Вначале он слышал, как неподалеку фыркал, переступал конь, звякая удилами, а потом конь сошел в лог, где богаче была травяная поросль, и стала вокруг такая тишина, какая бывает лишь позднею глухою осенью в покинутой людьми отработанной степи.

«Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и с Давыдовым, надену шинель, в какой пришел с польского фронта, и застрелюсь. Больше мне нету в жизни привязы! А революция от этого не пострадает. Мало ли за ней народу идет? Одним меньше, одним больше...— равнодушно, словно о ком-то постороннем, думал Макар, лежа на животе, рассматривая в упор спутанные ковыльные нити.— Давыдов, небось, будет говорить на моей могиле: «Хоть Нагульнова и исключили из партии, но он был хорошим коммунистом. Его поступок самоубийства мы не одобряем, факт, но дело, за которое он боролся с мировой контрреволюцией, мы доведем до конца!» И с необыкновенной яркостью Макар представил себе, как довольный, улыбающийся Банник будет похаживать в толпе, оглаживать свои белесые усы, говорить: «Один натянулся, ну, и слава богу! Собаке — собачья смерть!»

— Так нет же, гадючья кровь! Не застрелюсь! Доведу вас, подобных, до точки! — скрипнув зубами, вслух сказал Макар и вскочил на ноги, будто ужаленный. Мысль о Баннике перевернула его решение, и он, разыскивая

глазами коня, уже думал: «Ни черта! Сначала вас всех угроблю, а после уж и я выйду в расход! Торжествовать вам над моею смертью не придется! А Корчжинский, что же, его слово остатнее, что ли? Отсеемся — и махну в окружком. Восстановят! В край поеду, в Москву!.. А нет — так и беспартийным буду сражаться с гадами!»

Посветлевшими глазами оглядел он распростертый окрест его мир. Ему уже казалось, что положение его вовсе не такое непоправимое и безнадежное, каким представлялось несколько часов назад.

Торопливо направился в лог, куда ушел конь. Потревоженная его шагами, из бурьянов на сувалке поднялась щенная волчица. Мгновение она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека, потом заложила уши, поджала хвост и потрусила в падúну. Черные оттянутые сосцы ее вяло болтались под впалым брюхом.

Едва Макар стал подходить к коню, как тот норовисто махнул головой. Повод, привязанный к ноге, лопнул.

— Тррр! Васек! Васек! Тррр, стой! — вполголоса уговаривал Макар, пытаясь сзади подойти к взыгравшему маштаку, ухватиться за гриву или стремя.

Помахивая головой, буланый прибавлял шагу, косился на седока. Макар побежал рысью, но конь не допустил его, взбрыкнул и ударился через шлях по направлению к хутору стремительным гулким наметом.

Макар выругался, пошел следом за ним. Версты три шагал бездорожно, направляясь к видневшейся около хутора зяби. Из нèкоси поднимались стрепета и спарованные куропатки, вдали, на склоне балки, ходил дудак, сторожа покой залегшей самки. Охваченный непоборимым стремлением соития, он веером разворачивал куцый рыжий хвост с белесо-ржавым подбоем, распускал крылья, чертя ими сухую землю, ронял перья, одетые у корня розовым пухом...

Великая плодотворящая работа вершилась в степи: буйно росли травы, понимались птицы и звери, лишь пашни, брошенные человеком, немо простирали к небу свои дымящиеся паром, необсемененные ланы...

Макар шагал по высохшей комкастой зяби в ярости и гневе. Он быстро нагибался, хватал и растирал в ладонях землю. Черноземный прах, в хрушких волокнах умерщвленных трав, был сух и горяч. Зябь перестаивалась. Требовалось, не медля ни часу, пустить по заклёклой дернистой верхушке в три-четыре следа бороны, разодрать

железными зубьями слежалую почву, а потом уже гнать по рыхлым бороздам сеялки, чтобы падали поглубже золотистые зерна пшеницы.

«Припозднились! Загубим землю! — думал Макар, с щемящей жалостью оглядывая черные, страшные в своей наготе, необработанные пашни.— День-два — и пропала зябь. Земля ить как кобыла: течка у ней — спеши покрывать, а пройдет эта пора — и на дух не нужен ей жеребец. Так и человек земле... Все, окромя нас, людей,— чистое в этих делах. И животина всякая, и дерево, и земля пору знают, когда им надо обсеменяться, а люди... а мы — хуже и грязней самой паскудной животины! Вот не едут сеять через то, что собственность в них на дыбки встала... Проклятые! Прийду зараз и всех выгоню нá поля! Всех, до одного!»

Он все убыстрял шаги, кое-где переходя на рысь. Из-под шапки его катился пот, рубаха на спине потемнела, губы пересохли, а на щеках все ярче проступал нездоровый, плитами, румянец...

ГЛАВА XXXV

Он вошел в хутор, когда дележ семенного хлеба был в полном разгаре. Любишкин со своей бригадой все еще был в поле. Около амбара шла давка. На весы в спешке кидали мешки с зерном, непрерывно подъезжали подводы, казаки и бабы несли хлеб в чувалах, в мешках, в завесках, рассыпанное зерно густо устилало землю и амбарные сходцы...

Нагульнов сразу понял, в чем дело. Расталкивая хуторян, пробился к весам.

Вешал и отпускал хлеб бывший колхозник Батальщиков Иван, ему помогал мухортенький Аполлон Песковатсков. Ни Давыдова, ни Размётнова, ни одного из бригадиров не было около амбаров. На секунду лишь в толпе мелькнуло растерянное лицо завхоза Якова Лукича, но и тот скрылся где-то за плотно сбитыми арбами.

— Кто дозволил хлеб разбирать? — крикнул Макар, оттолкнул Батальщикова, становясь на весы.

Толпа молчала.

— Кто тебя уполномочил хлеб вешать? — не снижая голоса, спросил Макар у Батальщикова.

— Общество...

— Где Давыдов?..

— Я за ним не ходил!

— Правление где? Правление дозволяло?

Демид Молчун, стоявший возле весов, улыбнулся, вытер рукавом пот. Громовитый бас его прозвучал уверенно и простодушно:

— Мы сами, без правления дозволили. Сами берем!

— Сами?.. Вот как?! — Нагульнов в два прыжка очутился на приклетке амбара, ударом кулака сшиб стоявшего на порожке парня, резко захлопнул дверь и крепко прислонился к ней спиною.— Расходись! Хлеб не даю! Всех, кто сунется к амбару, объявляю врагами Советской власти!..

— Ого! — насмешливо сказал Дымок, помогавший кому-то из соседей нагружать хлебом бричку.

Появление Нагульнова было для большинства неожиданностью. До его отъезда в районный центр по Гремячему упорные ходили слухи, что Нагульнова будут судить за избиение Банника, что его снимут с должности и наверняка посадят... Банник, с утра еще прослышавший об отъезде Макара, заявил:

— Нагульнову больше не ворочаться! Прокурор мне самому сказал, что его пришкребут по всей строгости! Нехай почухается Макарка! Вышибут его из партии — тогда будет знать, как хлебороба бить. Зараз — не старые права!

Поэтому-то появление Макара возле весов и было встречено такой растерянной, недоумевающей тишиной. Но после того как он кинулся от весов на приклеток амбара и стал, заслонив собою дверь, настроение большинства сразу определилось. Вслед за Дымковым возгласом посыпались крики:

— У нас зараз своя власть!

— Народная!

— Покличьте его, ребяты!

— Ступай, откель пришел!

— Рас-по-ря-ди-тель, под такую...

Первым пошел было к амбару Дымок, молодецки шевеля плечами, с улыбкой поглядывая назад. За ним нерешительно тронулось еще несколько казаков. Один из них на ходу поднял с земли камень...

Нагульнов неторопливо вытащил из кармана шаровар наган, взвел курок. Дымок остановился, замялся в нерешительности. Остановились и остальные. Вооружившийся увесистым камнем повертел его в руках, бросил в сторону.

Все знали, что уж если Нагульнов взвел курок, то при необходимости он не задумается его спустить. И Макар это подтвердил незамедлительно:

— Семь гадов убью, а уж тогда в амбар войдете. Ну, кто первый? Подходи!

Охотников что-то не находилось... На минуту наступило общее замешательство. Дымок что-то обдумывал, не решаясь идти к амбару. Нагульнов, опустив наган дулом вниз, крикнул:

— Расходись!.. Расходись зараз же, а то стрелять зачну!..

Не успел он окончить фразы, как над головой его с громом ударился о дверь железный шкворень. Друг Дымка, Ефим Трубачев, бросил его, целя Макару в голову, но, увидев, что промахнулся, проворно присел за арбу. Нагульнов принимал решения, как в бою: увернувшись от камня, брошенного из толпы, он выстрелил вверх и тотчас же сбежал с приклетка. Толпа не выдержала: опрокидывая друг друга, передние бросились бежать, захрястели дышла бричек и арб, дурным голосом взвыла поваленная казаками бабенка.

— Не бегай! У него только шесть патронов осталось! — воодушевлял и останавливал бегущих появившийся откуда-то Банник.

Макар снова вернулся к амбару, но он не взошел на приклеток, а стал около стены с таким расчетом, чтобы в поле его зрения были все остальные амбары.

— Не подходи! — закричал он снова подступавшим к весам Дымку, Трубачеву и другим.— Не подходи, ребята! Перебью!

Из толпы, расположившейся шагах в ста от амбаров, выступили Батальщиков Иван, Атаманчуков и еще трое выходцев. Они решили действовать хитростью. Подошли шагов на тридцать. Батальщиков предупреждающе поднял руку:

— Товарищ Нагульнов! Обожди, не подымай оружию.

— Чего вам надо? Расходись, говорю!

— Зараз разойдемся, но ты занапрасну горячку порешь... мы хлеб с изволения берем...

— С чьего это изволения?

— Из округа приехал какой-то... Ну, из окрисполкома, что ли, и он нам дозволил.

— А где же он? Давыдов где? Размётнов?

— Они в правлении заседают.

— Брешешь, стерва!.. Отходи от весов, говорят тебе! Ну?..— Нагульнов согнул в локте левую руку, положил на нее белый, потерявший от старости вороненье ствол нагана.

Батальщиков безбоязненно продолжал:

— Не веришь нам — пойди сам, погляди, а нет — мы их зараз сюда приведем. Брось грозить оружием, товарищ Нагульнов, а то плохо будет! Ты противу кого идешь? Противу народа! Противу всего хутора!

— Не подходи! Не трогайся дальше! Ты мне не товарищ! Ты — контра, раз ты хлеб государственный грабишь!.. Я вам не дам Советскую власть топтать ногами.

Батальщиков хотел было что-то сказать, но в этот момент из-за угла амбара показался Давыдов. Страшно избитый, весь в синяках, царапинах и кровоподтеках, он шел неверным, спотыкающимся шагом. Нагульнов глянул на него и кинулся к Батальщикову с хриплым криком: «А-а-а, гад! Обманывать?.. Бить нас?!»

Батальщиков и Атаманчуков побежали. Нагульнов два раза стрелял по ним, но промахнулся. Дымок в стороне ломал из плетня кол, остальные, не отступая, глухо взроптались.

— Не дам... топтать... ногами... Советскую власть!..— сквозь стиснутые зубы рычал Макар, бегом направляясь на толпу.

— Бей его!

— Хучь бы ружьишко какое-нибудь было! — стонал в задних рядах Яков Лукич, всплескивая руками, проклиная так некстати исчезнувшего Половцева.

— Казаки!.. Берите его, храброго, до рук!..— звучал негодующий, страстный голос Марины Поярковой. Она выталкивала казаков навстречу бегущему Макару, с ненавистью спрашивала, хватая Демида Молчуна за руки: — Какой же ты казак?! Боишься?!

И вдруг толпа раскололась, хлынула в стороны, врозь, навстречу Макару...

— Милиция!!! — в диком страхе крикнула Настёнка Донецкова.

С бугра, рассыпавшись лавой, намётом спускалось в хутор человек тридцать всадников. Под лошадьми их легкими, призрачными дымками вспыхивали клубы вешней пыли...

Через пять минут на опустевшей площади возле амбаров остались только Давыдов с Макаром. Грохот конских

копыт стлался все ближе. На выгоне показались всадники. Впереди на лапшиновском иноходце скакал Любишкин Павло, по правую руку от него вооруженный дубиной, рябой и страшный в своей решимости Агафон Дубцов, а позади в беспорядке, на разномастных лошадях,— колхозники второй и третьей бригад...

К вечеру из района приехал вызванный Давыдовым милиционер. Батальщикова Ивана, Аполлона Песковатскова, Ефима Трубачева и еще нескольких «активистов» из выходцев он арестовал в поле. Игнатенкову старуху — на дому. Всех их направил с понятыми в район... Дымок сам явился в сельсовет.

— Прилетел, голубь? — торжествующе спросил Размётнов.

Усмешливо поглядывая на него, Дымок ответил:

— Явился. Зараз уж нечего в похоронки играть, ежели перебор вышел...

— Какой перебор? — Размётнов нахмурился.

— Ну, какой бывает перебор, когда в очко играешь? Не вышло двадцать одно — вот и перебор! Мне куда зараз деваться?

— В район пойдешь.

— А милиционер где?

— Зараз приедет, не скучай дюже! Нарсуд тебя выучит, как председателей бить! Нарсуд тебе с недобором пропишет!..

— Уж это конешно! — охотно согласился Дымок и, зевая, попросил: — Спать мне охота, Размётнов. Отведи меня в сарай да примкни, покеда милиционер явится, а я сосну. Примкни, пожалуйста, а то во сне убегу.

На следующий день приступили к сбору расхищенного семенного хлеба. Макар Нагульнов ходил по дворам, хозяева которых вчера брали хлеб; не здороваясь, отводя глаза в сторону, сдержанно спрашивал:

— Брал хлеб?

— Брал...

— Привезешь обратно?

— Прийдется отвезть...

— Вези,— и с тем, не прощаясь, выходил из куреня.

Многие из выходцев взяли семенного хлеба больше, чем раньше ссыпали. Раздача производилась на основании опроса. «Сколько засыпал пшеницы?» — спрашивал нетерпеливо Батальщиков. «По семь пудов на два круга».— «Неси мешки на весы!»

А на самом деле получавший засыпал при сборе семфонда на семь — четырнадцать пудов меньше. Кроме этого, пудов сто, не вешавши, растащили бабы в завесках и сумках.

К вечеру пшеница была собрана целиком, за вычетом нескольких пудов. Не хватало лишь пудов двадцати ячменя да нескольких мешков кукурузы. Вечером же полностью роздали семена, принадлежавшие единоличникам.

Хуторское собрание в Гремячем началось затемно. Давыдов, при небывалом стечении народа в школе, говорил:

— Это что означает вчерашнее выступление недавних колхозников и части единоличников, граждане? Это означает, что они качнулись в сторону кулацкого элемента! Это факт, что они качнулись в сторону наших врагов. И это позорный факт для вас, граждане, которые вчера грабительски тянули из амбаров хлеб, топтали дорогое зерно в землю и расхищали в завесках. Из вас, граждане, шли несознательные возгласы, чтобы женщины меня били, и они меня били всем, чем попадя, а одна гражданка даже заплакала оттого, что я виду слабости не подавал. Я про тебя говорю, гражданочка! — И Давыдов указал на Настёнку Донецкову, стоявшую у стены, суетливо закутавшую головным платком лицо, едва лишь Давыдов начал говорить.— Это ты меня гвоздила по спине кулаками и сама же плакала от злости и говорила: «Бью, бью его, а он, идол, как каменный!»

Закутанное лицо Настёнки горело огнем великой стыдобы. Все собрание смотрело на нее, а она, потупившись от смущения и неловкости, только плечами шевелила, вытирая спиной побелку стены.

— Закрутилась, гада, как ужака под вилами! — не вытерпел Демка Ушаков.

— Всю стену спиной обтерла! — поддержал его рябой Агафон Дубцов.

— Не вертися, лупоглазая! Умела бить — умей собранию и в глаза глядеть! — рычал Любишкин.

Давыдов неумолимо продолжал, но на разбитых губах его уже заскользила усмешка, когда он говорил:

— ...Ей хотелось, чтобы я на колени стал, пощады попросил, ключи от амбаров ей отдал! Но, граждане, не из такого мы — большевики — теста, чтобы из нас кто-нибудь мог фигуры делать! Меня в гражданскую войну юнкера били, да и то ничего не выбили! На коленях больше-

вики ни перед кем не стояли и никогда стоять не будут, факт!

— Верно! — Вздрагивающий, взволнованный голос Макара Нагульнова прозвучал задушевно и хрипло.

— ...Мы, граждане, сами привыкли врагов пролетариата ставить на колени. И мы их поставим.

— И поставим в мировом масштабе! — снова вмешался Нагульнов.

— ...и в мировом масштабе проделаем это, а вы вчера к этому врагу качнулись и оказали ему поддержку. Как считать, граждане, такое выступление, когда замки с амбаров посбивали, меня избили, а Размётнова сначала связали, посадили в подвал, а потом повели в сельсовет и по пути на него хотели крест надеть? Это — прямое контрреволюционное выступление! Арестованная мать нашего колхозника Игнатенка Михаила кричала, когда вели Размётнова: «Анчихриста ведут! Сатану преисподнюю!..» — и хотела при помощи женщин надеть на шею нательный крест на шнурке, но наш товарищ Размётнов, как и следует коммунисту, не мог на такое издевательство согласиться! Он фактически говорил и женщинам и вредным старухам, которые одурманены поповщиной: «Гражданки! Я не православный, а коммунист! Отойдите с крестом прочь!» Но они продолжали приставать и только тогда оставили его в покое, когда он перекусил шнурок зубами и активно начал отбиваться ногами и головой. Это что такое, граждане? Это прямая контрреволюция! И народный суд жестоко осудит подобных издевателей, как мать того же Игнатенка Михаила.

— Я за свою матерю не ответчик! Она сама имеет голос гражданства, пущай она и отвечает! — крикнул Мишка Игнатенок из передних рядов.

— Так я про тебя и не говорю. Я говорю про тех типов, какие вопили против закрытия церквей. Им не нравилось, когда церкви закрывали, а как сами принудительно хотели надеть крест на шею коммунисту,— так это ничего! Ну и здорово же они разоблачили свое лицемерие! Те, что были зачинщиками этих беспорядков и кто активно выступал,— арестованы, но остальные, поддавшиеся на кулацкую удочку, должны опомниться и понять, что они упали в заблуждение. Это я фактически говорю... В президиум неизвестный гражданин бросил записочку, в ней спрашивается: «Верно ли, что все, забиравшие хлеб, будут арестованы с конфискацией имущества и сосланы?» Нет, это неверно, граждане! Большевики не мстят, а беспощадно

карают только врагов; но вас, хотя вы и вышли из колхоза, поддавшись уговорам кулаков, хотя вы и расхитили хлеб и били нас,— мы не считаем врагами. Вы — качающиеся середняки, временно заблужденные, и мы к вам административных мер применять не будем, а будем вам фактически открывать глаза.

По школе прокатился сдержанный рокот голосов. Давыдов продолжал:

— И ты, гражданочка, не бойся, раскутай лицо, никто тебя не тронет, хотя ты меня и здорово колотила вчера. Но вот если выедем завтра сеять и ты будешь плохо работать, то уж тогда я всыплю тебе чертей, так и знай! Только уж бить я буду не по спине, а ниже, чтобы тебе ни сесть, ни лечь нельзя было, прах тебя возьми!

Несмелый смешок окреп, а пока докатился до задних рядов, вырос в громовитый, облегчающий хохот.

— ...Поволынили, граждане, и будет! Зябь перестаивается, время уходит, надо работать, а не валять дурака, факт! Отсеемся — тогда можно будет и подраться и побороться... Я вопрос ставлю круто: кто за Советскую власть — тот завтра едет в поле, кто против — тот пускай семечки лущит. Но кто не поедет завтра сеять, у того мы — колхоз — землю заберем и сами засеем!

Давыдов отошел от края сцены, сел за стол президиума, и, когда потянулся к графину, из задних рядов, из сумеречной темноты, озаренной оранжевым светом лампы, чей-то теплый и веселый басок растроганно сказал:

— Давыдов, в рот тебе печенку! Любушка Давыдов!.. За то, что зла на сердце не носишь... зла не помнишь... Народ тут волнуется... и глаза некуда девать, совесть зазревает... И бабочки сумятются... А ить нам вместе жить... Давай, Давыдов, так: кто старое помянет — тому глаз вон! А?

* * *

Наутро пятьдесят выходцев подали заявление с просьбой о принятии в колхоз. Единоличники и все три бригады гремяченского колхоза зарею выехали в степь.

Любишкин предложил было оставить охрану около амбаров, но Давыдов усмехнулся:

— Теперь, по-моему, не надо...

За четыре дня колхоз засеял почти половину своего зяблевого клина. Третья бригада второго апреля перешла

на весновспашку. За все это время Давыдов лишь раз был в правлении. Он кинул в поле всех способных к труду и даже деда Щукаря временно отстранил от обязанностей конюха, послал во вторую бригаду, а сам с рассветом уезжал на участки бригад и возвращался в хутор за полночь, когда по базам уже начиналась побудняя перекличка кочетов.

ГЛАВА XXXVI

На затравевшем дворе колхозного правления было тихо, как на выгоне за хутором. Под полуденным солнцем ржавые черепицы амбарной крыши тепло и тускло блестели, но в тени сараев, на примятой траве еще висели литые, тяжелые зерна дымчато-сиреневой росы.

Обчесанная, безобразная в своей худобе овца стояла среди двора, раздвинув захлюстанные ноги, а рядом, припав на колени, проворно толкала вымя белошерстая, как мать, ярка.

Любишкин въехал во двор верхом на маленькой подсосной кобыленке. Проезжая мимо сарая, он озлобленно хлестнул плетью козленка, смотревшего на него с крыши зелеными, дьявольскими глазами, буркнул:

— Все бы ты верхолазничал, разнечистый дух! Кызь отседова!

Зол и хмур был Любишкин. Он прискакал из степи и, не заезжая домой, направился в правление. За его мухортенькой кобылкой, глухо побрякивая привязанным к шее балабоном, неся пушистый хвост наотлет, бежал тонконогий, с утолщенными бабками жеребенок. По росту Любишкина кобыла была так мала, что распущенная стременная скошевка болталась чуть не ниже ее колен; казалось, что согбенный всадник, как в сказке, несет ледащую лошаденку промеж своих богатырских ног... Демка Ушаков, смотревший на Любишкина с крыльца, развеселился.

— Ты вроде как Исус Христос, въезжающий в Ерусалим на осляти... До смерти похоже!

— Сам ты ослятя! — огрызнулся Любишкин, подъезжая к крыльцу.

— Ноги-то подбери, а то ты ими землю пашешь!

Любишкин, не удостаивая Демку ответом, спешился, обмотал повод вокруг перильца, сурово спросил:

— Давыдов тут?

— Тут. Сидит, скучает, тебя увидать не чает. Третьи сутки не жрет, не пьет, одно гутарит: «Где мой незабвенный Павло Любишкин? Жизни без него решаюся, и белый свет мне не мил!»

— Поговори-ка у меня ишо! Поговори! Наступлю вот на язык.

Демка покосился на любишкинскую плеть, умолк, а Любишкин потопал в курень.

Давыдов с Размётновым и представительницами женского собрания только что окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. Любишкин подождал, пока бабы вышли, подвинулся к столу. От ситцевой рубахи его, распоясанной и запыленной на лопатках, дохнуло потом, солнцем и пылью...

— Приехал я с бригады...

— Чего приехал? — Давыдов пошевелил бровями.

— Ничего не выходит! Осталося у меня к труду способных двадцать восемь человек, и энти не хотят работать, злодырничают... Никакой управы на них не найду. Зараз работает у меня двенадцать плугов. Плугатарей насилу собрал. Один Кондрат Майданников ворочает, как бык, а что Аким Бесхлебнов, Куженков Самоха или эта хрипатая заноза, Атаманчуков, и другие, то это горючие слезы, а не плугатари! Как, скажи, они сроду за чапиги не держались! Пашут абы как. Гон пройдут, сядут курить, и не спихнешь их.

— Сколько выпахиваете в день?

— Майданников и я по три четверти подымаем, а энти... кругом по полдесятины. Ежели так будем пахать, к покрову прийдется кукурузку-то сеять.

Давыдов в молчании постучал донышком карандаша по столу, вкрадчиво спросил:

— Так ты чего приехал? Чтобы мы тебе слезы утерли? — и злобно заиграл глазами.

Любишкин ощетинился:

— Я не со слезьми приехал! Ты мне людей давай да плугов прибавь, а шутки вышучивать я и без тебя умею!

— Шутить-то ты умеешь, факт, а вот работу поставить — гайка у тебя слаба! Тоже, бри-га-дир! Управы не найдет на лодырей! Факт, что ты не найдешь, если дисциплину распустил и всякую терпимость веры развел!

— Ты ее найди, дисциплину-то! — повысил голос вспотевший от волнения Любишкин.— Всему делу голова

там — Атаманчуков. Он мне народ мутит, подбивает выходить из колхоза, а начни его, стерву, выкидывать,— он и других за собой потянет. Да что ты, Семен Давыдов, на самом деле, смеешься надо мной, что ли? Каких-то калек да хворых навешал на меня и работу норовишь спрашивать? Куда я того же деда Щукаря дену? Его, черта, балабона, на бахчу становить в неподвижность, замест чучела грачей пужать, а вы мне его вперли в бригаду, навязали, как на цыгана матерю! Куда он гож? За плугом — не может, погонычем — тоже. Голос у него воробьиный, его быки и за человека не считают, ничуть не пужаются! Повиснет на налыгаче, чертяка клешнятый, а пока гон пройдет — раз десять упадет! То он чирик завязывает, то ляжет, ноги задерет выше головы и грызь свою вправляет. А бабы быков кинут, заиржут, зашумят: «У Щукаря грызь выпала!..» — и опрометью бегут любопытствовать, как он, Щукарь этот, грызь обратно в свое нутряное место впихивает. Ить это спектакля, а не работа! Мы уже его вчера в кашевары определили, через его грызь, но он и там негожий и вредный! Сала выдал ему затолочь в кашу, а он его слопал, а кашу пересолил и сварил с какими-то пенками... Ну, куда я его дену? — У Любишкина под черными усами бешено задрожали губы. Он поднял плеть, обнажив под мышкой вылинявшую и обопревшую от пота круговину грязной рубахи, с отчаянием сказал: — Сымите меня с бригадиров, нету моего терпежу валандаться с такими подобными: они и меня-то стреножили своей работой!..

— Ты тут сиротой не прикидывайся, факт! Мы знаем, когда тебя надо будет снять, а сейчас езжай в поле, и чтобы к вечеру было вспахано двенадцать га. А не вспашешь — не обижайся. Часа через два я приеду, проверю. Ступай.

Любишкин с громом захлопнул за собой дверь, сбежал с крыльца. Привязанная к крыльцу кобыла стояла понуро. В фиолетовых глазах ее, испещренных золотистыми крапинками, отсвечивало солнце. Поправив на голом, горячем от солнца ленчике седла разостланную дерюжку, Любишкин медленно стал садиться. Демка Ушаков, щуря глаза, язвительно выспрашивал:

— Много ли напахала ваша бригада, товарищ Любишкин?

— Тебя это не касаемо...

— То-то что не касаемо... Вот зацеплю тебя на буксир, оно и коснется!

Любишкин, поворачиваясь на седле, сжал до отека в пальцах ядреный бурый кулак, посулил:

— Только явись! Я тебе, черту косоглазому, глаза враз направлю! На затылок оборочу и задом наперед ходить научу!

Демка презрительно сплюнул:

— Лекарь нашелся! Плугатарей своих спервоначалу вылечил бы, чтоб они у тебя спорей пахали...

Любишкин, словно в атаку идучи, намётом вылетел из ворот, помчался в степь. Еще не успел заглохнуть захлебывающийся звон балабона, мотавшегося на шее жеребенка, как на крыльцо вышел Давыдов, торопливо сказал Демке:

— Я на несколько дней уеду во вторую бригаду, тебя оставляю заместителем. Проследи за устройством яслей, помоги им, в третью бригаду овса не давай, слышишь? В случае какой заминки — скачи ко мне. Понятно? Запряги-ка лошадь да скажи Размётнову, чтобы заехал за мной. Я буду на квартире.

— Может, мне бы со своими перекинуться на целину, подсобить Любишкину? — предложил было Демка, но Давыдов чертыхнулся, крикнул:

— Выдумываешь! Они сами должны управиться! Вот поеду, наломаю им хвосты, тогда они у меня, факт, что не будут по половине... пахать! Запрягай!

Размётнов подъехал к квартире Давыдова на одном из правленческих жеребцов, запряженном в дрожки. Давыдов уже ожидал, стоял возле ворот, прижав локтем небольшой узелок.

— Садись. Ты чего это, харчей набрал, что ли? — улыбнулся Размётнов.

— Белье.

— Какое белье? Зачем?

— Ну, смена белья.

— На что это?

— Да езжай ты, чего пристал? Белье взял затем, чтобы вшей не разводить, понятно? Еду в бригаду, ну вот и решил до тех пор там побыть, пока кончат пахоту. Закрой рот и трогай.

— Ты, бывает, умом не рехнулся? Что ты там будешь делать до конца пахоты?

— Пахать.

— Бросишь правление и поедешь пахать? Ну, вот это придумал!

— Езжай! Езжай! — Давыдов сморщился.

— Да ты не сепети! — Размётнов, как видно, начинал злиться.— Ты мне путем объясни: без тебя там не обойдутся или как? Ты должен руководить, а не за плугом ходить! Ты — председатель колхоза...

Давыдов яростно сверкнул глазами:

— Ну, еще!.. Учишь!.. Я сначала — коммунист, а потом уж... факт!.. а потом уж председатель колхоза! У меня пахота гибнет, а я тут буду?.. Пошел, пошел, говорят тебе!..

— Да мне-то что! Но, ты, уснул, вражина! — Размётнов вытянул кнутом жеребца.

Давыдов от неожиданного рывка откинулся назад, больно ударился локтем о дрожину; колеса мягко затарахтели по летнику [1] в степь.

На выезде из хутора Размётнов перевел жеребца на шаг, вытер рукавом шрамистый лоб.

— Ты, Давыдов, глупость сотворяешь! Ты им работу поставь на ноги и мотай назад. Это, брат, не диво, пахать-то. Хороший командир не должен в цепе идтить, а должен умно командовать, вот что я тебе скажу!

— Оставь, пожалуйста, свои примеры! Я должен их научить работать и научу, факт! Это и есть руководство! В первой и третьей бригаде кончили колосовые, а тут у меня прорыв, Любишкин не справится, как видно. А ты еще туда же: «Хороший командир», и прочее... Ну, чего ты мне очки втираешь? Что я, не видал хороших командиров, по-твоему? Тот и хорош, который в заминке своим примером ведет. И я должен повести!

— Ты бы им лучше два букаря перекинул из первой бригады.

— А людей? Людей где возьму? Погоняй, погоняй, пожалуйста!

До самого гребня ехали молча. Над степью, заслонив солнце, в зените стояла вздыбленная ветром, густо-лиловая градовая туча. Белые обочины ее клубились и снежно блистали, но черная вершина была грозна своей тяжкой недвижностью. Из провала тучи, из-за оранжевого, окрашенного солнцем края широким веером косо ниспадали солнечные лучи. Тонкие, копьеносные там, в просторном небе, они потоками расходились, приближаясь к земле, и, ложась на дальние, простертые над горизонтом грядины бурой степи, красили ее, диковинно и радостно молодили...

---

[1] Летник — летняя малоезженная дорога в степи.

Степь, задымленная тучевой тенью, молчаливо, покорно ждала дождя. Ветер кружил на шляху сизый столб пыли. Ветер уже дышал духовитой дождевой влагой. А через минуту, скупой и редкий, пошел дождь. Ядреные холодные капли вонзались в дорожную пыль, сворачивались в крохотные комочки грязи. Тревожно засвистали суслики, отчетливей зазвучал перепелиный бой, умолк накаленный страстью призывный крик стрепета. По просяной стерне хлынул низовой ветер, и стерня ощетинилась, зашуршала. Степь наполнилась сухим ропотом прошлогодних бурьянов. Под самой тучевой подошвой, кренясь, ловя распростертыми крылами воздушную струю, плыл на восток ворон. Бело вспыхнула молния, и ворон, уронив горловой баритонистый клекот, вдруг стремительно ринулся вниз. На секунду — весь осиянный солнечным лучом — он сверкнул, как охваченный полымем смоляной факел; слышно было, как сквозь оперенье его крыл со свистом и буреподобным гулом рвется воздух, но, не долетев до земли саженей полсотни, ворон круто выпрямился, замахал крыльями, и тотчас же с оглушительным, сухим треском ударил гром.

На гребне показался стан второй бригады, когда Размётнов заприметил шагавшего под изволок, навстречу им человека. Он шел бездорожно, перепрыгивая ярки, иногда переходя на старческую дробную рысь. Размётнов направил к нему жеребца и еще издали угадал деда Щукаря. По всему было видно, что со Щукарем произошло что-то неладное... Он подошел к дрожкам. Волосы на обнаженной голове его были плотно прибиты дождем, в мокрой бороденке, в бровях густо торчало разваренное пшено. Щукарь был иссиня-бледен, напуган, и у Давыдова ворохнулась тяжкая догадка: «В бригаде неладно... Волынка!»

— В чем дело? — спросил он.

— От смерти насилу ушел! — выдохнул Щукарь.— Убить хотели...

— Кто?

— Любишкин и протчие.

— За что?

— За капрызность ихнюю... За кашу дело зашло... Я человек отчаянный на слова, не стерпел... ну, а Любишкин ухватил нож, да за мной... Кабы не моя резвость — сидел бы зараз я на ноже! Так и спекся бы!..

— Ступай в хутор, после разберемся,— приказал Давыдов, облегченно вздыхая.

...А на стану за полчаса до этого произошло следующее: дед Щукарь, пересолив накануне кашу, решил выдобриться перед бригадой и, отправившись с вечера в хутор, переночевал там, а утром припас из дому мешок, на пути в бригаду завернул к гумну Краснокутова, жившего на самом краю хутора, перелез через прясло и воровски затаился возле мякинной кучи. План у деда Щукаря был гениально прост: подстеречь курицу, осторожно схватить ее и обезглавить, чтобы наварить каши с курятиной и тем самым снискать себе в бригаде почет и уважение. Он пролежал, тая дыхание, с полчаса, но куры, как назло, рылись где-то около плетня, а подходить к вороху мякины словно и не думали. Тогда дед Щукарь начал тихонько их приклжкать: «Цып, цып, цып, цып!.. Цыпаньки! Мамушки! Тю-тю-тю!» — звал он шепотом, а сам звероподобно таился за мякиной. Старик Краснокутов случайно находился неподалеку от гумна. Он услышал чей-то вкрадчивый голосок, созывавший кур, присел за плетнем... Куры доверчиво подошли к вороху мякины, и в этот момент Краснокутов увидел, как чья-то рука, высунувшись из мякины, сцапала бисерную курочку за ногу. Щукарь задушил курицу с быстротой матерого хоря и только что начал просовывать ее в мешок, как услышал негромкий вопрос: «Курочек щупаешь?» — и увидел поднимавшегося из-за плетня Краснокутова. Так растерялся дед Щукарь, что выронил из рук мешок, снял шапку и некстати поздоровался: «Доброго здоровья, Афанасий Петрович!» — «Слава богу,— отвечал тот.— Курочками, говорю, займаешься?» — «Вот-вот! Иду мимо и вижу — бисерная курица! Такая по ней диковинная разноцветь пера, что даже не мог я утерпеть. Дай, думаю, поймаю, погляжу вблизи, что это за диковинная птаха? Век прожил, а такой любопытственной не видывал!»

Щукарева хитрость была прямо-таки неуместна, и Краснокутов положил ей конец: «Не бреши, старый мерин! Курей в мешках не разглядывают! Признавайся: на какую надобность хотел скрасть?» И Щукарь повинился: сказал, что хотел угостить пахарей своей бригады кашей с курятиной. К его удивлению, Краснокутов и слова не сказал суперечь, а только посоветовал: «Пахарям можно, в этом греху нету. Раз уж ты пошкодил одну курочку, то клади ее в мешок, да вдобавки подстрели костыликом ишо одну, да не эту, а вон энту, какая не несется, хохлатую... Из одной курицы на бригаду лапши не сваришь. Лови другую скорей и метись живее, а то — не дай бог — старуха

моя вспопашится, так нам с тобой обоим тошноты наделает!»

Щукарь, донельзя довольный исходом дела, поймал вторую курицу и махнул через прясло. За два часа он пришел на стан, а к приезду Любишкина из хутора у него уже кипела в трехведерном котле вода, выпрыгивало разварившееся пшено, и порезанная на куски курятина истекала наваристым жиром. Каша удалась на славу. Единственно, чего опасался дед Щукарь, это того, что каша будет приванивать стоячей водой, так как воду черпал он в ближнем мелководном пруду, а непроточная вода там уже крылась чуть приметной зеленью. Но опасения его не оправдались: все ели и усердно хвалили, а сам бригадир Любишкин даже сказал: «В жизни не ел такого кондёра! Благодарность тебе, дедок, от всей бригады!»

Котел быстренько опорожнили. Самые проворные уже начали доставать со дна гущу и куски мяса. В этот-то момент и случилось то, что навек испортило поварскую карьеру Щукаря... Любишкин вытащил кусочек мясца, понес его было ко рту, но вдруг отшатнулся и побледнел.

— Это что же такое? — зловеще спросил он у Щукаря, поднимая кончиками пальцев кусок белого разваренного мяса.

— Должно, крылушко,— спокойно ответил дед Щукарь.

Лицо Любишкина медленно наливалось синеватым румянцем страшного гнева.

— Кры-луш-ко?.. А ну, гляди сюда, каш-шеварррр! — зарычал он.

— Ох, милушки мои! — ахнула одна из баб.— Да на ней когти!..

— Повылазило тебе, окаянная! — обрушился на бабу дед Щукарь.— Откуда на крыле когти? Ты под юбкой на себе их поищи!

Он кинул на разостланное рякнище ложку, всмотрелся: в подрагивающей руке Любишкина болталась хрупкая косточка, оперенная на конце перепонками и крохотными коготками...

— Братцы! — воскликнул потрясенный Аким Бесхлебнов.— А ить мы лягушку съели!..

Вот тут-то и началось смятение чувств: одна из брезгливых бабенок со стоном вскочила и, зажимая ладонями рот, скрылась за полевой будкой. Кондрат Майданников, глянув

на вылупленные в величайшем изумлении глаза деда Щукаря, упал на спину, покатываясь со смеху, насилу выкрикнул: «Ой, бабочки! Оскоромилися вы!» Казаки, отличавшиеся меньшей брезгливостью, поддержали его. «Не видать вам теперича причастия!» — в притворном ужасе закричал Куженков. Но Аким Бесхлебнов, возмущенный смехом, свирепо заорал: «Какой тут могет быть смех?! Бить Щукарячью породу!..»

— Откель могла лягушка в котел попасть? — допытывался Любишкин.

— Да ить он воду в пруду черпал, значит, недоглядел.

— Сукин сын! Нутрец седой!.. Чем же ты нас накормил?! — взвизгнула Аниська, сноха Донецковых, и с подвывом заголосила: — Ить я зараз в тягостях! А ежели вот скину через тебя, подлюшного?..

Да с тем как шарахнет в деда Щукаря кашей из своей миски!

Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к Щукаревой бороде, невзирая на то, что растерявшийся и перепуганный Щукарь упорно выкрикивал:

— Охолоньте трошки! Это не лягушка! Истинный Христос, не лягушка!

— А что же это? — наседала Аниська Донецкова, страшная в своей злобе.

— Это одна видимость вам! Это вам видение! — пробовал схитрить Щукарь.

Но обглодать косточку «видимости», предложенную ему Любишкиным, категорически отказался. Быть может, на том дело и кончилось бы, если бы вконец разозленный бабами Щукарь не крикнул:

— Мокрохвостые! Сатаны в юбках! До морды тянетесь, а того не понимаете, что это не простая лягушка, а вустрица!

— Кто-о-о-о?! — изумились бабы.

— Вустрица, русским языком вам говорю! Лягушка — мразь, а в вустрице благородные кровя! Мой родный кум при старом прижиме у самого генерала Филимонова в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал! Ел прямо на корню! Вустрица ишо из ракушки не вылупится, а он уж ее оттель вилочкой позывает. Проткнет насквозь и — ваших нету! Она жалобно пишшит, а он знай ее в горловину пропихивает. А почему вы знаете, может, она, эта хреновина, вустричной породы? Генералы одобряли, и я, мо-

жет, нарошно для навару вам, дуракам, положил ее, для скусу...

Тут уж Любишкин не выдержал: ухватив в руку медный половник, он привстал, гаркнул во всю глотку:

— Генералы? Для навару!.. Я красный партизан, а ты меня лягушатиной, как какого-нибудь с... генерала... кормить?!

Щукарю показалось, что в руках у Любишкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся бежать...

Давыдов обо всем этом узнал, приехав на стан, а пока, проводив Щукаря, попросил Размётнова погонять — и вскоре подъехал к стану бригады. Дождь все еще звенел над степью. От Гремячего Лога до дальнего пруда, в полнеба, стала горбатая, цветастая радуга. На стану не было ни души. Попрощавшись с Размётновым, Давыдов пошел к ближайшей клетке пахоты. Около нее на попасе ходили выпряженные быки, а плугатарь — Аким Бесхлебнов,— ленясь идти на стан, лег на борозде, укрылся с головой зипуном и придремал под шепелявый говор дождевой капели. Давыдов разбудил его:

— Почему не пашешь?

Аким нехотя встал, зевнул, улыбнулся.

— При дожде нельзя пахать, товарищ Давыдов. Вам про это неизвестно? Бык — не трактор. Как толечко намокнет у него шерсть на шее — враз ярмом потрешь шею до крови, и тогда уж на нем отработался. Верно, верно! — закончил он, приметив недоверчивость во взгляде Давыдова, и посоветовал: — Вы бы лучше пошли аников-воинов развели. С утра Кондрат Майданников к Атаманчукову присыкается... А зараз вон у них страженпе идет на энтой клетке. Кондрат велит быков выпрягать, а Атаманчуков ему: «Не касайся моей упряги, а то голову побью...» Они уж вон, никак, за грудки один одного берут!

Давыдов поглядел в конец второй за складом клетки и увидел, что там действительно происходит что-то похожее на драку: Майданников, словно шашку, вертел в руке железную занозу, а высокий Атаманчуков одной рукой отталкивал его от ярма, а другую, сжатую в кулак, держал за спиною. Голосов слышно не было. Торопливо направившись туда, Давыдов издали крикнул:

— Что еще такое?

— Да как же так, Давыдов! Мокресть идет, а он пашет! Ить этак же он быкам шеи потрет! Я говорю: «Отпрягай, покеда дождь спустился»,— а он меня матом: «Не твое дело!» А чье же, сукин ты сын, это дело? Чье, хрипатый

черт? — закричал Майданников, уже обращаясь к Атаманчукову и замахиваясь на него занозой.

Они, как видно, успели-таки цокнуться: у Майданникова черносливом синел над глазом подтек, а у Атаманчукова наискось был разорван ворот рубахи, на выбритой вспухшей губе расползлась кровь.

— Вреда колхозу делать не дам! — ободренный приходом Давыдова, кричал Майданников.— Он говорит: «Не мои быки, колхозные!» А ежели колхозные,— значит и шкуру с них сымай? Отступись от быков, вражина!

— Ты мне не указ! И бить не имеешь права! А то вот чистик выну, так я тебя не так перелицую! Мне надо норму выпахать, а ты мне препятствуешь! — хрипел бледный Атаманчуков, шаря левой рукой по вороту рубахи, стараясь застегнуть.

— Можно при дожде пахать? — спросил у него Давыдов, на ходу взял из рук Кондрата занозу, кинув ее под ноги.

У Атаманчукова засверкали глаза. Вертя своей тонкой шеей, он злобно просипел:

— У хозяев нельзя, а в колхозе надо!..

— Как это «надо»?

— А так, что план надо выполнять! Дождь не дождь, а паши. А не вспашешь — Любишкин день будет точить, как ржа железу.

— Ты эти разговорчики... Вчера, в вёдро, ты норму выпахал?

— Выпахал, сколько сумел!

Майданников фыркнул:

— Четверть десятины поднял! Гля, какие у него быки! Ро́га не достанешь, а что вспахал? Пойдем, Давыдов! Поглядишь.— Он схватил Давыдова за мокрый рукав пальто, повел по борозде; не договаривая от волненья, бормотал: — Решил пахать не мене трех с половиной вершков глуби, а это как? Меряй сам!

Давыдов нагнулся, сунул пальцы в мягкую и липкую борозду. От днища ее до дернистого верха было не больше полутора-двух вершков глубины.

— Это пахота? Это земле чесотка, а не пахота! Я его ишо утром хотел побить за такую старанию. Пройди по всем ланам — и скрозь у него такая глубь!

— А ну, пойди сюда! Тебе говорю, факт! — крикнул Давыдов Атаманчукову, неохотно выпрягавшему быков.

Тот лениво, не спеша подошел.

— Ты что же это... так пашешь? — ощеряя щербатый рот, тихо спросил Давыдов.

— А вам как бы хотелось? Восемь вершков гнать? — Атаманчуков злобно сощурился и, сняв фуражку с голоостриженной головы, поклонился: — Спасибо вам! Сами попробуйте вспахать глубе! На словах-то мы все, как на органах, а на деле нас нету!

— Нам так бы хотелось, чтобы тебя, подлеца, из колхоза гнать! — побагровев, крикнул Давыдов.— И выгоним!

— Сделайте одолжению! Сам уйду! Я не проклятый, чтобы вам тут жизню свою вколачивать. Силу из себя мотать за ради чего не знаю! — и пошел, посвистывая, к стану.

Вечером, как только вся бригада собралась у стана, Давыдов сказал:

— Ставлю перед бригадой вопрос: как быть с тем ложным колхозником, который обманывает колхоз и Советскую власть,— вместо трех с половиной вершков пахоты портит землю, пашет полтора вершка? Как с тем быть, кто сознательно хочет угробить быков, работая под дождем, а в вёдро выполняет норму лишь наполовину?

— Выгнать! — сказал Любишкин.

Особо ретиво его поддержали бабы.

— Такой колхозник-вредитель есть среди вас. Вот он! — Давыдов указал на Атаманчукова, присевшего на дышло арбы.— Бригада в сборе. Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы вредителя и лодыря Атаманчукова выгнать?

Из двадцати семи — «за» голосовали двадцать три, Давыдов пересчитал, сухо сказал Атаманчукову:

— Удались. Ты теперь не колхозник, факт! А через годик посмотрим: если исправишься, примем обратно. Теперь, товарищи, выслушайте мое короткое и важное слово к вам. Вы почти все работаете плохо. Очень плохо! Нормы никем, за вычетом Майданникова, не выполняются. Это — позорный факт, товарищи вторая бригада! Этак можно в дым обмараться. С такой работой можем вмиг влететь на черную доску, да так и присохнем на ней! Надо в корне пресечь это дело!

— Дюже норма не по силам! Быки не тянут,— сказал Аким Бесхлебнов.

— Не под силу? Быкам? Чепуха! А почему же быкам

Майданникова под силу? Я остаюсь в вашей бригаде, беру быков Атаманчукова и покажу вам на живом примере, что можно за день вспахать один га и даже один с четвертью.

— Э, Давыдов, да ты ловкач! У тебя губа не дура,— засмеялся Куженков, зажав в руке короткий оклад седоватой бороды.— На быках Атаманчукова можно черту рога свернуть! На них одну га это и я бы вспахал...

— А на своих ты не вспашешь?

— Сроду нет!

— Ну, давай поменяемся? Ты на Атаманчуковых, а я на твоих! Ладно?

— Давай спытаем,— подумав, серьезно и осторожно отвечал Куженков.

...Ночь Давыдов провел беспокойно. Он спал в полевой будке, часто просыпался, то ли оттого, что гремела под ветром железная крыша будки, то ли от полуночного холода, забиравшегося под не просохшее от дождя пальто, то ли от блох, густо населивших разостланную под ним овчинную шубу...

На заре его разбудил Кондрат Майданников. Кондрат уже поднял на ноги всю бригаду. Давыдов выпрыгнул из будки. На западной окраине неба тускло просвечивали звезды, молодой согнутый сагайдаком месяц золотой насечкой красовался на сизо-стальной кольчуге неба. Давыдов умывался, черпая воду из пруда, а Кондрат стоял около и, досадливо покусывая кончик желтоватого уса, говорил:

— За день десятину с гаком — это много делов... Загнул ты вчерась через край, товарищ Давыдов! Как бы нам с тобой не опростоволоситься...

— Все в наших руках, все наше! Чего ты боишься, чудак? — бодрил его Давыдов, а про себя думал: «Умру на пашне, а сделаю! Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу десятину с четвертью, иначе нельзя. Позор всему рабочему классу...»

Пока Давыдов вытирал лицо подолом парусиновой толстовки, Кондрат запряг своих и его быков, крикнул:

— Пошли!

Под скрип колёсен плугов Кондрат объяснял Давыдову простые, десятилетиями складывавшиеся основы пахоты на быках.

— Лучшим плугом считаем мы сакковский. Вот хучь бы аксайский взять, слов нет — плуг, а до сакковского ему

далеко! Нету в нем такого настрою. Мы порешили пахать так: отбиваем каждому свою клетку, и бузуй на ней. Спервоначалу Бесхлебнов, Атаманчуков, Куженков — да и Любишкин к ним припрегся — зачали пахать след в след. «Раз у нас колхоз, говорят, значит, надо пущать плуг за плугом». Пустили. Только вижу я — не туда дело загинает... Передний плуг остановится, и другим надо останавливаться. Ежели передний пашет с прохладцем, и остальные по нем нехотя равняются. Я и взбунтовался: «Либо меня, говорю, пущайте передом, либо отбивайте каждому свою клетку». Тут и Любишкин понял, что не годится так пахать. Ничью работу не видно. Побили на клетки, ну, я и ушел от них, десять очек им дал, чертям! Каждая клетка у нас — десятина: сто шестьдесят сажен — долевой лан и пятнадцать — поперечный.

— А почему поперечный лан не пашется? — глядя на обчин пахотной клетки, спросил Давыдов.

— А это вот зачем: кончаешь ты долевую борозду и на выгоне завертаешь быков, так? Ежели круто их поворачивать, так им шеи побьешь ёрмами, и — готов бык, негож пахать! Потому вдоль пробороздишь, а потом вывернешь плуг и гонишь пятнадцать сажен порожнем. Трактор — он круто повернулся, ажник колеса у него под перед заходют, и опять пошел рвать обратным следом, а трех-четырех пар быков разве повернешь? Это им надо, как в строю, на одной левой ноге крутиться, чтоб без огреха на повороте запахать! Через это и больших клеток в бычиной пахоте нельзя делать. Трактору, чем ни длиньше гон, тем спокойней, а с быками пробуровлю я сто шестьдесят длиннику, а потом ить плуг-то у меня по поперечному лану порожня идет, на ползунке. Да вот я вам нарисую.— И Кондрат, остановившись, начертил на земле отточенным концом чистика удлиненную клетку.— Тут нехай четыре десятины. Вдоль — сто шестьдесят сажен, и поперек — шестьдесят. Вот я пашу первый долевой лан, глядите: ежели я одну десятину пашу, мне надо порожнем пятнадцать сажен по выгону объехать, а ежели четыре десятины — шестьдесят. Несходно ить? Поняли? Потеря времени.

— Понял. Это ты фактически доказал.

— Вы пахать-то пахали когда?

— Нет, браток, не приходилось. Плуг я приблизительно знаю, а пускать его в действие не могу. Ты мне укажи, я понятливый.

— Я зараз вам налажу плуг, пройду с вами гона два, а потом уж вы сами наловчитесь.

Кондрат наладил плуг Давыдова, переставил на подъемной подушке крюк, установил глубину в три с половиной вершка и, незаметно перейдя в обращении на «ты», на ходу объяснил:

— Тронемся пахать, и ты будешь видать: ежели быкам будет тяжко, то подкрутишь оборота на полтора вот эту штуку. Называется она у нас бочонком; видишь, он на разводной цепи, а борозденная цепь — глухая. Крутнешь ты бочонок, и лемех трошки избочится, пойдет на укос и будет брать шириной уж не во все свои восемь дюймов, а в шесть, и быкам будет легше! Ну, трогаем! Цоб, лысый! Цоб!.. Не щади живота, товарищ Давыдов!

Погоныч Давыдова, молодой парнишка, щелкнул арапником, и головные быки дружно взяли упор. Давыдов с некоторым волнением положил руки на чапиги, пошел за плугом, глядя, как, разрезанный чересломом, лезет из-под лемеха по глянцевитому отвалу черный сальный пласт земли, валится, поворачиваясь набок, как сонная рыбина.

В конце лана на выгоне Майданников подбежал к Давыдову, указал:

— Клади плуг налево, чтобы он на ползунке шел, а чтобы тебе отвал не чистить, вот так делай, гляди! — Он налег на правую чапигу, поставил плуг «на перо», и пласт земли, косо и туго проехавшись по отвалу, словно слизал плотно притертую, налипшую на отвале грязь.— Вот как надо! — Кондрат опрокинул плуг, улыбнулся.— Тут тоже техника! А не поставь плуг «на перо», надо бы, пока быки поперечный лан пройдут, чистиком счищать грязцо с отвала-то. Зараз у тебя плуг — как вымытый, и ты могешь на ходу цигарочку для удовольствия души завернуть. На-ка!

Он протянул Давыдову свернутый в трубку кисет, скрутил цигарку, кивком головы указал на своих быков:

— Гляди, как моя баба наворачивает! Плуг настроенный, выскакивает редко, ей и одной бы можно пахать...

— Это у тебя жена погонычем? — спросил Давыдов.

— Жена. С ней сподручней. Ее иной раз и крепким словом пуганешь — не обидится, а ежели и обидится, то только до ночи... Ночь помирит — свои как-никак...

Кондрат улыбнулся и широко и валко зашагал по пашне.

В первом упруге[1] до завтрака Давыдов вспахал около четверти десятины. Он нехотя похлебал каши, дождавшись, пока поели быки, мигнул Кондрату:

— Начинаем?

— Я готов. Анютка, гони быков!

И снова — борозда за бороздой — валится изрезанная череслом и лемехом заклёклая, спрессованная столетиями почва, тянутся к небу опрокинутые, мертво скрюченные корневища трав, издробленная дернистая верхушка прячется в черных валах. Земля сбоку отвала колышется, переворачивается, словно плывет. Пресный запах чернозема живителен и сладок. Солнце еще высоко, а у подручного быка уже темнеет от пота линючая шерсть...

К вечеру у Давыдова тяжко ныли потертые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерил он свой участок и улыбнулся спекшимися, почерневшими от пыли губами: вспахана за день одна десятина.

— Ну, сколько наворочал? — с чуть приметной улыбкой, с ехидцей спросил Куженков, когда Давыдов, волоча ноги, подошел к стану.

— А сколько бы ты думал?

— Полдесятины одолел?

— Нет, черт тебя задери, десятину и лан!

Куженков, смазывавший сурчиным жиром порезанную о зубья бороны ногу, закряхтел, пошел к клетке Давыдова мерять... Через полчаса, уже в густых сумерках, вернулся, сел подальше от огня.

— Что же ты молчишь, Куженков? — спросил Давыдов.

— Нога что-то разболелась... А говорить нечего, вспахал, ну и вспахал... Делов-то! — нехотя ответил тот и прилег возле огня, натягивая на голову зипун.

— Замазали тебе рот? Теперь не гавкнешь? — захохотал Кондрат, но Куженков промолчал, словно и не слышал.

Давыдов лег около будки, закрыл глаза. От костра наносило запахом древесной золы. Жарко горели натруженные ходьбой подошвы, в голенях — ноющая тяжесть; как ни положи ноги, все неудобно, все хочется переменить положение... И почти сейчас же, едва только лег, перед глазами поплыла волнующаяся черная почва: белое лезвие лемеха скользило неслышно, а сбоку, меняя очертания,

[1] Упруг — непрерывная работа в течение определенного срока, до роздыха.

смолой вскипала, ползла черная земля... Почувствовав легкое головокружение и тошноту, Давыдов открыл глаза, окликнул Кондрата.

— Не спится? — отозвался тот.

— Да что-то голова кружится, перед глазами — земля из-под плуга...

— Уж это завсегда так.— В голосе Кондрата послышалась сочувственная улыбка.— Целый день под ноги глядишь, от этого и кружение делается. А тут дух от земли чертячий, чистый, от него ажник пьянеешь. Ты, Давыдов, завтра под ноги дюже не пулься, а так, по сторонам больше интересуйся...

Ночью Давыдов не чувствовал укусов блох, не слышал ни ржанья лошадей, ни гогота припоздавшей станицы диких гусей, ночевавших на гребне перевала,— уснул мертво. Уже перед зарей, проснувшись, увидел подходившего к будке закутанного в зипун Кондрата.

— Ты где это был? — в полусне, приподняв голову, спросил Давыдов.

— Своих и твоих быков стерег... Дюже подкормились быки. Согнал их в ложок, а там травка добрая выметалась...

Хриповатый голос Кондрата стал стремительно удаляться, глохнуть... Давыдов не слышал конца фразы: сон снова опрокинул голову его на мокрую от росы шубу, покрыл забытьем.

В этот день к вечеру Давыдов вспахал десятину и два лана, Любишкин — ровно десятину, Куженков — десятину без малого, и совершенно неожиданно для них на первое место выбился Антип Грач, до этого находившийся в группе отсталых, в насмешку прозванной Давыдовым «слабосильной командой». Он работал на отощавших Титковых быках, когда полудновали — промолчал о том, сколько вспахал; после обеда жена его, работавшая с ним погонычем, кормила быков своей упряги из подола, насыпав туда шесть фунтов причитавшихся быкам концентратов; а Антип даже хлебные крохи, оставшиеся после обеда, смахнул с ватолы, высыпал жене в подол — быкам на подкормку. Любишкин приметил это, усмехнулся:

— Тонко натягиваешь, Антип!

— И натяну! Наша порода в работе не из последних! — вызывающе кинул еще более почерневший от вешнего загара Грач.

Он таки натянул: к вечеру у него оказалась вспаханной десятина с четвертью. Но уже затемно пригнал к стану

быков Кондрат Майданников, на вопрос Давыдова: «Сколько к шабашу?» — прохрипел: «Без лана полторы. Дайте табачку на цигарку... с полден не курил...» — и глянул на Давыдова обрезавшимися, но торжествующими глазами.

После того как повечеряли, Давыдов подвел итоги:

— Социалистическое соревнование, товарищи вторая бригада, развернулось у нас — во! Темпы взяты очень достойные. За пахоту бригаде от правления колхоза большевистское спасибо! Из прорыва мы, дорогие товарищи, вылезаем, факт! И как не вылезти, если на веществе доказана выполнимость нормы! Теперь надо навалиться на волочбу. И чтобы обязательно волочить в три следа! Особое спасибо Майданникову, так как он — самый фактический ударник!

Бабы перемыли посуду, плугатари улеглись спать, быков погнали на попас. Кондрат уже придремал, когда жена забралась к нему под зипун, толкнула в бок, спросила:

— Кондраша, Давыдов тебя повеличал... Вроде бы в похвальбу... А что это такое — ударник?

Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не мог. «Надо бы у Давыдова разузнать!» — с легкой досадой подумал он. Но не растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не мог, а потому и объяснил, как сумел:

— Ударник-то? Эх ты, дура-баба! Ударник-то? Кгм... Это... Ну, как бы тебе понятней объяснить? Вот, к примеру, у винтовки есть боек, каким пистонку разбивают,— его тоже самое зовут ударником. В винтовке эта штука — заглавная, без нее не стрельнешь... Так и в колхозе: ударник есть самая заглавная фигура, поняла? Ну, а зараз спи и не лезь ко мне!

ГЛАВА XXXVII

К пятнадцатому мая по району сев колосовых в основном был закончен. В Гремячем Логу колхоз к этому времени целиком выполнил посевной план. Десятого в полдень третья бригада досеяла оставшиеся восемь гектаров пропашных — кукурузы и подсолнуха, и Давыдов тотчас же снарядил в район коннонарочного с рапортом в райком партии об окончании сева.

Ранняя пшеница радовала всходами, но на участке

второй бригады было около сотни гектаров кубанки, высеянной в первых числах мая. Давыдов опаса́лся, что посеянная с опозданием кубанка плохо взойдет; опасения его разделял и Любишкин, а Яков Лукич, так тот даже с прямой уверенностью заявлял:

— Не взойдет! Ни за что не взойдет! Вы хотите круглую лету сеять, да чтобы всходило? В книжках прописано, будто бы в Египте два раза в год сеют и урожай снимают, а Гремячий Лог вам, товарищ Давыдов, не Египта, тут надо дюже строго сроки сева выдерживать!

— Ну, что ты оппортунизм разводишь? — сердился Давыдов.— У нас должна взойти! И если нам потребуется, два раза будем сымать урожай. Наша земля, нам принадлежащая: что захочем, то из нее и выжмем, факт!

— Ребячьи речи гутарите.

— А вот посмотрим. Ты, гражданин Островнов, в своих речах правый уклон проявляешь, а это для партии нежелательный и вредный уклон... Он, этот уклон, достаточно заклейменный,— ты об этом не забывай.

— Я не про уклон, а про землю гутарю. В уклонах ваших я несмысленный.

Но Давыдов, надеясь на всхожесть кубанки, все же не мог разогнать сомнений и каждый день седлал правленческого жеребца, ехал смотреть обуглившиеся под солнцем, разделанные, но пугающие мертвой чернотой пашни.

Земля быстро высыхала. Нарастившееся зерно, скудно питаясь, не в силах было выбросить росток наружу. Острое жальце ростка, нежное и слабое, вяло лежало под рыхлыми комьями теплой, пахнущей солнцем земли, стремилось к свету и не могло пронзить лишенный влаги, зачерствевший земляной покров. Давыдов спешивался на пашне — стоя на коленях, разрывал рукою землю и, рассматривая на ладони зернышко пшеницы с выметавшимся тоненьким ростком, испытывал горькое чувство жалости к миллионам похороненных в земле зерен, так мучительно тянувшихся к солнцу и почти обреченных на смерть. Его бесило сознание своей беспомощности. Нужен был дождь, и тогда кубанка зеленым плющом застелила бы пашню. Но дождя не было, и пашни густо зарастали сильными, живучими и неприхотливыми сорняками.

Вечером как-то к Давыдову на квартиру пришла делегация от стариков.

— Мы к вам с покорнейшей просьбицей,— сказал дед Аким Курощуп, здороваясь и тщетно разыскивая гла-

зами образ, глядя на который можно было бы перекреститься.

— С какой просьбой?.. Иконы нету, дедушка, не ищи.

— Нету? Ну, обойдуся... ничего... А просьба к вам будет от стариков такая...

— Какая?

— Пашеничка-то во второй бригаде, как видно, не взойдет?

— Еще ничего не видно, дед.

— Не видно, а запохожилось на это.

— Ну?

— Дожжа надо.

— Надо.

— Дозвольте попа покликать, помолебствовать?

— Это для чего же? — Давыдов порозовел.

— Известно для чего, чтобы господь дожжичка дал.

— Ну, уж это, дед... Ступай, дед, и больше об этом не говори.

— Как же так — не говорить? Пашеничка-то наша?

— Колхозная.

— Ну, а мы-то кто? Мы — колхозники.

— А я — председатель колхоза.

— Мы это понимаем, товарищ. Вы бога не признаете, вас мы и не просим с хоругвой идтить, а нам дозвольте: мы — верующие.

— Не позволю. Вас колхозное собрание послало?

— Нет. Сказать, мы сами, старики, решили.

— Ну, вот, видите: вас немного, а собрание все равно не позволило бы. Надо, дедушка, с наукой хозяйство вести, а не с попами.

Давыдов говорил долго и осторожно, стараясь не обидеть религиозных чувств стариков. Деды молчали. Под конец явился Макар Нагульнов. Он услышал, что старики — делегация верующих — отправились просить у Давыдова разрешения молебствовать, поспешил прийти.

— Значит, нельзя? — вздохнул, поднимаясь, дед Аким Курощуп.

— Нельзя и незачем. И без этого дождь будет.

Старики вышли, следом за ними шагнул в сенцы и Нагульнов. Он плотно притворил дверь в комнату Давыдова, шепотом сказал:

— Вы, ветхие люди! Я про вас знаю: вы всё норовите по-своему жить, вы напряженные черти. Вам бы всё пре-

стольные праздники устраивать да с иконами по степе таскаться, хлеба вытаптывать... Ежели самовольно привезете попа и тронетесь в поле, я следом за вами выеду с пожарной командой и до тех пор буду вас из насосов полоскать, пока вы мокрее воды сделаетесь. Понятно? А поп пущай лучше и не является. Я его, волосатого жеребца, при народе овечьими ножницами остригу. Остригу на страм и пущу. Понятно вам? — А потом вернулся к Давыдову, хмурый и недовольный сел на сундук.

— Ты о чем со стариками шептался? — подозрительно спросил Давыдов.

— Про погоду гутарили,— глазом не моргнув, отвечал Макар.

— Ну?

— Ну и решили они твердо — не молебствовать.

— Что же они говорили? — Давыдов отвернулся, пряча улыбку.

— Говорят: сознали, что религия опиум... Да что ты ко мне пристаешь, Семен? Ты чисто стригучий лишай, привяжешься — и отцепы от тебя нету! О чем говорили, да чего говорил?.. Говорил — и ладно. Это ты с ними тут демократизмы разводишь, уговариваешь, упрашиваешь. А с такими старыми вовсе не так надо гутарить. Они же все вредного духа, захрясли в дурмане. Значит, с ними нечего и речей терять, а надо так: раз-два — и в дамки!

Давыдов, посмеиваясь, безнадежно махнул рукой. Нет, положительно Макар был неисправим!

Две недели ходил он беспартийным, а за это время в райкоме произошла смена руководства: сняли Корчжинского и Хомутова.

Новый секретарь райкома, получив из окружной контрольной комиссии апелляцию Нагульнова, послал в Гремячий Лог одного члена бюро вторично расследовать дело, и после этого бюро постановило: отменить прежнее свое решение об исключении Нагульнова из партии. Решение отменили, мотивируя тем, что строгость взыскания не соответственна проступку, а кроме того, ряд обвинений, в свое время выдвинутых против Нагульнова («моральное разложение», «половая распущенность»), после вторичного расследования отпал. Макару записали выговор. На том дело и кончилось.

Давыдов, временно исполнявший обязанности секретаря ячейки, передавая дела Макару, спросил:

— Научен? Будешь еще загинать?

— Очень даже научен. Только кто из нас загинал — я или райком?

— И ты и райком. Все понемногу.

— А я считаю, что и окружком перегибы делает.

— Какие, например?

— А вот такие: почему выходцам не приказано было возвращать скот? Это не есть принудительная коллективизация? Она самая! Вышли люди из колхоза, а им ни скота, ни инструмента не дают. Ясное дело: жить ему не при чем, деваться некуда, он опять и лезет в колхоз. Пищит, а лезет.

— Так ведь скот и инвентарь вошли в неделимый фонд колхоза!

— А на черта нужен такой фонд, раз они через силу опять идут в колхоз? Выкинуть им!.. «Нате, жрите, подавитесь своим инструментом!» Я бы их и близко к колхозу не подпустил, а вот ты напринимал таких перевёртухов целую сотню и думаешь, небось, что из него сознательный колхозник выйдет? Черта лысого! Он, вражина, в колхозе будет жить, а сам на единоличную жизнь до гробовой покрышки будет косоротиться... Знаю я их! И то, что им не отдали скотину и сельский инструмент,— левый перегиб, а то, что ты их обратно принял в колхоз,— правый перегиб. Я, брат, тоже стал политически развитый, ты меня зараз не объедешь!

— Где уж там политически развитый, если ты даже того не понимаешь, что не могли мы всякие расчеты с выходцами устраивать сейчас же, не дождавшись конца хозяйственного года!..

— Нет, это я понимаю.

— Эх, Макар, Макар! Жить ты не можешь без заскоков. Частенько моча тебе в голову ударяет, факт!

Они еще долго спорили, под конец разругались, и Давыдов ушел.

За две недели в Гремячем Логу произошло много перемен: к великому удивлению всего хутора, Марина Пояркова приняла в мужья Демида Молчуна. Он перешел к ней в хату, ночью сам впрягся в повозку и перевез все свое скудное имущество, а окна и дверь в своей хатенке заколотил насмерть досками.

«Нашла Маришка себе пару. Они вдвоем больше трактора сработают!» — говорили в Гремячем.

Андрей Размётнов, сраженный замужеством своей долголетней милахи, первое время бодрился, а потом не

выдержал и, потаясь Давыдова, начал попивать. Давыдов, однако, приметил это, предупредил:

— Ты брось это дело, Андрей. Не годится.

— Брошу. Только обидно мне, Сёма, до невозможностев! На кого променяла, сука? На кого променяла?!

— Это ее личное дело.

— Но мне-то обидно?

— Обижайся, но не пей. Не время. Скоро полка подойдет.

А Марина, как назло, все чаще попадалась Андрею на глаза и по виду была довольна, счастлива.

Демид Молчун ворочал в ее крохотном хозяйстве, как добрый бык: в несколько дней он привел в порядок все надворные постройки, за сутки вырыл полуторасаженной глубины погреб, на себе носил десятипудовые стояны и сохи... Марина обстирала, обшила его, починила бельишко, соседкам нахвалиться не могла работоспособностью Демида.

— То-то, бабочки, он мне в хозяйстве гожий. Сила у него медвежиная. За что ни возьмется — кипит у него в руках. А что молчаливый, так уж бог с ним... Меньше ругани промеж нас будет...

И Андрей, до которого доходили слухи о том, что довольна Марина новым мужем, тоскливо шептал про себя:

— Ах, Мариша! Да я, что же, не мог бы тебе сараи поправить али погреб вырыть? Загубила ты мою молодую жизню!

В Гремячий Лог вернулся из ссылки раскулаченный Гаев: краевая избирательная комиссия восстановила его в правах гражданства. И Давыдов тотчас же, как только многодетный Гаев приехал в хутор, вызвал его в правление колхоза.

— Как думаешь жить, гражданин Гаев? Единоличным порядком или будешь вступать в колхоз?

— Как придется,— отвечал Гаев, не изживший обиды за незаконное раскулачивание.

— А все же?

— Видно так, что колхоза не миновать.

— Подавай заявление.

— А имущество мое как же?

— Скот твой — в колхозе, сельскохозяйственный инвентарь — тоже. А вот барахлишко твое мы роздали. С этим будет сложнее. Кое-что отдадим, а остальное получишь деньгами.

— Хлебец-то вы у меня весь вымели...

— Ну, это дело простое. Пойди к завхозу, он скажет кладовщику, и тот отпустит на первое время пудов десять муки.

— Пошли набирать в колхоз и с бору и с сосенки! — негодовал Макар, прослышав о том, что Давыдов намерен принять Гаева в колхоз.— Тогда уж пущай Давыдов объявление в «Молоте» пропечатает, что всех ссыльнопоселенцев, какие отбыли выселку, он в колхоз будет принимать...— говорил он Андрею Размётнову.

Гремяченская ячейка после сева выросла вдвое; в кандидаты партии были приняты Павло Любишкин, три года батрачивший у Титка, Нестор Лощилин — колхозник третьей бригады и Демка Ушаков. Нагульнов в день собрания ячейки, когда принимали в партию Любишкина и остальных, предложил Кондрату Майданникову:

— Вступай, Кондрат, в партию, за тебя я с охотой поручусь. Служил ты под моей командой в эскадроне, и как тогда был геройским конармейцем, так и зараз колхозник на первом счету. Ну, чего ты, спрашивается, поотдальки от партии стоишь? Дело идет к тому, что с часу на час подходит мировая революция, может, нам с тобой опять придется в одном эскадроне служить, Советскую власть отстаивать, а ты по прошествии времен, как и раньше, беспартийный! Нехорошо так-то! Вступай!

Кондрат вздохнул и высказал сокровенное:

— Нет, товарищ Нагульнов, совесть мне не дозволяет в партию вступать зараз... Воевать за Советскую власть я сызнова пойду и в колхозе буду работать на совесть, а в партию не могу вписываться...

— Это почему такое? — нахмурился Макар.

— А через то не могу, что вот я зараз в колхозе, а об своем добре хвораю...— Губы Кондрата дрогнули, он перешел на быстрый шепот: — По своим быкам хвораю душой, и жалко мне их... Не такой за ними догляд, как надо бы... Конишке Акимка Бесхлебнов на волочбе шею потер хомутом, поглядел я — и сутки через это не жрал... Можно ли на малую лошадь здоровый хомут надевать? Через это и не могу. Раз я ишо не отрешился от собственности, значит, мне и в партии не дозволяет совесть быть. Я так понимаю.

Макар подумал и сказал:

— Это ты справедливо говоришь. Трошки повремени, не вступай. Супротив всяких непорядков в колхозном

хозяйстве мы будем беспощадно бороться, хомуты будут все подогнаны. А уж ежели ты спишь и во сне бывших своих быков видишь,— тогда в партию тебе нельзя. В партию надо идтить безо всяких страданий об собственности. В партию надо идтить так, чтобы был ты наскрозь чистый и оперённый одной думкой: достигнуть мировой революции. Мой папаша жил при достатке и меня к хозяйству с малюшки приучал, но я к этому ничуть не был приверженный, хозяйство было для меня вовсе никчемушнее. Я от сытой жизни и от четырех пар быков в нужду ушел, в работники... Так что ты до тех пор не вступай, покуда вовзят очистишься от этой коросты — собственности.

Слух о том, что Любишкин, Ушаков и Лощилин вступают в партию, широко распространился в Гремячем Логу. Кто-то из казаков в шутку сказал деду Щукарю:

— Ну, а ты чего в партию не подаешь? Ты же в активе состоишь,— подавай! Дадут тебе должность, купишь кожаную портфелю, возьмешь ее под мышку и будешь ходить.

Щукарь поразмыслил и вечером, как только стемнело, пошел к Нагульнову на квартиру.

— Здорово, Макарушка!

— Здорово. Ну, чего явился?

— Люди в партию вступают...

— Ну?

— Не запрег ишо, не нукай.

— Дальше?

— А дальше, может, я и хочу поступить. Мне, брат, всею жизню при жеребцах не крутиться. Я с ними не венчанный.

— Так ты чего же хочешь?

— Сказано русским языком: хочу поступить в партию. Зачем и пришел, чтобы узнать, какая мне выйдет должность, ну, и прочее... Ты мне дай такой придмер: что писать и как писать?..

— Так ты что же?.. Ты думаешь, что в партию ради должностей вступают?

— У нас все партейные на должностях.

Макар сдержался, переменил разговор:

— На пасху поп к тебе заходил?

— Само собой.

— Жертвовал ему?

— Ну конечно. Парочку яичков и, натурально, кусочек сальца, с полфунта.

— Ты, стало быть, в бога веруешь и до́ се?

— Так, конечно, не дюже чтобы крепко, но ежели захвораю, али ишо какое неудовольствие, али, к придмеру сказать, гром резко вдарит, то тогда молюсь, натурально прибегаю к богу.

Макар хотел было обойтись с дедом Щукарем вежливо, хотел толком объяснить ему, почему его не могут принять в партию, но, вызвав Щукаря на разговор, не успел запастись терпением, а поэтому и брякнул сразу:

— Ступай к черту, старый желудь! Попам яйца жертвуешь, ярдани изо льда делаешь, об каких-то должностях мечтаешь, а сам до дела — коням мески замесить не умеешь. На черта ты партии нужен, такое трепло? Ты что это, смешки строишь? Думаешь, в партию всякую заваль принимают? Твое дело — только языком балабонить, брехни рассказывать. Ступай, не волнуй меня, а то я человек нервного расстройства. Мне здоровье не дозволяет с тобой спокойно гутарить. Иди, говорят. Ну?

«Не в добрый час попал! Надо бы после обеда прийтить»,— сожалел дед Щукарь, торопливо захлопывая калитку.

Последней новостью, взволновавшей Гремячий Лог и в особенности гремяченских девок, была смерть Дымка.

Ефим Трубачев и Батальщиков, осужденные народным судом, писали, что по дороге на станцию Дымок затосковал по воле, по Гремячему Логу и попытался бежать.

Милиционер, сопровождавший партию осужденных, три раза крикнул Дымку: «Стой!» Но тот, пригнувшись, бежал по пахоте к лесу. До кустов оставалось саженей пятнадцать, тут-то милиционер стал на колено, вскинул винтовку и с третьего выстрела положил Дымка насмерть.

Кроме тетки, некому было горевать о безродном парне, а девки, обученные Дымком несложному искусству любви, если и погоревали, то недолго.

«Дело забывчиво, а тело заплывчиво...» А девичьи слезы — что роса на восходе солнца...

ГЛАВА XXXVIII

В 1930 году впервые исчезла «глухая пора». В прежние годы, когда жили по старинке, эти два месяца неспроста назывались «глухою порою». Отсеявшись, исподволь гото-

вились хозяева к покосу: на выпасах выгуливались, набирались сил быки и лошади, а казаки строгали грабельники, чинили арбы, ремонтировали лобогрейки... Редко кто ехал пахать под майские пары. В тягостном молчании покоились хутора. В полдень пройти по мертвой улице — человека не встретишь. Казаки либо в поездках, либо отдыхают в куренях или на погребицах, либо вяло постукивают топорами; сонные бабы, устроившись где-нибудь в холодке, ищутся. Пустота и дремотный покой властвуют в хуторах.

Но первый же год колхозной жизни нарушил «глухую пору» в Гремячем Логу. Едва лишь поднялись хлеба, началась полка.

— Три раза будем полоть, чтобы ни одного сорняка не было на колхозных полях! — заявил на собрании Давыдов.

Яков Лукич Островнов торжествовал. Ему — непоседливому и живому — шибко нравилось такое хозяйствование, когда весь хутор был в движении, в делах, в озабоченной суете. «Высоко Советская власть летит, поглядим, как она сядет! И хлеба полоть, и пары подымать, и скотину выкармливать, и инвентарь чинить... А народ-то будет работать? А баб заставишь хлеба́ полоть? Ить это неслыханное дело. По всей Области Войска Донского раньше не пололи хлеба. А занапрасну не пололи. Урожай бы богаче был. И мне, старому дураку, надо бы полоть. Один черт бабы всею лету без делов злодырничали»,— думал он, сокрушаясь о том, что раньше, когда он еще единолично наживал хозяйство, не пропалывал своих хлебов.

Давыдову же, беседуя с ним, говорил:

— Теперича огрузимся мы хлебом, товарищ Давыдов. А то раньше, бывало,— кинет человек семена и ждет, какая выйдет. А оно и выходит рядом с пашеничкой и пырей, и осот, и овсюг, и молочай, и всякая другая сволочная трава. Зачнешь молотить, хлеб будто и добрый, но взважишь умолот — с десятины и выйдет сорок пудов либо ишо меньше.

После того как из колхозных амбаров гремяченцы растащили семенной хлеб, Давыдов хотел было сместить Островнова с должности завхоза. Тяжкое подозрение родилось у Давыдова... Помнилось ему, что, когда он видел в толпе возле амбаров Островнова, по лицу старика тенью скользили не только растерянность, но и злорадное улыбчивое выжидание... Так, по крайней мере, показалось тогда Давыдову.

На другой же день он позвал Якова Лукича к себе в комнату, выслал посторонних. Разговор вели они вполголоса.

— Ты чего делал вчера возле амбаров?

— Народ уговаривал, товарищ Давыдов. Уговаривал врагов, чтобы они опамятовались, не брали самосудом колхозного хлеба,— без запинки отвечал Яков Лукич.

— А женщинам... Ты почему сказал женщинам, что ключи от амбаров у меня должны быть?

— Да что вы! Господь с вами! Кому это я говорил? Сроду никому не говорил...

— Сами женщины об этом сказали, когда водили меня...

— Брехня! Под присягу пойду. Наговоры... По злобе на меня.

И Давыдов поколебался в своей решимости. А тут вскоре Яков Лукич развил такую кипучую деятельность по подготовке к полке, по сбору средств на общественное питание, такими хозяйственными проектами засыпал правление, что Давыдов снова был покорен своим энергичным завхозом.

Яков Лукич предложил правлению устроить на полеводческих участках бригад несколько новых прудов. Он даже места по балкам наметил, где удобнее всего будет запереть вешнюю воду. Устройство новых прудов, по его мысли, должно было так пройти, чтобы скот из бригад не ходил к водопою дальше полкилометра. И Давыдов, да и все члены правления вынуждены были признать ценность островновского проекта, так как старые пруды делались вовсе не из расчета на колхозное хозяйство. Они были беспорядочно разбросаны по степи, и весною скот от бригадного стана приходилось гонять на водопой за два с половиной — три километра. Потеря времени была огромная. Усталым быкам, для того чтобы дойти до водопоя и вернуться к стану, требовалось почти два часа, а за этот срок можно было бы вспахать или заволочить не один гектар. Правление дало согласие на устройство новых прудов, и Яков Лукич, пользуясь перерывом в полевых работах, с ведома Давыдова приступил к заготовке леса для плотин.

Мало того: Яков Лукич внес предложение построить небольшой заводишко по обжигу кирпича и без труда доказал сомневавшемуся в рентабельности такого предприятия Аркашке Менку, что иметь свой кирпич для строи-

тельства капитальной конюшни и воловен несравненно выгоднее, нежели возить его из района за двадцать восемь километров да еще платить за сотню по четыре рубля пятьдесят копеек. И все тот же Яков Лукич уговорил колхозников третьей бригады загатить Дурной лог, из года в год размывавший богатые земли возле хутора, на которых отлично родились просо и диковинные по величине и сахарности арбузы. Под его руководством лог загородили сваями, забили хворостом и навозом, забутили камнями, и по теклине посадили молодые тополя и вербы, чтобы корни их переплели и укрепили рыхлую почву. Немалая площадь земли была спасена от размыва.

Вся совокупность этих-то обстоятельств и упрочила поколебавшееся положение Якова Лукича в колхозе. Давыдов крепко решил: завхоза ни в коем случае не лишаться и всячески поддерживать его поистине неиссякаемую инициативность. Даже Нагульнов и тот подобрел в отношении Якова Лукича.

— Хотя и чужой человек по духу, но едучий хозяин. Пока не возрастим своего такого знающего, до тех пор будем держать Островнова в завхозах. Партия наша с огромным умом. В ней мильёны умов, через это она такая вострая. Иной есть инженер гад и нутряная контра, по духу его давно бы надо прислонить к стенке, но его не присланивают, а дают ему работу и говорят: «Ты ученый человек. Нá тебе деньги, жри в три горла, покупай бабе своей шелковые чулки на утеху, но крути своими мозговыми шариками, делай инженерские дела на благо мировой революции!» И он делает. Хотя и косоротится на старую жизню, а делает. Расстреляй его — что с него получишь? Ношеные штаны да, может, часы с брелоком останутся. А то он работает и на много тысячев пользы приносит. Так и наш Островнов: пущай он лога бутит, пущай пруды роет. Все это идет на пользу Советской власти и на приближение мировой революции! — говорил он как-то на собрании ячейки.

Жизнь Якова Лукича снова обрела некоторое равновесие. Он понимал, что все те силы, которые стояли за спиной Половцева и руководили подготовкой восстания, на этот раз проиграли; он был твердо убежден, что теперь уж восстания не будет, так как момент был упущен и в настроении даже наиболее враждебно относившихся к Советской власти казаков произошел некоторый перелом. «Видно, Половцев и Лятьевский махнули через границу», — думал

Яков Лукич, и к острому сожалению о том, что не пришлось стряхнуть Советскую власть, примешивалась спокоящая радость, довольство: отныне уж ничто не грозило благополучному существованию Якова Лукича. Теперь уж, глядя на приезжавшего в Гремячий Лог участкового милиционера, он не испытывал тошнотного страха; а раньше один вид черной милиционерской шинели повергал его в несказанный трепет и дрожь.

— Что же, скоро бусурманская власть кончится? Скоро наши заступят? — с глазу на глаз спрашивала у Островнова старуха мать.

И Яков Лукич, донельзя возмущенный неуместным вопросом, горько и раздраженно отвечал:

— Вам-то не все одно, мамаша?

— То-то и есть, что не все одно: церква позакрывали, попов окулачили... И это права?

— Года ваши дряхлые, молитесь богу... А в мирские дела вам нечего лезть. Очень уж вы дотошная, мамаша!

— А офицерья куда запропастились? Энтот непутевый, одноглазый табашник, куда залетел? И ты тоже!.. То благословление брал, а то уж опять этой власти прислуживаешь! — не унималась старуха, так и не уразумевшая, почему Яшка, сын ее, не согласился «сменять власть».

— Ох, мамаша, кровя вы мне замораживаете! Оставьте вы ваши глупые разговоры! Ну, к чему вы об этом вспоминаете? Вы ишо при людях ляпните!.. Голову вы с меня сымете, мамаша. Вы же говорили: «Что бог ни делает, все к лучшему». Вот и живите себе на здоровье. Есть у вас в носу две отверстки, посапливайте в них да помалкивайте... Куска хлеба вас не лишают... Чего же вам, прости бог, надо?..

После такого разговора Яков Лукич выскакивал из горенки, словно кипятком ошпаренный, и долго потом не мог успокоиться, а Семену и бабам с пущей строгостью приказывал:

— За бабкой глядите во все глаза! Упекет она меня! Как кто чужой к нам на порог, зараз же примыкайте ее в горенке.

И старуху стали день и ночь держать под замком. Но по воскресеньям ее выпускали беспрепятственно. Она шла к сверстницам, таким же дряхлым старушонкам, и плакала, жаловалась им:

— Ох, матушки мои, сердешные! Наши-то, Яков с же-

нушкой, запирают меня под замок... Одними постными сухариками и кормлюся, сухарик-то ем, слезьми своими запиваю. А раньше, в пост, как у нас офицерья жили, командир Яшкин и друзьяк его, так наши-то мне и щец постных сварют и зварку, бывало, дадут... а зараз уж так на меня взъелися, так взъелися... И сноха и сын... Ох-хо-хо!.. Дожилася, мои болезные: родной сын — и то остервился, а за что — сама не ведаю. То приходил благословления выпрашивал власть эту бусурманскую унистожать, а то и слова не скажи суперечь, ругается да поносит меня...

...Одначе тихому житью Якова Лукича, омрачаемому лишь разговорами с матерью, неожиданно и скоро подошел конец...

ГЛАВА XXXIX

Еще во время сева Лушка Нагульнова, разведенная жена и веселая, беспутная бабенка, стала работать в поле. Ее определили в третью бригаду, и она с охотой поселилась в бригадной будке. Днем работала погонычем в упряге Афанасия Краснокутова, а ночью возле красной полевой будки, в которой она жила, до самой зари звенела балалайка, вздыхали басы и тонко выговаривали нижние лады двухрядки, парни и девки плясали и пели; а всем этим развеселым гульбищем руководила Лушка.

Мир для нее всегда был светел и прост. Ни единой морщинки озабоченности или тревоги не было на бездумном Лушкином лице. Сквозь жизнь шла она легко, уверенно, шла, выжидающе приподняв ласковые брови, словно надеясь с минуты на минуту встретиться с радостью. О Макаре она на другой же день после развода и думать не стала. Тимофей Рваный был где-то далеко, но Лушке ли было горевать об утерянных близких? «Этих кобелей на мой век хватит!» — презрительно говорила она девкам и бабам, указывавшим на ее полувдовье положение.

И их действительно хватало в преизбытке. Парни и молодые женатые казаки из третьей бригады наперебой домогались Лушкиной любви. На стану возле будки ночами, под голубым и сумеречным светом месяца, с треском отлетали подметки с казачьих чириков и сапог, выбивавших «краковяки» и «полечки с каблучком». Но частенько

между плясавшими и искавшими Лушкиной близости плугатарями, садильщиками и бороновальщиками завязывалась густо смешанная с матерщиной ругня, переходившая в жестокие драки. А все из-за Лушки. Уж больно доступной казалась она на вид, тем более что всему хутору была известна срамотная связь ее с Тимофеем Рваным, и каждому было лестно занять место, поневоле освобожденное Тимофеем и по доброй охоте — Нагульновым.

Агафон Дубцов пробовал урезонить Лушку, но потерпел лютую неудачу.

— В работе я справная, а плясать и любовь крутить мне никто не закажет. Ты, дядя Агафон, не злуй дюже, укройся зипуном и спи. А ежели завидки берут и хошь сам участвовать в игрищах — приходи. Мы и рябых принимаем. Рябые на любовь, говорят, дюже злые! — хохоча, издевалась Лушка.

Тогда Агафон при первом же приезде в Гремячий обратился за содействием к Давыдову.

— Диковинные порядки вы заводите, товарищ Давыдов! — негодующе говорил он.— Любишкину деда Щукаря в бригаду вперли, мне — Лушку Нагульнову... Вы их для вредительства всаживаете или для чего? Приезжайте как-нибудь ночью, поглядите, что на стану делается. Лушка всех ребят мне перебесила. Всем она улыбается, вроде посулы делает, ну и дерутся за нее, как молодые кочета. А пляшут по ночам так, что ажник стон стоит, ажник вчуже ихних пяток жалко: до того они, не щадя жизни, ими гоцают обземь! Точок возля будки выбили неподобный! Стожары истухают, а у нас на стану шум, как на ярмарке... Я в Харькове в германскую войну раненый лежал при госпитале, и вот по выздоровлении водили нас милосердные сестры опера слухать... И вот там идет страшная мешавень: кто дурным голосом воет, кто пляшет, а кто на скрипке наяривает. Ничего не поймешь! Такая музыка, что ажник за воротник хватает! Так и у нас: и песни дерут, и на музыках нажваривают, и пляшут... Ну и чистая собачья свадьба! Бесются до зари, а днем какая с них работа! Идет и на ходу спит, под быка ложится... Ты, товарищ Давыдов, либо удали с бригады эту заразу Лушку, либо скажи ей, чтобы она себя соблюдала подобно мужней бабе.

— Да я что тебе? — освирепел Давыдов.— Я что? Наставник ей?.. Катися от меня к чертовой матери!.. Со всякой грязью лезут... Я что, ее буду поведению скромности учить?

Плохо работает — гони из бригады, факт! Что это за привычка: чуть что — в правление. «Товарищ Давыдов, плуг сломался!», «Товарищ Давыдов, кобыла заболела!» Или с этим делом: женщина хвостом трепет, а я, по-твоему, должен ее обучать? К черту! Плуг чинить — к кузнецу! По лошадиной части — к ветеринару! Когда вы научитесь собственную инициативу проявлять? До каких это пор я вас буду на помочах водить? Ступай!..

Агафон ушел, крепко недовольный Давыдовым, а тот после его ухода выкурил две папиросы подряд, с громом прихлопнул дверь, запер ее на крючок.

Рассказ Дубцова взволновал Давыдова. Не потому он озлился и накричал, что бригадиры, не освоившие своих обязанностей, действительно одолевали его, обращаясь за разрешением всяческих мелочных хозяйственных вопросов, а потому, что Лушка, по словам Дубцова, «всем улыбалась, посулы делала».

После того шутливого разговора с Лушкой, когда он столкнулся с ней около правления и она, тая усмешку под ресницами полуопущенных глаз, просила подыскать ей какого-нибудь «завалященького жениха», а потом сама предложила себя в жены, Давыдов незаметно для самого себя изменился в отношении к ней. В последнее время все чаще ловил он себя на мыслях об этой по существу вздорной и на редкость пустяковой бабенке. Если раньше он относился к ней с легким налетом брезгливой жалости и равнодушия, то теперь чувствовал совсем иное... И то, что Дубцов пришел с нелепой жалобой на Лушку, послужило Давыдову лишь чисто внешним предлогом для ругни.

Потянуло его к Лушке, да так не вовремя, как раз в момент наибольшего напряжения в севе. Вновь возникшему чувству наверняка способствовало то, что всю зиму Давыдов прожил на «архиерейском положении», как пошучивал Андрей Размётнов, а может быть, и весна властно давила на смертную плоть безупречного, справившегося со всеми хозяйственно-политическими кампаниями председателя гремяченского колхоза.

Все чаще по ночам он беспричинно просыпался, курил, страдальчески морщился, вслушиваясь в певучие высвисты и захлебывающееся прищелкивание соловьев, потом яростно захлопывал окошко, с головой укутывался байковым одеялишком и до белой зорьки пролеживал, не смежив глаз, прижавшись к подушке широкой татуированной грудью.

А весна 1930 года — стремительная и скороспелая — так много поселила в садах и левадах соловьев, что они гремучими раскатами заполняли не только глухую пустоту ночи, но и при дневном свете никак не могли угомониться. Не хватало короткой вешней ночи на любовные утехи соловьев. «В две смены дуют, подлецы!» — шептал на заре Давыдов, обуреваемый нудным томлением, мужественно боровшийся с бессонницей.

Лушка Нагульнова до конца сева была в бригаде, но как только бригада, кончив пропашные, съехала с поля,— в тот же день вечером пришла к Давыдову.

Он, поужинав, лежал в своей комнатушке, читал «Правду». В сенях тонко, по-мышиному, кто-то поскреб дверь, а потом — тихий женский голос:

— Можно взойтить?

— Можно.— Давыдов вскочил с койки, накинул пиджак.

Лушка вошла, тихо притворила за собой дверь. Черный полушалок старил ее обветревшее, посмуглевшее лицо. Отчетливей проступали на щеках обожженные солнцем густые и мелкие веснушки. Но глаза под темным навесом надвинутого полушалка смеялись и искрились еще ярче.

— Проведать пришла...

— Проходи, садись.

Давыдов, удивленный и обрадованный ее приходом, подвинул табурет, застегнул пиджак, сел на койку.

Он выжидающе молчал, чувствовал себя тревожно, неловко. А Лушка свободно прошла к столу, ловким и незаметным движением подвернула юбку (чтобы не мялась), села.

— Как поживаешь, колхозный председатель?

— Ничего живу.

— Не скучаешь?

— Некогда скучать и не о чем.

— А обо мне?

Никогда не терявшийся Давыдов розовел и хмурился. Лушка с напускным смирением опускала ресницы, а в углах губ неудержимо трепетала улыбка.

— Выдумала черт знает что,— несколько неуверенно отвечал он.

— Так уж и не скучал?

— Да нет же, факт! У тебя дело есть ко мне?

— Есть... Что же в газетах новенького пишут? Что слышно про мировую революцию? — Лушка облокотилась,

придала лицу серьезное, соответствующее разговору выражение. Словно и не было на губах ее недавней бесовской улыбки.

— Разное пишут... Какое у тебя ко мне дело? — крепился Давыдов.

Их разговор, вероятно, подслушивала хозяйка. Давыдов сидел, как на горячих угольях. Совершенно немыслимо, прямо-таки нетерпимо было его положение! Хозяйка завтра разнесет по всему Гремячему, что бывшая Макарова жена ходит по ночам к ее квартиранту, и — пропала ничем не запятнанная репутация Давыдова! Жадные до сплетен бабы станут неустанно судачить на проулках и у колодцев, колхозники при встречах будут понимающе посмеиваться. Размётнов начнет ехидствовать по адресу попавшегося в Лушкины сети товарища, а там дойдет и до района, и в райполеводсоюзе — чего доброго — пришьют дело, скажут: «Потому-то он и сев кончил только десятого, что к нему бабы бегали. Он, видно, больше любовными делишками занимался, чем севом!» А секретарь окружкома ведь недаром говорил, перед тем как отправить двадцатипятитысячников по районам: «Авторитет рабочего класса — авангарда революции — в деревне надо держать на высочайшем уровне. Вести себя, товарищи, надо сугубо осторожно. Я не говорю о большом, но даже в бытовых мелочах надо быть предусмотрительными. В деревне выпьешь на копейку, а разговоров будет на сто политических рублей...»

Давыдов даже вспотел, вмиг передумав все последствия посещения Лушки и вольного разговора с ней. Налицо была явная угроза компрометации. А Лушка сидела, совершенно не замечая мучительных переживаний Давыдова. И тот, малость приохрипнув от волнения, уже сурово переспросил:

— Какое дело-то? Говори и уходи, мне некогда с тобой пустяками заниматься, ну, факт!

— А ты помнишь, что говорил мне тогда? Я у Макара не спрашивалась, но я и так знаю, супротив он...

Давыдов привскочил, замахал руками:

— Некогда мне! После! Потом!

В этот момент он готов был смеющийся рот ее зажать ладонью, лишь бы она замолчала.

И она поняла, презрительно шевельнула бровями.

— Эх, ты! А ишо... Ну ладно. Дайте мне газетку, какая поинтересней. Окромя у меня делов к вам нету. Извиняйте, что побеспокоила...

Ушла, и Давыдов вздохнул с облегчением. Но через минуту он уже сидел за столом, ожесточенно вцепившись в волосы, думал: «До чего же я сапог, сил нет! Подумаешь, велика важность, что сказали бы по этому поводу. Что же, ко мне женщине нельзя прийти, что ли? Что я, монах, что ли? Да и кому какое дело? Она мне нравится, следовательно, я могу с ней проводить время... Лишь бы ущерба работе не было, а на остальное плевать! А теперь она не придет, факт. Очень я с ней грубо, да и заметила она, что я несколько испуган был... Прах тебя возьми, до чего глупо вышло!»

Но опасения его были напрасны: Лушка вовсе не принадлежала к той категории людей, которые легко отступают от намеченных планов. А в планы ее входило завоевание Давыдова. На самом деле, не связывать же было ей свою жизнь с жизнью какого-нибудь гремяченского парня? Да и для чего? Чтобы до старости сохнуть у печки и пропадать в степи возле быков и пахоты? А Давыдов был простой, широкоплечий и милый парень, совсем не похожий на зачерствевшего в делах и ожидании мировой революции Макара, не похожий на Тимофея... Был у него один малый изъян: щербатина во рту, да еще на самом видном месте — в передке; но Лушка примирилась с этим недостатком в наружности облюбованного ею. Она за свою недолгую, но богатую опытом жизнь познала, что зубы при оценке мужчины — не главное...

На следующий день в сумерках она снова пришла, на этот раз разнаряженная и еще более вызывающая. Предлогом для посещения были газеты.

— Принесла вашу газетку... Можно ишо взять? А книжек у вас нету? Мне бы какую-нибудь завлекательную, про любовь.

— Газеты возьми, а книжек нету, у меня не изба-читальня.

Лушка, не ожидая приглашения, села и по-серьезному начала разговор о севе в третьей бригаде, о замеченных ею непорядках на организовавшейся в Гремячем Логу молочной ферме. Она с наивной бесхитростностью приспособлялась к Давыдову, к тому кругу интересов, в котором — казалось ей — он должен бы жить.

Давыдов вначале недоверчиво прислушивался к ней, но потом увлекся разговором, рассказал о своих планах по устройству молочной фермы, попутно сообщил о появившихся за границей новейших технических достижениях по

обработке молочной продукции, под конец не без огорчения сказал:

— Денег нам надо уймищу. Надо купить несколько телок от коров, дающих высокий удой, надо завести племенного бугая... Все это необходимо сделать как можно скорее. Ведь правильно постановленное молочное хозяйство будет давать огромный доход! Факт, что на этом деле колхоз поправит свой бюджет. Ну, что у них там есть сейчас? Старенький сепараторишко, которому ломаный грош цена, который ни черта не может пропустить весенний удой, и все. А бидонов ни одного нет, и молоко по старинке сливают в корчаги. Что это за дело? Вот ты говоришь, что у них молоко прокисает, а почему прокисает? Уж, наверное, сливали в грязную посуду.

— Корчажки плохо выжаривают, через это и прокисает.

— Ну вот я же и говорю, что плохо содержат посуду. Ты возьмись за это дело и приведи его в порядок. Что необходимо сделать — делай, правление всегда поможет. А этак что же? Молоко всегда будет погибать, если за посудой нет надзора, если доярки будут так доить, как вот я недавно видел: садится под корову, вымя ей не обмывает, сосцы все в грязи, в навозе... и руки у самой доярки фактически немытые. Она, может быть, до этого черт знает за что бралась и лезет под корову с грязными руками. Времени у меня не было взяться за это дело. А уж я возьмусь! И ты, вместо того чтобы пудрами пудриться да красоту наводить, взялась бы похозяйствовать по ферме, а? Назначим тебя заведующей, поедешь на курсы, поучишься, как надо научно заведывать, и будешь квалифицированной женщиной.

— Нет уж, пущай без меня хозяйствуют,— вздохнула Лушка,— там и без меня есть кому в порядок все произвесть. А заведующей быть я не хочу. И на курсы ехать не хочу. Дюже колготы много. Я работать люблю легко, чтобы просторней жилося, а так что же?.. Работа, она дураков любит.

— Опять ты всякие глупости говоришь! — досадливо сказал Давыдов, но убеждать не стал.

Вскоре Лушка засобиралась домой. Давыдов пошел ее проводить. Шагали рядом по темному проулку, долго молчали, потом Лушка, необычайно быстро познавшая все заботы Давыдова, спросила:

— На кубанку ездил нынче глядеть?

— Ездил.

— Ну как?

— Плохо! Если на этой неделе не будет дождя... боюсь, что не взойдет. И ты понимаешь, как все это, прах его дери, слаживается? Старичишки, которые приходили ко мне за разрешением молебствовать, будут злорадствовать, факт! «Ага, скажут, не разрешил молебен отслужить — и дождя бог не дал!» А бог их тут совершенно ни при чем, раз барометр закостенел на переменном положении. Но они-то укрепятся в своей глупой вере. Прямо беда, факт! Отчасти мы и сами несколько промахнулись... Надо бы плюнуть на бахчи, на часть пропашных и поскорее посеять пшеницу, вот в чем промах вышел! И то же самое с мелионопусом: фактически доказывал этой дубине — Любишкину, что в наших условиях эта порода по всем агрономическим данным наиболее подходяща...— Давыдов снова оживился и, попав на своего «конька», говорил бы долго и с увлечением, но Лушка прервала его с явным нетерпением:

— Да брось ты — о хлебе! Давай лучше сядем, посидим,— и указала на голубой при лунном свете гребень канавы.

Подошли. Лушка подобрала юбки, хозяйственно предложила:

— Ты бы пинжак свой постелил, а то я боюсь юбку вымазать. Она у меня праздничная...

И когда сели рядом на разостланном пиджаке, приблизила к усмешливому лицу Давыдова свое, ставшее строгим, странно похорошевшее лицо, сказала:

— Хватит про хлеб и про колхоз! Зараз не об этом надо гутарить... Ты чуешь, как пахнет молодой лист на тополе?..

...На этом и кончились колебания Давыдова, тянувшегося к Лушке и боявшегося, что связь с ней уронит его авторитет...

После, когда он встал и из-под ног его, шурша, покатилась в канаву сухая осыпь глины, Лушка все еще лежала на спине, раскинув руки, устало смежив глаза. С минуту молчали. Потом она приподнялась с неожиданной живостью, охватила руками свои согнутые в коленях ноги и затряслась от приступа беззвучного смеха. Смеялась так, как будто ее щекотали.

— Ты... чему это? — недоумевающе и обиженно спросил Давыдов.

Но Лушка так же неожиданно оборвала смех, вытянула ноги и, гладя ладонями бедра и живот, раздумчиво сказала, голосом чуть охрипшим и счастливым:

— То-то и лёгко же мне зараз!..

— Перо вставить — так полетишь? — озлобился Давыдов.

— Не-е-ет, это ты напрасно... напрасно злуешь. Живот у меня зараз какой-то бестягостный стал... какой-то порожний и легкий, того и засмеялась. А что же мне, чудак, плакать надо было, что ли? Сядь, чего вскочил?

Давыдов нехотя повиновался. «Как же теперь быть с ней? Придется это как-нибудь фактически оформить, а то неудобно и перед Макаром и вообще... Вот, не было печали, так черти накачали!» — думал он, искоса поглядывая на зеленоватое при лунном свете лицо Лушки.

А та, не касаясь руками земли, гибко привстала,— улыбаясь, щуря глаза, спрашивала:

— Хорошая я? А?

— Как тебе сказать...— неопределенно отвечал Давыдов, обнимая узкие Лушкины плечи.

ГЛАВА XL

На другой день после того, как над Гремячим Логом спустился проливной дождь, Яков Лукич верхом выехал в Красную дуброву. Ему нужно было собственноручно отметить дубы, подлежавшие порубке, так как назавтра почти вся третья бригада должна была выехать в дуброву, чтобы приступить к заготовке леса, надобного для плотин.

Выехал Яков Лукич с утра. Лошадь его, виляя подвязанным по-хозяйски хвостом, шла неторопко. Ее раскованные передние ноги разъезжались по скользкой жирной грязи. Но Яков Лукич ни разу не поднял плети: ему некуда было спешить. Он покуривал, уронив на луку поводья, оглядывал раскинувшуюся округ Гремячего Лога степь, где каждый ярóк, каждая балочка и сурчина с детства были знакомы и родны его сердцу, любовался рыхлыми, набухшими влагой пашнями, омытыми, наклоненными ливнем хлебами, с великой досадой и огорчением думал: «Напророчил дождя, черт щербатый! Взойдет кубанка! Скажи, как все одно и бог за эту окаянную власть! То, бывало, все неурожаи да недороды, а то с двадцать первого года прямо-таки ломучие хлеба! Вся природность стоит за Советскую власть, этак когда же дождешься износу ей? Нет, ежели

союзники не пособют пихнуть коммунистов, сами мы ни хрена ничего не сделаем. Никакие Половцевы не устоят, какого бы ума они ни были. Сила солому ломит, куда же супротив силы попрешь? А ишо народ проклятый, вредный пошел... Один про одного доказывают да всякие доносы делают. Лишь бы ему, сукиному сыну, жить, а там хучь в поле и полын-травушка не расти. Скудные времена! И куда оно через год-другой взыграет, небось сам черт не знает... Но я-то, как видно, в урочный час зародился, иначе не кончилось бы мое дело с Половцевым так благополучно. Быть бы бычку на оборочке! Ну и слава богу, что все оно так пришло в порядок и чистоту. Погодим ишо, что оно будет дальше. Зараз не пришлось расстаться с Советской властью — может, ишо понадежней дело зачнется!»

На стеблях раскрылатившихся под солнцем трав, на ростках возмужалых хлебов дрожала нанизанная стеклярусом роса. Ветер с запада отряхал ее, и капельки срывались, радужно посверкивали, падали на пахнущую дождем, желанную и ласковую землю.

По колеям дороги еще стояла не впитанная почвой дождевая влага, но над Гремячим Логом уже поднимались выше тополей розовые утренние туманы, и на матовой синеве небес, словно начисто вымытый ливнем, тускнел застигнутый рассветом серебряный месяц.

Месяц был чеканно-тонкий, пологий, суливший обильные дожди, и Яков Лукич, взглянув на него, окончательно утвердился в мысли: «Быть урожаю!».

В дуброву приехал он около полудня. Конишку стреножил и пустил пастись, а сам вытащил из-за пояса небольшой плотницкий топор, пошел делать натесы на дубах той деляны, которую отвел гремяченскому колхозу лесничий.

На краю отножины натесал штук шесть дубов, подошел к очередному. Высокий, прогонистый дуб, мачтового роста и редкостной строевой прямизны, горделиво высился над низкорослыми, разлапистыми караичами и вязами-перестарками. На самой маковке его, в темной глянцево-зеленой листве угрюмо чернело воронье гнездо. Судя по толщине ствола, дуб был почти ровесником Якова Лукича, и тот, поплевывая на ладони, с чувством сожаления и грусти взирал на обреченное дерево.

Сделал надтес, надписал на обнаженной от коры боковине чернильным карандашом «Г. К.» и, откинув ногой

сырую, кровоточащую древесным соком щепу, сел покурить. «Сколько годов жил ты, браток! Никто над тобой был не властен, и вот подошла пора помереть. Свалют тебя, растелешат, отсекут топорами твою красу — ветки и отростки, и повезут к пруду, сваей вроют на месте плотины!..— думал Яков Лукич, снизу вверх посматривая на шатристую вершину дуба.— И будешь ты гнить в колхозном пруду, покуда не сопреешь. А потом взломной водой по весне уволокет тебя куда-нибудь в исход балки,— и всё тебе, конец!»

От этих мыслей Яков Лукич вдруг больно ощутил какую-то непонятную тоску и тревогу. Ему стало не по себе. «То ли уж помиловать тебя, не рубить? Не все же колхозу на пропастишшу...— и с радостным облегчением решил: — Живи! Расти! Красуйся! Чем тебе не жизня? Ни с тебя налогу, ни самооблогу, ни в колхоз тебе не вступать... Живи, как господь тебе повелел!»

Он суетливо вскочил, набрал в горсть глинистой грязи, тщательно замазал ею надтес. Из отножины шел довольный и успокоенный...

Все шестьдесят семь дубов пометил расчувствовавшийся Яков Лукич, сел на коня, поехал по опушке леса.

— Яков Лукич, погоди трошки! — окликнули его на выезде.

А затем из-за куста боярышника показался человек в черной смушковой шапке и в теплой распахнутой куртке шинельного сукна. Лицо его было черно и обветренно, кожа на скулах от худобы туго натянута, глаза глубоко ввалились, а над белесыми спекшимися губами четко, как нарисованные углем, чернели отросшие пушистые усики.

— Не узнаешь, что ли?

Человек снял шапку; настороженно озираясь, вышел на поляну, и только тут Яков Лукич узнал в незнакомце Тимофея Рваного.

— Откуда ты?..— спросил он, пораженный встречей, всем видом страшно исхудалого, неузнаваемо изменившегося Тимофея.

— Откуда не возвертаются... Из ссылки... Из Котласу.

— Неужели убег?

— Убег... У тебя с собой, дядя Яков, ничего нету? Хлеба нету?

— Есть!

— Дай, ради Христа! Я четвертые сутки... гнилыми кислицами...— и сделал судорожное глотательное движение.

У него дрожали губы, по-волчьи сверкали глаза, наблюдавшие за тем, как рука Якова Лукича извлекает из-за пазухи краюху хлеба.

К хлебу припал он с такой голодной яростью, что у Якова Лукича даже дыхание перехватило. Рвал черствую, пригорелую корку зубами, раздирал мякоть скрюченными пальцами и с жадностью глотал, почти не прожевывая, трудно двигая острым кадыком. И только тогда поднял на Якова Лукича опьяневшие, утратившие недавний лихорадочный блеск глаза, когда, давясь, проглотил последний кусок.

— Наголодал ты, парень...— сожалеюще проговорил Яков Лукич.

— Говорю, что пятый день с голоду то прелую кислицу съем, то прошлогоднюю сухую тернину найду... Отощал я.

— Ну, ты как же это сюда?

— Пеши со станции. Ночьми шел,— устало отвечал Тимофей.

Он заметно побледнел, словно истратил на еду последние силы. Безудержная икота сотрясала его, заставляла болезненно морщиться.

— А папаша-то живой? Семейство как, в здравии? — продолжал Яков Лукич, но с коня не сошел и время от времени тревожно поглядывал по сторонам.

— Отец помер от воспаления нутра, мамаша с сеструшкой там. А у вас в хуторе как? Лукерья Нагульнова там проживает?

— Она, парнишка, с мужем ить развелася...

— Где же она зараз? — оживился Тимофей.

— У тетки живет, на вольных харчах.

— Ты, дядя Яков, вот что... Ты, как приедешь, перекажи ей, чтобы она мне беспременно нынче же харчишков принесла сюда. Я отощал вовзят, не пойду, надо отлежаться, передневать. Да и подбился дюже. Сто семьдесят верст и ночьми, а по незнакомой местности ночью знаешь как ходить? Идешь вслепую... Пущай принесет. А как чудок поправлюсь, сам в хутор приду... Скучился по родным местам до смерти! — И виновато улыбнулся.

— Как же ты жить думаешь в дальнеющем? — выпытывал неприятно пораженный встречей Яков Лукич.

И Тимофей, с ожесточившимся лицом, ответил:

— Не знаешь — как? Я зараз на бирючином положении. Вот отдохну трошки, приду ночью в хутор, вырою винтовку... Она у меня зарытая соблюдалась на гумне... И зачну промышлять! Мне одна направления дадена. Раз меня казнят, и я буду казнить. Кое-кому влеплю гостинцу... кое-кто почухается! Ну, в дуброве перелетую до осени, а с заморозками подамся на Кубань либо ишо куда. Белый свет-то просторный, и нас, таких вот, найдется, гляди, не одна сотняга.

— Лушка-то Макарова вроде к председателю колхоза зачала прислоняться,— нерешительно сообщил Яков Лукич, не раз примечавший, как Лушка бегала к Давыдову на квартиру.

Тимофей лег под куст. Повалила его нестерпимая боль в желудке. Но он, хотя и с паузами, все же заговорил:

— Давыдову, вражине, первому... В поминание его пущай... А Лушка мне верная... Старая любовь не забывается... Это не хлеб-соль... Я к ее сердцу стежку всегда сыщу... не заросла, небось... Загубил ты меня, дяденька, своим хлебом... живот мне раздирает... Так Лушке перекажи... пущай сала и хлеба принесет... Хлеба побольше!

Яков Лукич предупредил Тимофея о том, что в дуброве завтра начнется порубка, выехал из леса и направился на поле второй бригады, чтобы осмотреть засеянный кубанкой участок. На всем пространстве недавно углисто-черной пахоты нежнейшей зеленой прошвой сияли наконец-то пробившиеся всходы...

В хутор Лукич вернулся только ночью. От колхозной конюшни шел домой все под тем же, не покидавшим его весь день, тягостным впечатлением от встречи с Тимофеем Рваным. А дома ждала его новая и несравнимо горшая неприятность...

Еще в сенцах выскочившая из кухни сноха шепотом предупредила его:

— Батя, у нас гости...

— Кто?

— Половцев и энтот... косой. Пришли, чуть стемнело... мы с маманей как раз коров доили. Сидят в горенке. Половцев дюже выпитый, а энтого не поймешь... Обносилися обое страшно! Вши у них кипят... прямо посверх одежи ходом ходют!

...Из горенки слышался разговор; покашливая, насмешливо и едко говорил Лятьевский:

— ...Ну конечно! Кто вы такой, милостидарь? Я вас спрашиваю, достопочтенный господин Половцев. А я скажу вам, кто вы такой... Угодно? Пжалуста! Патриот без отечества, полководец без армии и, если эти сравнения вы находите слишком высокими и отвлеченными,— игрочишка без единого злотого в кармане.

Заслышав глухой половцевский басок, Яков Лукич обессиленно прислонился спиной к стене, схватился за голову...

Старое начиналось сызнова.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

Шолохов М. А.

Ш78 Собрание сочинений. В 8-ми т. Т. 5. Поднятая целина: Роман в 2-х кн./Сост. М. Манохиной.— М.: Худож. лит., 1986. 311 с.

В том вошел роман «Поднятая целина» (книга первая).

Ш $\frac{4702010200\text{-}039}{028(01)\text{-}86}$ **подписное** **ББК 84Р7 Р2**

Михаил Александрович

ШОЛОХОВ

Собрание сочинений

ТОМ 5

Редактор Т. Халилова

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
С. Ефимова

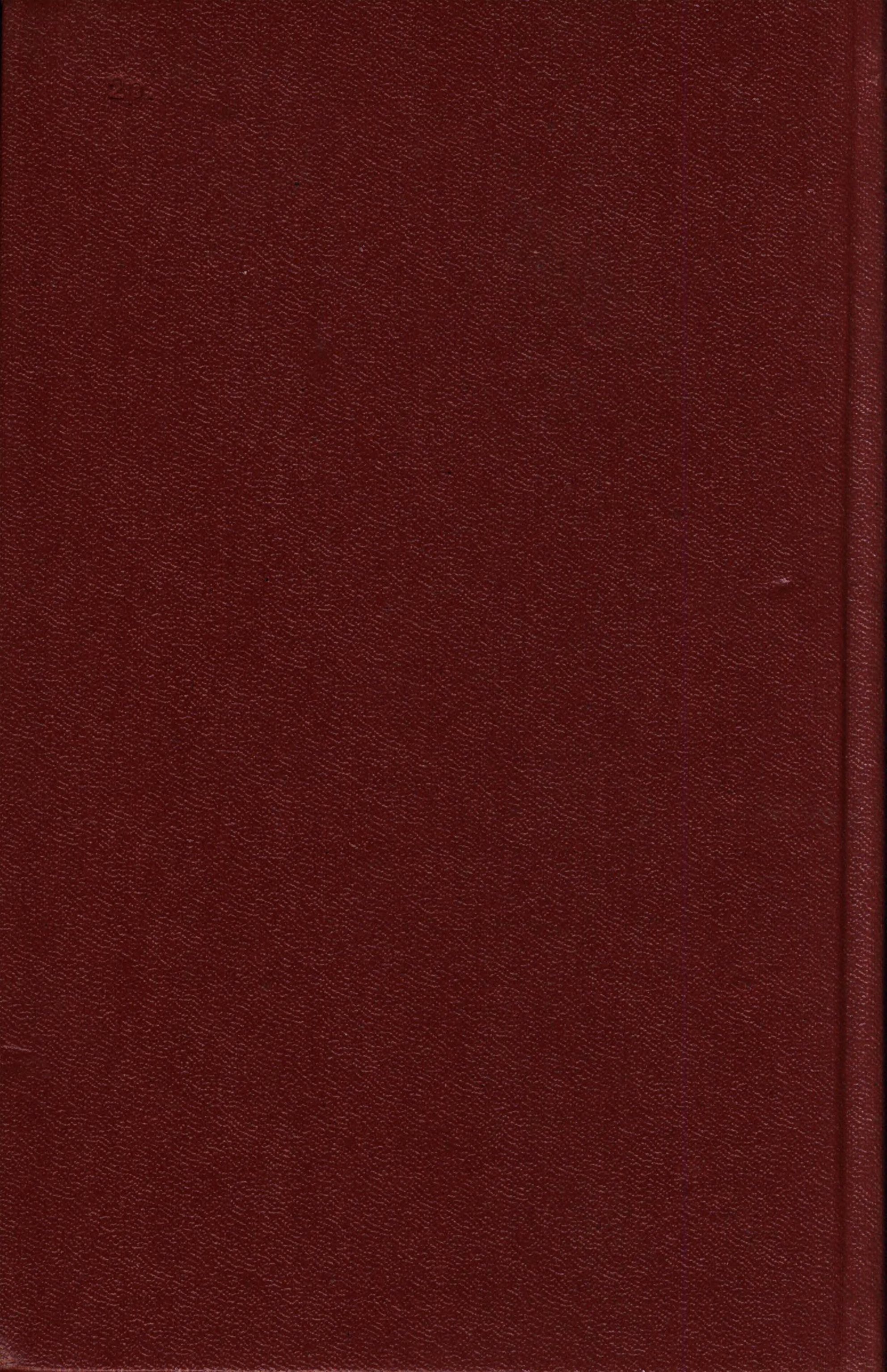
Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова

ИБ № 4409

Сдано в набор 13.03.85. Подписано в печать 11.09.85. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 16,38. Усл. кр.-отт. 16,38. Уч.-изд. л. 18,19. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № II-1879. Заказ 1847. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



МИХАИЛ ШОЛОХОВ | 5